



ВОЕННАЯ



БИБЛИОТЕКА



ШКОЛЬНИКА



ИЗДАТЕЛЬСТВО



«ДЕТСКАЯ

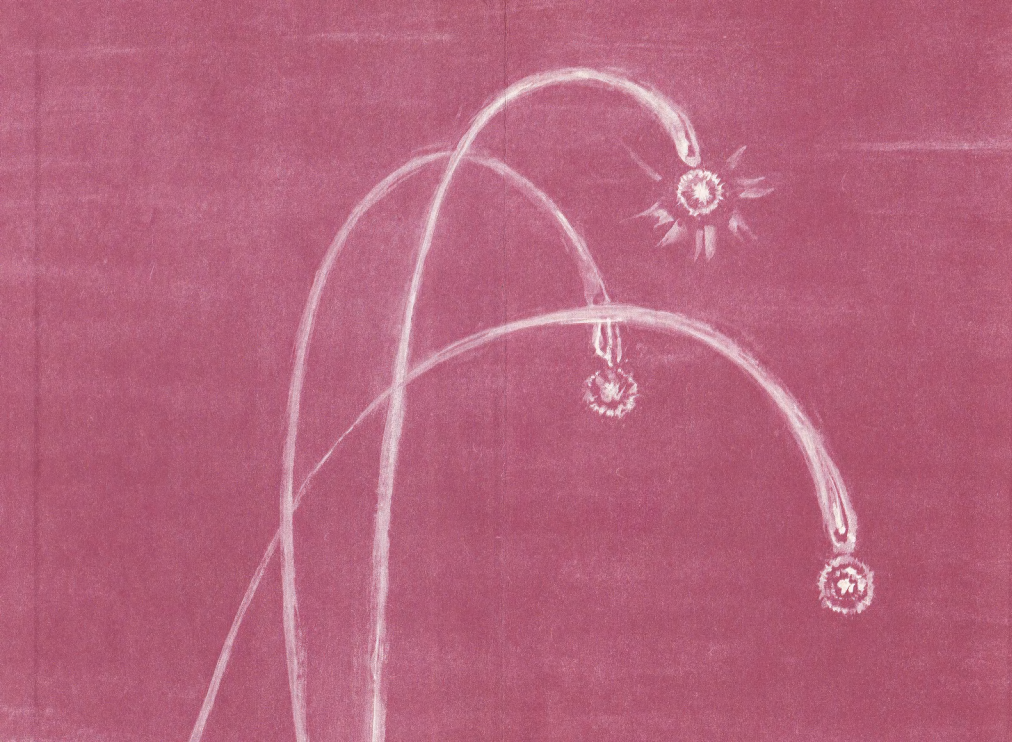


ЛИТЕРАТУРА»



Виктор Степанов
ВЕНОК НА ВОЛНЕ
РОТА ПОЧЕТНОГО
КАРАУЛА





Scan Kreyder - 14.10.2019 - STERLITAMAK





Виктор Степанов

ВЕНОК НА ВОЛНЕ

•

*РОТА ПОЧЕТНОГО
КАРАУЛА*

Повести

МОСКВА „ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА“ 1989

ББК 84.3Р7

С79

ХУДОЖНИК А. СОЛДАТОВ

Степанов В.

С79 Венок на волне. Рота почетного караула: Повести/Худ. А. Солдатов.—Переизд.—М.: Дет. лит., 1989.—224 с.: ил.—(Военная б-ка школьника).

ISBN 5—08—000817—2

Две повести о современной армии, о том, как молодые люди, вчерашние школьники, мужают во время прохождения службы, о преемственности военных традиций, о памяти прошлого.

С 4803010102—237 295—89
М101(03)-89

ББК 84.3Р7

ISBN 5—08—000817—2

© Состав. Иллюстрации.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1989



**БЕНОК
НА
ВОЛНЕ**

1.

У пирса, где стоят боевые корабли, даже море кажется военным. Когда предвестием шторма запенятся синие гребни, море делается полосатым, словно надело тельняшку. И катится, катится волна за волной, как шеренга за шеренгой.

В штиль море стальное, будь оно хоть Белое, хоть Черное, потому что впитывает в себя цвет кораблей. И чайки здесь совсем другие — застенчивые. Скользнут белым косяком над мачтами — и в торговый порт, где можно вдоволь порезвиться и покричать.

Я впервые на этом пирсе, но он знаком мне давно. Кант на моих погончиках точно такого же цвета, как флаги и вымпелы, трепещущие на ветру. Бело-голубой флаг с красной звездой, серпом и молотом словно вшит в зеленое полотнище — это военно-морской флаг кораблей и судов пограничных войск. Как это говорил нам мичман? «Море землю бережет!»

Здравствуй, пирс — порог морей! Еще вчера на берегу, где я прошел курс молодого матроса и освоил азы своей флотской специальности, меня напутствовали, провожая на корабль:

— Пойдешь по трапу, заприметь, на какую ногу споткнулся. На правую — командир полюбит, на левую — фитиль врубит.

Я обиделся.

— Эх ты, салага, — засмеялись моряки, — разве не знаешь, что земля стоит на китах, а флот — на афоризмах?

Мичман таил улыбку, наблюдая, как надо мной подтрунивают. Но, заметив, что мое настроение начинает штормить, обрубил:

— Ну, хватит травить! Главное, Тимошин, когда ступишь на трап, не забудь отдать честь флагу. Для моряка это первая заповедь. Ты думаешь, флаг на гафеле держится? Ничего подобного. На душах морских, вот на чем. Что дала тебе подготовка к службе? Форму. А вот содержание даст корабль. Твой корабль.

Обратили внимание? Моряки почти никогда не говорят «наш корабль», всегда — «мой» или «твой». И, признаться по-честному, мой корабль мне давно уже снился. В детстве он маячил белопарусным фрегатом. Но чем больше я выросл, тем больше модернизировался в моем воображении этот корабль-мечта. Он становился то линкором, то крейсером, то атомным «Наутилу-сом». Чем реальней мечта, тем меньше у нее миражных парусов. Сейчас я уже точно знал, что назначен не на ракетный крейсер, а всего лишь на СКР — сторожевой корабль. Но ведь это «мой» СКР, и не только большому кораблю большое плавание.

— Вон, видишь бортовой 0450, — сказал матрос, провожавший меня до пирса, — вот к нему и швартуйся.

Мой корабль стоял левым бортом к стенке в ряду своих близнецов-сторожевиков. И я с огорчением отметил, что на фоне собратьев он не из лучших. С низкорослой мачты устало свисали сигнальные фалы. Обшарпанный борт выглядел так, словно кораблю пришлось продираться по крайней мере сквозь льды Антарктиды.

Я ступил на трап, приложил ладонь к бескозырке и вспомнил мичмана. Но не те его слова насчет флага, а другие — насчет трапа. «Пять-шесть шагов, — как-то сказал он, — пять-шесть шагов между берегом и кораблем — первая дорога, которую не забывают ни молодые моряки, ни седые адмиралы. Все, что остается за трапом, измеряется после в другом летосчислении. До службы на корабле будет считаться, как до новой эры».

— Товарищ капитан-лейтенант!

За те несколько секунд, пока я докладывал о своем прибытии, начисто забыв и потому нахально перевирая уставную

формулировку, вахтенный офицер, встретивший меня на другом конце трапа, стоял неподвижно, как черная мумия. «Жидковат,— подумал я, угадывая под шинелью худенькую мальчишескую фигуру.— Отнюдь не волк, тем более не морской. Года на четыре постарше меня. А козырьком мне как раз по переносицу».

Но из-под этого козырька сверляще чернели глаза, которые наверняка успели заметить мои нарушения уставной формы одежды: перешитый «в талию» бушлат и вывернутый на всю толщину кант бескозырки. «Ну что,— спросили черные глаза,— пришел на танцы или служить? Может быть, начнем с переодевания?» — «Не стоит, товарищ каплей,— ответил я тоже взглядом,— я же не ребенок. И потом, разве плохо, если моряк элегантен? Посмотрите на себя, ведь у вас у самого перешита фуражка, такие козырьки требуют особого заказа...» Черные глаза под козырьком усмехнулись.

— Добро пожаловать,— сказал капитан-лейтенант. И развел руками, показывая на палубу: — Как говорится, просим извинить за неприбранную постель — только что из похода.— Он оглянулся и, увидев показавшегося из-за надстройки моряка, поманил его пальцем: — Афанасьев! Представьте нового матроса командирю.

Афанасьев, увалень с покатыми плечами, на которых блеснули лычки старшины 2-й статьи, подмигнул и, ничего не сказав, неожиданно ловко юркнул вниз по трапу, кивком пригласив меня за собой. Я хотел спуститься так же быстро, но скользнул каблуками по ступенькам, больно стукнулся головой и, будто с турника, плюхнулся на вторую палубу. Афанасьев сделал вид, что не заметил.

— Товарищ командир, новичок к нам,— доложил он, пропустив меня в дверь каюты. И, словно невзначай, спросил: — Этот, что ли, мне на смену?

Командир, сидевший за небольшим столиком, привстал и сразу занял собой полкаюты.

— Заходите, заходите, ждем. И давненько.

Он чуть сдвинул рукав с золотыми нашивками капитана 3-го ранга и взглянул на часы.

— Девять ноль-пять? А ждали к девяти ноль-ноль. Так вам, кажется, было предписано?

Чего угодно, а такой дотошности я не ожидал. Человек пришел на корабль не на день-два — и уже счет на минуты. Можно было бы приветить и поласковой.

— Вы свободны, Афанасьев,— сказал командир, а мне показал на кресло, приглашая сесть.

В каюте, напоминающей плацкартное купе, сквозь сизоватый сигаретный дым кругло брезжил иллюминатор. На столике — скатертью со свивающимися углами карта и журнал «Морской сборник» с военно-морским флагом на обложке. За шелковой ширмой угадывалась постель. На серой стене, прямо над столом, фотография допотопного катера. «МО, — определил я, — «Морской охотник» довоенной постройки. И зачем здесь эта старая калоша?»

— Конечно, не салон белоснежного океанского лайнера, — перехватил мой взгляд командир. И усмехнулся чему-то своему. — Но ведь мы здесь не по льготной профсоюзной путевке. Так, что ли, матрос Тимошин?

Да, конечно, это не прогулочная яхта, мысленно согласился я. Но тем более ни к чему и эта оранжерея. В углу каюты стояли два алюминиевых лагуна, в каких обычно варят борщ и макароны. И в этих нелепых вазах красовались сейчас букеты белых астр. В каюте боевого корабля они выглядели странно и противоестественно. И зачем так много цветов? Не торговать же ими, в самом деле... Сентиментален этот «кап-три» и, вероятно, любит Надсона: «Цветы — отдохновение души... очарование памяти безбрежной!»

«Наверное, из неудачников, — подумал я про командира. — Мечтал когда-то в юности о капитанском мостике крейсера. А вот на ж тебе — судьба забросила на СКР. Сейчас начнет, конечно, о чести, о долге, о том, что неважно, где служить, а важно, как служить. Будет воспитывать меня, а в душе спорить с самим собой. Не люблю, кто кренится то на один борт, то на другой: полный штиль, а человек кренится. Вот и этот. С одной стороны, показывает на часы, почему, мол, явились не «тик в тик», а с другой — астры в лагунах».

— Расскажите о себе, — сказал командир и начал рисовать на клочке бумаги замысловатые квадратики. Какой-то свой, одному ему ведомый ребус.

Я начал неохотно что-то мямлить о школе, о комсомоле, а сам, не отрываясь, следил за его рукой, водящей по листу карандашом. Чистая, холеная, как у нашего учителя литературы, рука. Даже нет морской традиционной татуировки. Нашивки на рукаве мне уже не казались такими ослепительными — вблизи на них была заметна прозелень. Давно не менял и, видно, долго служит в одном и том же звании. Голова у командира крупная, когда-то шевелюристая, а сейчас вот уже побрились и залысины.

— Ну, так что? — повторил вопрос командир и поднял гла-

за в темных обводинках от недосыпания — такие проступают, когда снимают очки. И правда, он, как близорукий, провел по глазам ладонью, сощурился. — Значит, год рождения... — как бы рассуждал он про себя. — Член ВЛКСМ. Так? Окончил среднюю школу, призван наро-фоминским военкоматом... — Командир помолчал, словно к чему-то прислушиваясь, и задумчиво произнес: — Ну и бежит же время! И каким только лагом оно отщелкивает?

И, отбросив карандаш, он с любопытством взглянул на меня, так, словно я только что перед ним очутился. А чему, собственно, удивляться?

Я смотрел на астры и с пятого на десятое слушал, как он рассказывал о корабле, о том, какие задачи будут на меня возложены. Афанасьев, провожавший меня к командиру, оказался прав: я назначен учеником радиометриста, к нему на замену.

В каюте я пробыл минут десять — пятнадцать, и у меня появилось такое ощущение, что разговор с командиром не получился, что главная беседа еще впереди, а эта — так, для проформы.

В дверь заглянул Афанасьев.

— А вот и ваш младший командир, — сказал капитан 3-го ранга, давая тем самым понять, что наше рандеву закончено. И, как бы спохватившись, спросил Афанасьева: — Что у нас сегодня на обед?

— Борщ, плов и компот, — с готовностью ответил Афанасьев.

— Накормите матроса, а дальше — согласно распорядку.

Время для обеда еще не подоспело, но традиция есть традиция, и мне пришлось отведать, как сказал Афанасьев, «рукоделия» кока Лагутенкова.

Пока я без аппетитаковырял вилкой в плове, Афанасьев приправлял мой обед рассказом о первостепенном значении на корабле поварской должности. Примазывается, догадался я, рад небось до чертиков, что скоро домой, и ублажает, и расписывает, какой у них на корабле кок.

— Ты рубай, рубай, не стесняйся, — нажимал на меня Афанасьев. — С добавкой у нас не проблема. А Лагутенков — весь флот нашему кораблю завидует. Говорят, даже флагман пытался его переманить. Да будет тебе известно, что в походе Лагутенков не просто кок, но и сигнальщик. Полная взаимозаменяемость — в руке то бинокль, то камбузный нож. Николай, правда, имеет большую склонность к борщам и систематически повышает свои специальные знания в этой области.

В увольнении мы, сам знаешь, кто куда. Куда поведет внутренний компас. А у Лагутенкова курс всегда известен заранее — в книжные магазины. И за какими, думаешь, книгами? По домоводству. Особых разносолов, конечно, не приготовишь, но не макаронами одними сыты. Вот компот. И компот, а натурморт!

«Первый компот на корабле, — почему-то с грустью посмотрел я на жестяную кружку. — Первый... А сколько предстоит съесть их до демобилизации?» Один знакомый матрос, который в фитилях ходил, как корабль в ракушках, учил меня: «Ты думаешь, моряки считают службу на дни? Ничего подобного. На компоты. Съел компот — считай день долой». И еще показал он мне карманный календарик, на котором числа были перечеркнуты крестиками: «Съел компот — поставь крестик. И сразу видно, сколько впереди пустых дней».

Тогда мне эта компотная арифметика не понравилась, а сейчас, вылавливая из кружки чернослив, почему-то о ней вспомнил.

Согласно распорядку, на корабле была большая приборка. Не потому ли Афанасьев так поспешно провел меня по всем помещениям? Мы не отдышались даже в рубке радиометриста, где, казалось, сам бог велел задержаться. Это же был наш боевой пост! Мне очень не терпелось дотронуться до рычажков и кнопок радиолокационной станции, включить ее и заглянуть в оживший экран. Но Афанасьев теребил за рукав:

— Пошли, пошли, это все потом, само собой!

Он торопил меня и в машинном отделении, и на ходовом мостике. Получалось, как в одном юмористическом фильме об экскурсоводе: «Посмотрите направо, посмотрите налево. Поехали дальше».

Когда мы снова очутились на верхней палубе, Афанасьев куда-то на минутку исчез и вернулся со шваброй и ветошью.

— От сих до сих, — показал он мой участок приборки. — Надевай робу и шпарь.

Вот тебе и заданье! А кто он вообще-то такой, этот Афанасьев? Без году неделя старшина 2-й статьи и уже командует так, словно я только за тем и пришел на флот, чтобы выслушивать его указания. Невелика птица — подумаешь, две лычки! Мне будто кипятком плеснуло в лицо.

— Послушай, Афанасьев, — сказал я, — ты брось эти штучки, видели мы и почище... Тоже мне командующий нашелся... «От сих до сих»...

Я хотел сказать позанозистей, но у меня всегда так: когда

злюсь, плохо формулирую мысль. Потом, когда остыну, приходит то, что надо. Но уже поздно.

Афанасьев нахмурился и сразу изменился в лице. Заметно сдерживаясь, выдавил:

— Матрос Тимошин, делайте, что вам приказано. — И, уходя, обернулся: — Если до фитиля не хотите доболтаться...

А правы были на берегу, только я, кажется, на трапе не спотыкался. Хочешь — верь приметам, хочешь — нет, но все идет враздрай. Думал, что буду сидеть в рубке, копаться в проводах и конденсаторах, а здесь та же самая швабра. Сомневаюсь, чтобы кто-нибудь из матросов любил этот популярный приборочный инструмент, но я его ненавидел. Что ж может быть более бессмысленным и унижительным — в век электроники и космоса водить этой самой шваброй по палубе точно-в-точь как современники Колумба: вперед-назад, вперед-назад.

— Ты где квалификацию повышал? — спросил матрос, дравшийся рядом медяшку.

— Какую? — не понял я.

— А по части швабры! — И матрос хохотнул, довольный, что поймал меня на удочку такой мелкой наживкой.

Я промолчал, будто пропустил мимо ушей, не связываться же и с этим.

Может быть, тысячи раз — сначала я пробовал подсчитать, а потом сбился — шатуном моих рук проволокло швабру по палубе. Вот уже совсем чистое, до каждой заклепки, железо. Но проходит мимо боцман, косит глазом.

— Слабо, слабо, товарищ матрос. Не у тещи паркет натираете.

Когда мне уже стало казаться, что не я вожу шваброй, а она мной, приборка наконец закончилась. Согласно распорядку, через двадцать минут нам надлежало собраться в кубрике на спецзанятия.

Если каюта командира напомнила мне купе, то кубрик по аналогии можно сравнить с плацкартным вагоном. Раздвинуть немного коридор, вместо окон — кругляки иллюминаторов, поставить посредине стол — вот и кубрик. В общем, жилплощадь такова, что, куда ни двинься, даже самым худющим и поджарым матросам вдвоем не разойтись, не зацепив друг друга бляхами.

В кубрик спустился капитан-лейтенант, встретивший меня у трапа. Был он в тужурке и потому выглядел еще менее внушительно. К своему удивлению, я заметил у него на груди орденскую колодочку. Воевать не воевал, а уже отличил-

ся. Впрочем, рассудил я, много сейчас наград и не за военные подвиги. Матрос, сидевший рядом, толкнул меня в бок:

— Знакомы? Нет? Помощник командира. Первый во всем дивизионе спец по правовому режиму.

Но я смотрел уже не на помощника, а на Афанасьева, который услужливо развертывал карту.

— Территориальные воды,— начал капитан-лейтенант и провел указкой по красному пунктиру на карте,— это морская полоса определенной ширины, проходящая вдоль материка и островов, которая находится под суверенной властью прибрежного государства и составляет часть его территории.

Указка еще проползла по каемке вдоль нашего берега.

— Советский Союз и большинство социалистических государств установили двенадцатимильные территориальные воды... Заход иностранных военных кораблей в территориальные воды допускается лишь по разрешению государства, которому они принадлежат.

— А если не попросят разрешения? — вырвалось у меня.

— Прежде чем задать вопрос, надо поднять руку. Это знает любой первоклассник,— не меняя прежнего тона и не взглянув на меня, сказал капитан-лейтенант.

Я сконфузился, а матросы, сидевшие впереди, сочувственно оглянулись.

— Иностранные военные корабли,— бесстрастно продолжал капитан-лейтенант,— и невоенные суда, преднамеренно зашедшие в территориальные воды прибрежного государства... считаются нарушителями государственной границы.

Капитан-лейтенант сделал паузу и оглядел матросов.

— Старшина второй статьи Афанасьев! Каковы действия пограничников в случае нарушения границы иностранным военным кораблем или судном?

Афанасьев выпрямился пружиной и заученно отчеканил:

— Командование военно-морских сил и пограничные власти вправе предложить иностранному военному кораблю или судну, нарушившему государственную границу, немедленно покинуть территориальные воды и в случае невыполнения этого требования принять необходимые меры, вплоть до применения силы.

— Правильно,— одобрительно кивнул капитан-лейтенант.

Как все, оказывается, просто и буднично — права, режим, погранзоны. Любой из матросов лучше, чем таблицу умножения, знает свои обязанности. Все параграфы эти мы прошту-

дировали еще на берегу. Здесь-то, на корабле, зачем эта казуистика? Но как в том изречении: «Читай устав, совсем устав, и утром, ото сна восстав, читай усиленно устав». И перед глазами всплыла швабра: вперед-назад, вперед-назад.

В кубрике становилось душно, и он показался мне еще теснее. В открытый иллюминатор проглядывал серенький кружок моря. Он был неподвижным, словно прилепленным к стене. И роботы на матросах выглядели под стать серому кружку моря — застиранные и мятые.

В этот день я еле дождался часа, который в распорядке обозначен как «личное время». Личное... Выходит, все остальное время общественное, так сказать, принадлежит государству. А личное — это уже, считай, частная собственность. В личное время я могу быть предоставлен самому себе.

Лично я решил написать письмо. Песня, что ли, меня настроила?

Матрос с конопатым лицом — мы еще не успели познакомиться — достал «хромку», и в кубрик, словно водопадом по трапу, хлынула мятная свежесть подмосковных вечеров. Песня, которую уже редко вспоминают даже на свадьбах, зазвучала здесь по-новому, другими нотками откровения и грусти. И как будто прищемило что-то внутри, невидимой тонкой струной душа отозвалась на знакомый мотив. Есть же песни! Я сравнил бы их — пусть грубовато — с аккумуляторами, в которых таятся воспоминания.

Вот такая тульская «хромка» провожала меня на флот. В центре внимания оказался Борис — друг детства, закадычный кореш юности. С тех пор как в четвертом классе мы случайно оказались за одной партой, нас, как говорится, не разлить водой. Не знаешь, где я, — найди Борьку; не знаешь, где Борька, — найди меня. Неправда, что дружба держится на равноправии. Я признавал превосходство Бориса. И не потому, что он ростом повыше и в плечах пошире, нет. Унижения я никогда не испытывал. Он на голову выше меня в другом — во взгляде на жизнь. Все у него просто и понятно. Вот так некоторые ученики начинают решать задачи с ответом. Посмотрят в конце задачника результат и к нему подгоняют решение. У Бориса ответов всегда больше, чем вопросов. И хотя мы с ним ровесники, Борис в нашей дружбе старшинствовал при полном моем уважении.

И тогда, на прощальном вечере, верховодил Борис. Он притащил с собой «маг».

— Последний крик джаза! Внимание, последний раз в сезоне!

Борис это умеет. Он и дурачится как-то изящно. В общем, была музыка, может и впрямь самая современная, но не было общей песни, и компания развалилась. Тогда отец достал из старенького футляра нашу семейную реликвию — вот такую же, как у матроса, «хромку». Отец купил ее в день, когда родилась моя старшая сестренка. И нет радостнее звука, чем голос этой гармонии, потому что гармонь, как известно, достают только в час веселья.

Но в тот вечер даже самые быстрые ее переборы звучали для меня прощально. Борис, наверное, это заметил. И тут оказался на высоте.

— Начинаем концерт, — крикнул он, — по заявке будущего матроса, а возможно, и адмирала! «Вечер на рейде» исполняют сестры Тимошины. (Это мои сестренки.)

А когда молодая соседка — ее муж служит моряком где-то на Балтике — спела частушку, ею же сочиненную:

Ой ты, Паша дорогой,
Передай мому привет!
Еще раз я повторяю,
Паша, слышишь или нет? —

Борис завертелся вприсядку волчком.

— Кто следующий? — загорланил он.

Я понимал, что он старается из-за меня, чтобы как-то растормошить меня, поднять мое настроение.

Я сидел рядом с матерью, которая поминутно прикладывала к мокрому глазам платок, и безуспешно старался ее подбодрить.

А Борис уже разливал по стопкам вино и провозглашал очередной тост: «За тех, кто в море!» И тянулся чокнуться со мной. Но и звон стопок звучал для меня тоже прощально. Понимал ли Борис, что грущу я не только потому, что пришел час расставания с домом, семьей? Я думал о том, что хотя мы с ним и вместе, но уже далеко друг от друга. Куда было бы легче, если бы провожали сейчас нас обоих! Вещмешки за спину и — вперед! Вперед, друзья!

Говорят: друг детства. Правда, так формулируют взаимоотношения спустя годы, когда становятся взрослыми. И фраза эта как бы подчеркивает, что не настоящий, мол, друг, не сегодняшний, а друг детства, ибо чаще всего друзья детства становятся бывшими.

А в детстве просто друг. И нет ничего бескорыстнее дружбы

двух голоштаных человек. И нет никого сильнее их на всем белом свете. Еще крепче сдружила нас книжка про морскую пехоту. Мы с Борисом проглотили ее, можно сказать, в два приема: он — на уроке химии, я — на английском. Вот это дружба морская! Теперь под настроение мы чаще всего напевали песенку о том, как «дрались по-геройски, по-русски два друга в пехоте морской», о том, как «они, точно братья, сроднились, делили и хлеб и табак» и «рядом их ленточки вились в огне непрерывных атак».

И тем песенным пареньком, который упал под осколком снаряда, в моем воображении был, конечно, Борька. «Со мною возиться не надо!» — он другу промолвил с тоской», — это Борька шепчет мне спекшимися губами. «Я знаю, что больше не встану, в глазах беспробудная тьма...» — чуть слышно говорит он, с тоскою глядя мне в глаза. «О смерти задумался рано, ходи веселей, Кострома!» — отвечаю я другу и, взвалив на расстеленную по снегу шинель, волоку его что есть силы к своим. Пули свистят, поземка свинцом сечет по лицу, но мы ползем, Борька и я, бойцы морской пехоты. Особенно мне нравились заключительные слова песни, благополучный конец: «И тихо по снежному полю к своим поползли моряки...» Одно время я так и звал Борьку: «Эй, Кострома!»

Дружба не удваивала — удесятирала наши силы. А незримые для других, только нами ощущаемые ленточки бескозырок вдохновляюще действовали в любом деле — распиливали ли мы дрова, учили ли уроки. Так и не заметили мы с Борькой, что выделились из компании сверстников. И наша независимость, особенно нетерпимая в школьной среде, стала мозолить глаза даже старшеклассникам — ни за сигаретами нас послать, ни «одолжить, к слову пришлось, копеек тридцать — пятьдесят». Вскоре компания, предводительствуемая небезызвестным не только среди учителей, но и всех жителей Апрелевки Валькой Кавтуном, устроила испытание нашей дружбе.

Однажды после уроков нас подкараулили человек семь ребят, в сумерках их казалось еще больше.

— Здравствуй, здравствуй, — сказал, улыбаясь, Кавтун и вплотную подошел ко мне. — Большими, что ли, стали?

— Почему большими? — спросил я, недоумевая.

— Вот я и говорю: большим стал? — наступал Кавтун, словно не слыша моего вопроса.

Толпа сдвинулась решительнее, и седьмым мальчишеским чувством я понял, что драка неизбежна.

— Полундра! — зашептал Борька, а я сделал шаг вперед и в сторону, уклоняясь от Кавтуна.

И в тот момент, когда я в боксерской стойке приготовился к защите, в этот секундной доли момент по моим глазам хлестнула молния — ударил не Кавтун, а парень, стоявший рядом с ним. Удар был неожиданным и потому сильным.

Дальше я соображал уже плохо. Помню только, что старался держаться к Борьке спиной, это мы с ним давно еще теоретически придумали: налетят — становись спиной друг к другу, и тыл обеспечен. Но его спины я почему-то не чувствовал — то ли нас уже разобзили, то ли Борька был сбит с ног. Я размахивал руками направо и налево, а компания Кавтуна казалась чудовищным спрутом, который так тесно обхватил, так зажал своими щупальцами, что стало трудно дышать. Когда щупальцы разжались, я упал на спину: сзади кто-то подставил ножку. И первая мысль, скорее, даже инстинкт: перевернуться на живот. Я закрыл голову руками.

— Хватит с него... — услышал я далекий, будто в воде пробубнивший, голос Кавтуна.

Кто-то уже нехотя, так, для порядка, пнул меня в бок ботинком, и толпа удалилась.

Я поднял голову — было темно и так тихо, что даже позванивало в ушах. В этом звоне вдруг откуда-то зажурчал знакомый мотивчик, последняя строчка песни: «И тихо по снежному полю к своим поползли моряки!» Борька, где Борька?

— Борь, а Борь... — позвал я.

Никто не откликнулся. В ожидании непоправимой беды заколотилось сердце. Что с другом? Где он?!

С быстротой киноленты память раскрутила происшедшее. Ну да, конечно! Я же слышал, как Борька шептал: «Полундра!» Потом... Потом он вдруг нырнул в темноту и пропал. Нет, не так. Он был где-то рядом, когда на меня навалился Кавтун и кто-то подставил подножку. Я упал...

Меня зазнобило, как только я представил, что случилось дальше. Да, я позорно лежал пластом, заслонив руками голову, а в это время на Борьку наверняка набросились все остальные. И вполне возможно, его стукнули чем-то покрепче. Запросто! Все они носят с собой «предмет самообороны» по принципу: «У меня в кармане гвоздь, а у вас?»

— Борь, Боря! — снова окликнул я друга и не узнал собственного голоса.

Я обшарил вокруг кусты и канавы — Борьки нигде не было. «Трус, — сказал я себе, — трус. Человека убивали, а ты лежал, защищая никому не нужную голову». О, что бы я сейчас ни сделал, лишь бы только увидеть Борьку!

Но вокруг было еще тише и пустыней, чем час назад. Лишь в траве маленьким сторожем этой тишины миролюбиво трещал кузнечик. Страх сопровождал меня на каждом шагу, и он становился тем сильнее, чем ближе я подходил к Борькиному дому. В окнах, несмотря на поздний час, ожидающе светились огни. В эти минуты я готов был на все. Я только не знал, что скажу Борькиной матери.

Я нажал кнопку звонка и простоял довольно долго, пока за дверью не звякнул крючок. В темени проема белесо мелькнуло лицо, и раздался Борькин басок:

— Пашка! Вот здóрово!

Я не поверил ни ушам, ни глазам. Борька! Да, это он! Жив, цел, невредим! Я схватил его за руку и сжал так, словно мы не виделись целые каникулы, хотя расстались только часа два, от силы три назад. Это было настоящее счастье.

— Крепко приложили они тебя?

— Ничуть! Даже ни одного синяка! — сказал Борька. — А ты-то как? Я гляжу, размахиваешь руками туда-сюда. А потом упал, и над тобой началось...

— Да подножкой свалили, — согласился я, оправдываясь. — Ты-то где был в это время?

— Так вот я и говорю, — горячо зашептал Борька, косясь на дверь, — как они тебя свалили, я сразу рванул за милиционером. Прикокошат, думаю, и все тут. Но туда-сюда побегал — как назло, ни одного блюстителя. Вернулся на то место, где мы схватились, а там уже никого не было...

— Как же так, — перебил я, — меня-то мог увидеть, часа два там кружил, тебя искал.

— Да ведь темнота крошечная... хоть глаз коли, — сказал Борька почему-то не очень уверенно и засуетился, оглядываясь на дверь. — Ты уж извини, Паш, — сунул он руку. — Пока. До завтра. За столом меня ждут, гости приехали.

Я хотел попросить вынести хотя бы кружку воды — смыть с лица грязь, но раздумал. Обидно вдруг стало: вот захлопнул Борька дверь и даже не поинтересовался: а как, мол, друг, ты?

Пощупывая горячий бугристый наплыв под глазом, я побрел домой.

Как хорошо все-таки, что в детстве после драки даже самые большие обиды проходят вместе с синяками и шишками!

Мы опять вместе — помалкиваем, правда, но вместе. Пишем

шпаргалки — самые последние за все школьные годы, впереди выпускные экзамены. Перед лицом надвигающейся экзаменационной опасности мы, наверное, и помирились.

— Ну что, Кострома? — спрашиваю я, откладывая в сторону клочок бумажки, на котором бисерным почерком вышиты биография Льва Николаевича Толстого и образ горьковской Ниловны. — Перекурим? — И тут я вспоминаю про песню, которая совсем еще недавно была нашей любимой, — о моряках из морской пехоты, что делили пополам и хлеб и табак. После той памятной драки с кавтуновской компанией мы ни разу ее не пели. Не поется. Может, потому, что впереди экзамены.

Вперед! Пока ходишь в школу, все у тебя впереди. И вдруг с последним экзаменом позади оказываются сразу десять лет. Нейтральной полосой между этими гигантскими десятью годами, когда ты от первых складов в букваре вырос до логарифмов и чуть ли не до теории Эйнштейна, лежит всего лишь один месяц — прятный, как мята, июль. Месяц ослепительного полета — позади школа. Месяц невесомости: ты уже не школьник, но еще никто. И единственная штурманская карта: «Справочник для поступающих в высшие учебные заведения». Сколько неведомых планет, сколько звезд, до которых нелегко, почти невозможно долететь!

Наша с Борькой звезда — МГУ, факультет журналистики.

Почему именно МГУ и этот факультет? Не знаю. Ткнули пальцем в звездное небо. Спроси любого из двух миллионов ребят, ежегодно оканчивающих среднюю школу, почему выбран тот или иной вуз, — многие не дадут вразумительного ответа. А кто говорит о призвании — не верит сам себе.

Мы не думали с Борькой, что журналистика — наше призвание. Просто нам казалось, что быть журналистом — это здорово: ездить по стране, по зарубежу, много видеть и писать в газету. И еще, как ни говори, журналист — это и немного славы: твои очерки и статьи читают миллионы людей, знают тебя по фамилии. П. Тимошин, наш корреспондент. Или Б. Кирьянов, наш собственный корреспондент. В общем, мы и понятия не имели о трудностях этой профессии.

И мы взяли курс к своей звезде. До нее было подать рукой — сорок два километра на электричке от станции Апрелевка до Москвы и три остановки на метро: «Смоленская», «Арбатская», «Калининская». Еще несколько десятков шагов до проспекта Маркса — и плакат у входа на факультет: «Добро пожаловать, будущие журналисты!»

Вот по этим ступенькам поднимался когда-то Белинский,

вот на этом подоконнике, говорят, любил сидеть задумчивый Лермонтов. А вот эти стены слышали Герцена и Огарева. А теперь и мы след в след, стопа в стопу за этими гениальными и великими. И никто, между прочим, не мешает нам быть такими же, как они.

Признаться, я все больше и больше робел, пока легендарным коридором мы добирались до приемной комиссии. Конечно, о призвании что говорить! Но в МГУ мы пришли не с пустыми руками. К этому времени кое-какой газетный багаж нами все-таки был накоплен. Спасибо районной газете — на суд маститым журналистам приемной комиссии я мог представить целых три заметки: о сборе нашей школой металлолома, о массовом гулянье в дубовой роще и об экскурсии на Апрелевский завод грампластинок. У Борьки было несколько заметок о футбольных встречах местных команд и большое стихотворение, посвященное Первомаю, из которого мне очень нравились строки: «И ветер зори в пламя разжигает».

Пожилой лысоватый мужчина с гладким булыжниковым лбом мельком глянул сквозь очки на наши документы — газетные вырезки он словно не заметил — и направил к секретарю, милой девушке.

Будь что будет! Абитуриент — это звучит гордо! Надо уважать абитуриента! Мы постояли возле университетских дверей, которые вели в новый, неведомый мир, и, не сговариваясь, повернули вниз по проспекту, к Москве-реке. Здесь, может быть, впервые за все лето я ощутил шелест листвы над головой и холодок речного дыхания. Это был редкостный по настроению час, который никогда не забудется. Мы не знали, что через месяц придем сюда совсем другими и тот день, когда у нас приняли документы, будет вспоминаться, как давным-давно прошедший праздник.

Мы недобрали по полбалла. Каких-то ноль целых пять десятых — и звезда драпанула от нас. Таких, как мы, набралось человек двести, и все столпились у списка, на котором ровным столбиком красовались фамилии отлученных.

— Вот и опубликовались! — грустно сострил кто-то.

Да, вот тебе еще П. Тимошин, Б. Кирьянов.

Не знали мы тогда, что ошибки в сочинении — это еще не ошибки в жизни. И что не орфография с пунктуацией преградили нам путь в журналистику. Родственная труднейшим земным профессиям, она, вероятно, требовала чего-то большего, чего у нас пока не было ни в аттестате, ни за душой.

— Что же поделаешь, — сказал я Борису, успокаивая се-

бя,— через годик придется делать второй заход. Все-таки получили практику... Главное, чтоб вместе держаться. На завод поступим. С рабочим стажем, видел,— почет и уважение! А школьников, может, специально отсеивают...

— Через годик? — хмыкнул Борька и посмотрел на меня, как на ребенка.— Да через годик нас с тобой как миленьких забреют в армию. Вот и будем там «ать-два»! И получится, что завернем сюда уже через два, а то и три года.

Борис докурил частыми затяжками сигарету, прикурил от нее другую и сощурился — то ли от дыма, то ли от раздумья.

Я пожал плечами, но не стал спорить, хотя слова Борьки меня удивили. О том, что если не поступим в университет, то осенью прийдут из военкомата повестки, я знал и без него. Здесь он мне Америку не открыл. Больше того, меня несколько не пугал такой оборот дела. В армию пойдем вместе. Представить только — в один полк, в одну роту, в один взвод! Вот уж воистину сбудется: «Дрались по-геройски, по-русски два друга в пехоте морской!» Пусть попадем в обычную пехоту. Хотя лучше бы заявиться в родную Апрелевку моряками: «На побывку едет молодой моряк, грудь его в медалях, ленты в якорях!»

— А ты знаешь, что сегодняшняя армия — это сплошная техника? — попытался я хоть чуть пошатнуть Борькину логику.

— Знаю,— усмехнулся Борька,— даже больше, чем техника. Кругом сплошная электроника и кибернетика... В общем, ты как хочешь, а я буду что-то предпринимать.

Я не узнавал Борьку. Откуда это — «ты как», «а я так». Я вдруг сразу вспомнил ту, давно забытую драку.

Мы отчужденно попрощались. И не виделись больше месяца. Бывает же: дома наши на одной улице, да и Апрелевка не Москва, а вот столько времени будто играли в прятки. Зайти же друг к другу запросто, как раньше, никто из нас не решился.

Это была старая игра: мы ждали друг друга — кто первый. На этот раз уступил Борька.

Он вошел празднично сияющий, громко поздоровался, чтобы слышали все, кто дома, а не только я, сунул руку в боковой карман пиджака и, достав темно-синюю книжицу, шлепнул ею о стол.

— Можешь поздравить! Зачетная книжка студента.

Да, это была зачетная книжка с Борькиной фотографией и четкой надписью: «Московский финансовый институт».

— Вот так! — сказал Борька, перехватывая мой взгляд. — Надо уметь!

— Что хорошо, то хорошо, — сказал я, не очень-то обрадованный, но с завистью: студент есть студент. — А почему в финансовый? Ты же с математикой не в ладах...

Борька ждал этого вопроса. Конечно, ждал. И, молча по-смаковав ответ, сказал:

— Все работы, Паша, хороши, люди всякие важны. Разве ты забыл рекомендации Владим Владимыча своим потомкам? — Он неторопливо положил зачетку в карман и добавил: — Чем, по-твоему, этот институт хуже МГУ? Серость, разве ты не знаешь, что социализм — это учет? И потом... важен диплом, любой... А дальше — время покажет.

Может, Борька был прав? А я тогда поторопился подать заявление в отдел кадров завода с просьбой принять учеником токаря в механический цех? Агитация отца сработала безотказно. «Не вешай носа, — говорил он мне, — не распускай нюни. Все к лучшему. На заводе научишься молоток держать, в армии — винтовку, глядишь — человек. А диплом — так это ведь только приложение к умной голове».

И правда, у нас в семье насчет службы в армии никогда не было дебатов. Это считалось само собой разумеющейся, неотъемлемой частью биографии. Первый класс, прием в пионеры, вступление в комсомол. Помнится, приехал я из райкома — только что вручили комсомольский билет, — вошел в дом, смотрю — на столе дымятся пироги. «Это по какому поводу?» — спрашиваю мать. «Как по какому? — изумилась она. — Тебя же в комсомол приняли!»

И вот тогда, на проводах в армию, сквозь материнские слезы я не мог не заметить в ее глазах радости и гордости: «Вырос... Вот ведь дожила — в армию провожаю!» А отец, так тот, кажется, помолодел лет на десять. Весь вечер не выпускал из рук гармони и сам запевал все солдатские песни. А были среди них и такие, что мы сроду не слышали, — видно, держал их отец про запас, до заветного случая.

Гости долго не расходились. Уже к полуночи подвигались стрелки часов, когда подошел ко мне Борис и шепнул с загадочным видом:

— Выйди на минутку, ждут тебя.

Я сбежал с крыльца, и на меня пахнуло осенним садом — терпким ароматом яблоневого листа и дымком погасших костров. За калиткой — я и не узнал сразу — стояла Лида Зотова.

— Ты чего? — спросил я громко и, наверное, очень грубо.

— Вот, — сказала она, — возьми сюрприз, — и протянула конверт. — Только с условием: откроешь, когда переоденут в форму.

Я положил конверт в карман, забыв поблагодарить.

Мы стояли молча минут пять, а может быть, полчаса. Светло-желтым вымытым плафоном висела луна. И тени падали так резко, что Лидин профиль казался нарисованным тушью. Он так и врезался в память — на фоне темной рябиновой ветки. Чем пристальнее вглядывался я в этот профиль, тем неузнаваемее становилось для меня ее лицо. А может быть, сейчас, в темноте, я разглядел в нем то, чего ни разу не видел днем.

— А нас вот в армию не берут, — сказала Лида.

Вот и все, что она сказала.

Рабочая наша Апрелевка уже спала крепким сном. Только электрички невидимо гремели по рельсам в ночи.

Дорожка света метнулась под ноги — это Борис распахнул дверь, вышел к нам.

— Извини, Паш! — сказал он, зевая. — Мне завтра, то есть сегодня, вставать чуть свет. Пока... Бывай... Держи лапу...

— Ну, до свидания, пойду я, — смутилась Лида и застучала каблучками вдоль палисадника.

Борис жал руку долго.

— Пиши, — повторял он, — главное, пиши чаще. Письма раздражают нервы. Это я в хорошей книжке вычитал. Письмо написать — все равно что с другом поговорить. А кто тебе друг, если не я. Да, — спохватился он, — чуть не забыл, — и, порывшись в портфеле, вытащил пакет. — Держи! Финский почтовый набор. Хватит на целых полгода — и бумага в линеечку.

Уже укладываясь спать, я вспомнил про Лидин сюрприз и вскрыл конверт. В нем оказался другой, поменьше.

«Как не стыдно! — прочитал я. — Ведь просила же открыть, когда переоденут в форму. Так и знала, что не удержишься. Целую. Лида».

...Вечер будто вчерашний, а я уже не на Апрелевской улице, а в кубрике. Интересно, где в эту минуту Борис?

Письмо первое.

«Борька, дружище, привет! Извини за долгое молчание, но о чем было писать? О том, как перед назначением на корабль занимался строевой подготовкой? Представляешь, учились заново ходить.

«То, — говорит мичман, — чему вас мама научила, когда вам было по десять-одиннадцать месяцев, забудьте. Выше ножку! Шагом марш!» И вот мы маршировали с утра до вечера. «Разомкнись!» «Сом-кнись!» Правда, занятия по специальности давали кое-какую отдушину. Тут начинал вспоминать, что ты все-таки мыслящая личность и не зря долбал физику и логарифмы. Но это — как солнце среди обложного дождя. В остальном же от подъема до отбоя как белка в колесе — бежишь, бежишь, а все на одном месте.

Сильно я надеялся на изменения, когда попаду на корабль. Ладно, думаю, выдюжу, зато потом «соленый ветер в грудь, счастливый путь!». Но вот я на корабле, и опять почти все то же. И тут от швабры не убежал.

Командир корабля — ничего особенного. Не отважный капитан, не объездил много стран. Была у меня с ним встреча. Станный какой-то. Цветы в каюте. Представляешь, в двух котлах — их здесь называют лагунами — охалки живых астр.

Ты знаешь, я ему показался совсем зеленым. Не мы с тобой виноваты, что все эпохальные события состоялись или до нашего появления на свет, или застали нас в младенческом возрасте.

Мы родились после Победы. И о войне знаем только по книгам и фильмам. А даты гражданской войны нам давались с таким же трудом, как войны из истории древнего мира. Потом в космос пробился первый человек нашей планеты — Юрий Гагарин. И опять мы опоздали... Мы все время опаздываем... «Да, ничего не поделаешь, — сказал мне командир, — эпоха шьется на вырост...»

Как это прикажешь понимать? Быть может, он примерил мой возраст к своему и увидел, какой салажонок я? Но ведь и они — не Нахимовы и не Ушаковы. И жизнь их — простая проза: в дозор — из дозора. Попахал море, поел — и спать. А служба идет.

Какая уж тут романтика! Здесь даже моря-то по-настоящему не видят. Сплошные приборки, прокручивания механизмов и политзанятия.

По-честному, Борька, завидую я тебе. Институт, науки!

Мне же остается ждать, пока пройдут эти годы. Правильно говорится: «Красиво море с берега, а корабль на картинке». Сам лучше пиши мне почаще. Знаешь, как дорога здесь каждая весточка.

Привет всем знакомым, кого встретишь, обнимаю. Твой Павел».

Я полез в рундук за конвертом и наткнулся на карманный календарик, заложенный между страниц книги. Медленно и тщательно, растягивая удовольствие, я не перекрестил, а заштриховал на календарике первый свой корабельный день, благо компот был давно выпит. Незаштрихованных клеток оставалось столько, что и считать-то их было бы бессмысленно.

2.

После отбоя я лежал на койке и, ворочаясь с боку на бок, ощущал под собой похрустывание пробкового матраца. Конопатый парень-гармонист уже безмятежно посапывал на соседней койке. За стальной переборкой шуршала волна, будто в дверь царапалась кошка. На меня немигающим оком тревожно смотрела синяя лампэчка дежурного света.

Нет сна крепче матросского и нет его беспокойнее. После вахты лежишь на койке, как в невесомости. И вот уже словно тяжелеют, слипаются веки, ты куда-то покатишься, связанный усталостью по рукам и ногам. Но чу! С той самой секунды, когда ты переходишь границу между явью и сном, в тебе начинает тикать невидимый будильник. «Тик-тик» — через четыре часа опять на вахту. «Тик-тик» — а может быть, раньше? Стрелку звонка этого невидимого будильника устанавливает чувство, которое незнакомо тем, кто не служил в армии. Я назвал бы это чувство постоянным ожиданием тревоги. Ее ждешь даже тогда, когда спишь.

В подразделении, где мы проходили курс молодого матроса, я попытался однажды перехитрить эту тревогу. Еще с вечера дневальный, мой кореш, по секрету шепнул мне, что ночью, возможно, будет объявлена тревога. Учебная тревога неожиданна только для матросов. Командир же заранее планирует ночь и час, когда она обрушится на сонную казарму. В считанные минуты нужно встать, одеться, схватить автомат, и замереть в строю готовым к бою. В считанные минуты! И чем их меньше, тем лучше. Даже соревнования проводят между ротами — кто быстрее поднимется и встанет в строй.

Для меня ожидаемая тревога не была первой. В том-то и дело, что на предыдущих двух или трех я уже приобрел кое-какой опытишко. Где самое слабое звено в цепи одевания? Самое слабое звено — это я теперь уяснил окончательно — в «гд». «Гд» — матросская аббревиатура названия рабочих бо-тинок — «грязедавы».

В этом нет ничего презрительного. Наоборот, в прочных, хотя и грубоватых на вид, ботинках нога как дома в самую распутицу, в грязь, в дождь. Даже шнурки из сыромятной кожи тоже для крепости, для непромокаемости. Но слабое звено в цепи одевания и находится как раз в шнурках — требуется немалое искусство, чтобы продеть их в дырочки и как следует завязать. А главное, нужно время, которое в момент тревоги измеряется только секундами.

Лягу в «гд», решил я. Подумаешь, одну ночь посплю не разуваясь, зато в числе первых буду в строю.

Я проснулся оттого, что в глаза ударил свет. Это дневальные. Прежде чем закричать: «Рота, подъем! Тревога!» — врубают все выключатели. Тревога очень похожа на грозу: сначала молния — вот этот свет, разом вспыхнувший во всех кубриках, потом гром — голоса дневальных. Но слова «тревога» я, наверное, не расслышал — так сладко спал, что, проснувшись, еще лежал с минуту, не открывая глаз.

— Встать! — прогремело над моим ухом. — Матрос Тимошин! Это к вам относится!

С меня как ветром сдунуло одеяло. Я приподнялся на кровати и прямо перед собой увидел мичмана. Он смотрел на меня, нет, не на меня, а на мой «гд», и с таким видом, словно перед ним были по крайней мере ихтиозавры. Я зачем-то пошевелил ботинками и тем самым как бы вывел его из оцепенения.

— Видали! — развел мичман руками, обращаясь к одетым и уже готовым к выходу матросам. — Видали рационализатора? Два наряда вне очереди за такую рационализацию!

«Тик-тик, тик-тик...» Наверное, там, где мы проходили курс молодого матроса, в меня и заложили невидимый будильник, который сейчас, на корабле, не дает сомкнуть глаз. Я смотрю в подволок (потолок по-морскому) и слушаю шебуршание волн.

Корабль стоит у пирса, а все равно кажется, что плывет, потому что море под ним ни на минуту не замирает, не останавливается. И швартовы натянуты сейчас, наверно, как струны. Это море зовет, притягивает к себе.

Где-то далеко на берегу и еще дальше, за тысячу километров по берегу, — Апрелевка. Интересно, что в эту минуту поделывают дома? Когда-нибудь изобретут телевизор в виде транзисторного приемника: включил, покрутил ручкой настройки — и вот, пожалуйста, мама хлопочет у плиты. «Мам! — скажешь ты в микрофончик. — Здравствуй! Это я. Ну, как жизнь? Ты жива еще, моя старушка? Жив и я, привет тебе, привет...»

Ничего удивительного — видим же мы по телевизору космонавтов, когда они на орбите.

Впрочем, я и без телевизора могу с точностью до часа сказать, что происходит дома в данный момент. Неписанный распорядок, установленный годами. И нарушается он в исключительных случаях: кто-то приехал в гости, кто-то заболел... Если бы знали, как мне хочется снова очутиться во власти того домашнего распорядка, которым я еще недавно тяготился!

Ладно, для того чтобы увидеть родных, телевизор, допустим, не нужен. Вот был бы у меня такой, на котором два переключателя — «Лида», «Борис». Который час? Восемь вечера? А ну, нажмем на кнопку «Лида»...

Ага! Вот она! Сумочка на пальчике, идет, не торопится. Ну-ка, ну-ка, крупный план. Что за чушь? Неужели реснички прилепила и накрутилась? И веснушек не видно — запудрила. Что-то уж очень глаза у нее озоруют... И платье мини-минимального. По-моему, раньше она таких не носила. Вот повернула на Комсомольскую. И тут совсем заскультировалась, только каблучки цок-цок по асфальту. Ясное дело, прямая дорожка к Дому культуры. А там уж музыканты шпарят на электрогитарах — точь-в-точь как мушкетеры из телепередачи «Алло, мы ищем таланты!». Вообще-то они хорошо играют. Я знаю, что Лиде нравится. Бывало, пойдем на танцы, а она, сколько ни кружимся, все, как гирокомпас, направлена в одну сторону — к этим самым электрогитаристам, чтоб у них струны повывключались.

Так... Подошла к кассе. Но билета не берет. Остановилась, ждет кого-то. А это что за пижон к ней швартуется? Что-то незнакомая личность? Эй, черт, звук пропал! О чем они разговаривают? Лида повернулась к нему спиной, делает вид, что разглядывает афишу.

Значит, Лида ждет подругу. Жанну. А вот и она! Ну да, по донкихотской фигуре видно. Нет, это не Жанна. Парень! Точно, парень. И вовсе не донкихотского вида — это строчки на экране съезжились. Подошел к кассе, взял билеты. Берет Лиду под руку. Не под руку, а за талию. Кто же это? И она хороша, хоть бы что, даже прислонилась. Резкость, резкость! Кто это может быть? Борис? Не он. Нет, все-таки Борис. Ну-ка, ну-ка еще резкость? Все как в тумане — видимость ноль.

Я поворачиваюсь на другой бок. Все-таки очень хорошо, что карманные телевизоры пока не сконструированы. Не завидую я их обладателям — влюбленным нашим потомкам.

Щелкнуло в динамике, словно он прокашлялся, чтобы заученно пробубнить:

— Очередной смене приготовиться на вахту! Форма одежды — четыре.

Форма четыре — это значит в бушлатах. Наверху свежо, а в кубрике духота — седьмым потом обливаюсь. И больше всего на свете я хотел бы сейчас искупаться.

Вот парадокс. Сколько я уже на флоте? Не первый день, не первый месяц, а моря, можно сказать, не ощутил. Узнал бы Борис, на смех поднял.

Поиздеваться надо мной у Бориса были все основания. У него в комнате весь сервант уставлен раковинами — эта из Хосты, эта из Коктебеля, эта из Гагры. Каникулы он проводил обычно на море. Сначала с родителями, а после на турбазу ездил один. И я балдел от зависти, когда он возвращался бронзовый, какой-то нездешний и напевал песенку о том, что «надоело говорить и спорить и любить усталые глаза». Флибустьерское море, в котором бригантина поднимает паруса, судя по всему, было моему другу Борису знакомее, чем наша мелководная речушка Малая Десна.

Борис тасовал фотокарточки, словно карты — они тоже пахли морем, — и рассказывал о своих туристских похождениях. Куда там Грину! У Грина книжная романтика, а тут полнейшая реальность.

— Вот видишь, — говорил Борис, — девочка с прической под колдунью. Мы называли ее Ассоль. И представь себе, оборачивалась.

Да, действительно, ничего не скажешь, симпатичная. Особенно на фоне прибоя, как на открытке. Но если бы на ее месте очутилась Лида! Пожалуй, ей море даже больше к лицу.

— А это вот заштормило, — показывал Борис на другую фотографию. — Баллов семь, не меньше.

Море пенилось, гривастые волны вскачь неслись к берегу, а Борис хоть бы что: стоит, грудью готовясь встретить удар. И все сказано одним крепким, как морской ветер, словом «заштормило».

Здорово... А Борис уводил своим рассказом еще дальше в сказочный ресторанчик на высокой горе, в котором сидят на экзотических пнях, пьют вино с неимоверно романтичным названием — «Черные глаза», закусывают шашлыком и любуются лазурным горизонтом, где небо сливается с морем. И если набраться терпения, там можно подстеречь знаменитый зеленый луч, который светит к счастью...

Ну и здоров же врать, а веришь каждому слову.

А потом... Потом, когда море становилось светлее неба,

наступал вечер, начинались танцы. Знойные ритмы под веерами пальм...

— Три вечера подряд,— гордо произносил Борис,— я танцевал с Ассоль.

— Почему только три?

Борис помялся и многозначительно сказал:

— Увидела другой алый парус...

Да, замечательное, ни с чем не сравнимое море на фотокарточках и в рассказах привозил в Апрелевку Борис. А меня все не пускали родители, все чего-то боялись... Но в последние свободные каникулы, в канун десятого класса я чуть было не укатил вместе с ним. Перед моими доводами, вескость которых заключалась в том, что «Борис вон сколько, а я ни разу!», уже капитулировала мать, вот-вот должен был сдаться отец. На Курском вокзале в предварительной кассе были заказаны билеты. Но...

— Придется отложить твоё море,— вдруг сказал отец,— в жизни у тебя ещё много будет морей. Давай-ка подсобим на сенокосе соседу дяде Леше. Староват стал, одному не управиться. Да и тетя Лиза прихварывает.

И откатились планы за тридевять земель, за тридевять морей. Дяде Леше надо было, конечно, помочь — все-таки лучший друг семьи, из тех, что роднее родственников. В тот день, когда Борис уже поглядывал в вагонное окно на приморские пейзажи, мы ладили шалаш на лесной поляне, почему-то названный Машкиной сечью.

— Не вешай носа,— сказал отец,— не прогадал, вот увидишь.

На зорьке, когда солнце ещё карабкалось по веткам, чтобы взобраться на макушки дальнего леса, мы вышли втроем на поляну. На травах, набрякших росой, ещё лежала сумеречность. И было так тихо, что можно было расслышать, как падают капли с листьев березы.

— Ну, начнем,— сказал отец и взмахнул косой.

Звон косы, подсекающей траву,— особый звон, и слышал его лишь тот, кто держал косу в руках. Не сталь звенит, а колокольчики, васильки, ромашки перезваниваются и ещё какие-то с неизвестными названиями цветы. И ещё — серебряная струйка росы, стекающая по зеркальному лезвию косы.

Я косил неважно, но брал упорством, и отец, оглядываясь, видел это, улыбаясь, молчал. Он шел впереди, впечатывая следы — прочные, тяжелые, в которые так и хотелось ступить, повторить их.

— Ты смотри, красотища-то! А? — приговаривал он, обращаясь.

Солнце уже продралось сквозь колючие ветки ельника и глядело на нас, словно любопытствуя. Оно поднималось прямо на глазах, как огромный малиновый воздушный шар. Вот он укололся о вершину синей ели и вспыхнул. Мириадами разноцветных огоньков разбросало этот шар на поляне. Синие, рубиновые, изумрудные — на землю словно упала радуга.

— Роса горит, — сказал отец, — к хорошей погоде.

С первой электричкой приехали мать и тетя Лиза. Солнце стояло уже высоко, и теперь настала очередь ворошить ряды — они зелеными волнами тянулись через всю поляну. Мать легко переходила от валка к валку с граблями. И не разбрасывала траву, а словно расчесывала, взбивая живые пряди. Глядя, как она весело орудует граблями, будто соревнуясь с подругой, подумал о том, что для матери это не просто сенокос, тяжелая, изнурительная работа, а праздник, которого мне пока не понять.

Две недели пробыли мы на Машкиной сечи. Обед варили у костра, пили ручьевую воду с комарами пополам. И я как-то забыл про Хосту. Некогда было вспоминать.

— Ну как, доволен? — спросил отец, когда мы вернулись домой.

— Хорошо, — ответил я. Но про себя подумал, что на следующее лето к морю все-таки доберусь.

И вот добрался. Море в полуметре, и того меньше, а вспомнил о сенокосе. Поистине хорошо там, где нас нет.

Первый раз мне суждено было увидеть море без пяти минут моряком. Подтянутый, будто перехваченный под тужуркой корсетом мичман с усиками (почему-то все молодые мичманы носят усики!) построил нас, призывников, на вокзале и повел, как он выразился, к месту прохождения службы. Мы шли по улицам известного — на карте возле его названия отпечатан якорек — города, военно-морского порта. И мостовые, и тротуары, и дома — гранит и камень. Весь город поэтому похож на бронированный корабль. По мостовой мы шли, как по палубе.

А моря все не было и не было. Я смотрел то перед собой, вытягивая шею, потому что впереди покачивалась крупная на широких плечах голова направляющего, то заглядывал вправо и влево — нет моря: школа, магазины, какой-то завод.

— Стой! — скомандовал мичман. — Подождем, пока сведут мост.



Мы остановились у разводного моста — маленькая копия Крымского. Только он был сейчас как бы надломлен, и его половины встали дыбом. Под мостом темнел канал не шире Яузы.

— А зачем разводной?! — спросил кто-то у командира.

— Чтоб свободно проходили корабли, — сказал он, — в гавань.

Корабли... Гавань... А где же море?

— Море-то где? — не удержался я.

— Какое море? — удивился мичман. — Вот оно, за волноломом.

Я, конечно, не знал, что такое волнолом. Но спрашивать не стал — еще и тут опростоволоситься. Наверное, так называют каменную грядку, что выступает от берега и отгораживает нечто наподобие пруда. И зачем волны ломать?

Как я ни пытался разглядеть за нагромождением камней море — ничего похожего не было видно. Неужели море — вон та серая полоска, что сливается с блеклым небом? А где же прибой, о котором так восхищенно рассказывал мне Борис? Где пляж? И ни одного купальщика...

— Шагом марш! — скомандовал мичман. И добавил тише, словно пристыдил: — По сторонам не глазеть, не на экскурсии.

Расположились мы в двухэтажном краснокирпичном здании с островерхой крышей, напоминающем средневековый замок. Кто-то пустил слух, что здесь останавливался Петр I. Может, и правда, хотя вещественных доказательств даже в виде мемориальной доски не было. Но в легенду мы поверили безоговорочно. Так хотелось — вот, оказывается, откуда идет наша морская родословная. И со священным чувством причастности к подвигам русских мореходов мы ступали по плитам, которые отзывались подковчатым каблукам петровских ботфортов!

Но море! Море! Я никак не мог унять разочарование, которое так неожиданно постигло меня при самой первой встрече с морем, там, у волнолома. Вот тебе и моряк с печки на лавку брак...

И все-таки я был теперь моряк. Да, моряк. И однажды наступил такой момент, когда — держу на спор — Борис мне позавидовал бы. Ну, если бы и не ахнул, то промолчал бы от зависти наверняка. В тот чудесный момент все на свете моря и океаны сразу оказались моими. Лично моими.

Правда, как в сказке! Мы вошли в баню кто в чем: в куртках, в свитерах, в пиджаках, а вышли — моряками. Загляденье!

Хороший мичман человек. «Вместе с паром,— говорит,— из вас сухопутные души испарились. Вот вам взамен морские!»

И каждому — по новенькой тельняшке. Тельняшка как тельняшка. Таковую, в общем-то, можно купить в военторге на Калининском проспекте. И у Бориса их штук пять лежит в шкафу. Но огромная разница! Те магазинные, а эта — настоящая морская. Разве сравнить!

Ты натягиваешь ее на мокрое тело, и оттого она кажется упругой, и вот уже синими полосками, словно обручами кольчуги, охвачена грудь, и мускулы — откуда только взялись! — наливаются удесятеренной силой. Будто и в самом деле вселилась в тебя новая, бесстрашная душа, которая называется морской.

Теперь очередь за робой! Слово-то какое соленое — роба. Синие комбинезонного материала брюки и рубаха. Но не просто брюки — их подпоясываешь широким черным ремнем с увесистой медной бляхой, на которой переливается якорь. И не просто рубаха — у нее вырез на груди такой, чтобы легче дышалось и еще, наверно, чтобы тельняшка была видна. По неписанным правилам — три сине-белые полоски, и не больше! Под вырезом рубахи — две пуговички. Ты берешь синий воротничок — по-матросски гюйс,— забрасываешь его за плечи и пристегиваешь к этим самым пуговичкам, словно птицу за два крыла. Вот теперь ты самый красивый парень на свете — моряк! И как в песне — тебе от роду почти двадцать лет.

Наверное, девчонки на танцах не толпятся так у зеркала, как парни, только что облаченные в морскую форму.

Мичман, который все это время, пока мы переодевались, молчал, повернул к нам довольное лицо — первый раз такое довольное — и сказал:

— А теперь получите самый главный атрибут,— и показал на бескозырки.

Мы бросились разбирать две черные башни — бескозырки лежали стопкой, одна на другой — и снова затолкались у зеркала.

Да, это был, конечно, главный атрибут, мичман прав. Даже на собственном лице я вдруг обнаружил отпечаток чего-то нового, незнакомого. Лоб чуть наискось перечеркивал черный околыш, и глаза под этой чертой как бы потемнели. Но, как тогда у волнолома, кольнуло разочарование. На бескозырке не было матросской ленты.

— Это называется чумичкой, а не бескозыркой,— сказал один из всезнаек, которые — вот удивительно — всегда оказываются среди новичков.

— Кто сказал чумичка, повторить! — настороженно спросил мичман.

Никто не отозвался.

На выходе, прежде чем скомандовать «Шагом марш», мичман громко, чтобы все слышали, сказал:

— На ленту матрос имеет право после присяги. Ибо лента... — он помолчал, подбирая нужное слово, — это не что иное, как венец славы морской.

Ясное дело. К славе морской мы пока что не имели никакого отношения.

«Даже моря-то еще не видел», — подумал я и опять вспомнил волнолом.

Когда мы шли в баню, было тихо, а сейчас, только шагнули за ворота, в лицо песком швырнул ветер.

— Чумички не растеряйте! — хихикнул знакомый голосок.

Так мы и топали до самой казармы, придерживая бескозырки. Впрочем, казарма — это у солдат. У матросов она — кубрик. И полы — не полы, а палуба. И кровать — не кровать, а койка. Соответственно и тумбочка называется рундуком. Из книг я давно знал, что уборная именуется гальюном. Но как-то в голову не приходило, что гальюн убирают сами матросы. По очереди. И еще бывает, вне очереди.

Что такое мыть гальюн вне очереди, я узнал в тот же день. И виноватым оказалось... море.

Чем ближе мы подходили к кубрику, тем сильнее слышался шум в сосновом лесу, который окружал дорогу. Шум нарастал с каждым шагом. Но странное дело — шумели не сосны, они, поскрипывая, мягко покачивались на ветру. А вот где-то в глубине, за ними, словно грохотали по рельсам десятки электричек. Они проносились мимо невидимой платформы, замирали и снова возвращались.

— Что это за шум такой?! — спросил я еще незнакомого мне левофлангового.

— Море штормит, — ответил он и посмотрел на меня, как на младенца. — Отсюда до моря с полкилометра. За соснами не видно, а со второго этажа как на ладони...

«Море штормит! Как у Бориса на фотокарточке! И не где-нибудь за волноломом, а совсем рядом. Где же я раньше был?»

— Что-то вы идете, как на похороны, — с досадой сказал мичман. — Песню бы, что ли, спели! Есть запеваля?

— Есть! — гаркнул я так, что впереди идущие недовольно оглянулись.

— Запевай! — весело приказал мичман.

— Наверх вы, товарищи, все по местам! — затынул я. — Последний парад наступает. Готовые к бою орудья стоят, на солнце зловеще сверкая. — И пока выводил во всю глотку этот куплет, лихорадочно думал только об одном: подхватят или нет. Я облегченно перевел дух, услышав, как впереди и позади раздалось еще неуверенное, но все же дружное:

— Готовые к бою орудья стоят... — Поддержали.

До кубрика нам не хватило куплетов двух. Опять пошли молча. Только левофланговый, который сказал про море, толкнул меня в бок и съехидничал:

— Тебе бы в ГАБТе выступать, а ты «Наверх, товарищи!».

Как только мичман подал команду «Разойдись!», я через три ступеньки взвился на второй этаж, чтобы взглянуть на море. Но классы, обращенные окнами в его сторону, оказались закрытыми. «Ничего, — успокоил я себя, — теперь-то ты, родное, нигуда не денешься».

После обеда, когда мы дымили в курилке, подошел мичман. Мы сразу притихли, а он, распечатав пачку сигарет «БТ» и положив перед нами — дескать, курите, здесь я вам не командир, а товарищ, — спросил:

— Плавать все умеете?

— Конечно, все! — с надеждой и готовностью выпалил я.

Он покосился в мою сторону и, пропустив мимо ушей такое категорическое восклицание, переспросил:

— А ну, поднимите руки, кто не умеет плавать!

Никто рук не поднял. Чудак этот мичман — разве бывают неплавающие моряки?

— Хорошо, — сказал он. Но в этом «хорошо» все же прозвучал оттенок недоверия. — Хорошо, что все умеете плавать. Значит, будем учиться ходить. Через двадцать минут начнем заниматься строевой подготовкой!

И тут меня словно за язык дернули.

— Товарищ мичман, — сказал я в сердцах, — мы что, маршировать приехали или морскому делу учиться? Море в двух шагах, а ни разу не искупались.

Мичман смял сигарету, взял пачку, положил в карман и встал. Ну, думаю, сейчас выдаст по первое число. А он нет — посмотрел на меня соболезнующе и ответил, обращаясь ко всем:

— Порядок есть порядок. Были бы вы на пляже — другой вопрос. Даже у меня нет такой власти, чтобы разрешить вам купание. «Добро» надо испрашивать у начальства повыше. Дадут «добро» — пожалуйста. Море любит порядок.

Вот оно что! Значит, и над морем есть начальство. Значит,

шуми не шуми, волнуйся не волнуйся, а порядок есть порядок, и точка. Значит, море хоть и огромное, но не все одинаковое. Есть море гражданское — что хочу, то и делаю, как Борисово например, которое в Хосте. А есть море военное — без приказа, без разрешения ни шагу. Это море, выходит, мое. Такое мне досталось. Прежде чем окунуться, я должен испросить «добро» у мичмана, он — испросить у командира части, а командир... Командир еще подумает, дать «добро» или нет.

С этими невеселыми мыслями я вышагивал в строю.

— Разом-кнись! Сом-кнись! Напра-во! Шагом марш! Выше, выше ногу, — командовал мичман. — Видели по телевизору, как на парадах шагают? Вот так, и даже лучше, должны ходить вы.

Так то на параде, на Красной площади, у всей страны, у всего мира на виду! А здесь пыль да песок, и в «гд» его набилось столько, что каленым железом жжет мозоли. И ноги как чугунные. И никто нас не видит, кроме товарища мичмана. И никогда нам не маршировать по Красной площади. А на кораблях строевых парадов не устраивают. Кому, зачем это нужно, если в двух шагах море. Море! Посадил бы на шлюпку, дал бы весла — и командуй на здоровье. Мы же моряки, товарищ мичман!

Не одна неделя и не две, а много-много дней прошло, пока я понял, что строй — это дисциплина действий. Может, сто, а может быть, тысячу километров прошагает человек на занятиях строевым шагом, пока наконец ощутит и телом и сердцем справедливость этих слов. Есть неуловимая связь между четкостью движений в строю, дружной согласованностью шага матросской колонны и мгновенной реакцией, единым порывом экипажа корабля в минуты напряжения всех сил — в минуты боя, пусть даже учебного.

Есть невидимая, как напряжение в проводах, не бьющая током связь между «Становись!», «Равняйся!», «Смирно!» и «По местам стоять!», «С якоря сниматься!», «Аппараты товсь!», «Пли!».

Я этого тогда еще не понимал, как первоклассник не понимает смысла слова, складываемого по слогам. Это были азы службы. И мне еще предстояло соединить, осмыслить такие разные, не относящиеся друг к другу прямо, нестыкуемые учебные дисциплины, как строевая подготовка и радиоэлектроника, устройство шлюпки и современные виды корабельной связи.

Пока что я только был одет по-матросски, но еще не стал военным моряком. И прежде чем я произнес клятвенные слова

военной присяги, прежде чем мою бескозырку обвила черная лента с золотыми буквами, я должен был научиться элементарному — ходить, бегать, прыгать, ползать, а главное — держать в руках оружие и владеть им.

Конечно, в тот день, когда мы впервые вышли на строевую подготовку, моя голова была занята не этими мыслями. Я настойчиво обдумывал одно и то же: как все-таки выбраться к морю. Через контрольно-пропускной пункт не пройти. Остается единственный путь — через забор. Незаметнее всего это можно осуществить напротив камбузных окон — места самые безлюдные. Да и забор там, кажется, пониже. И как только я его перемахну, меня сразу замаскируют кусты.

— Тимошин, где у вас левая рука! — услышал я голос мичмана. — Я же подал команду «Налево», а вы куда повернулись? Тряпочки, что ли, вам найти на рукава?

«Придирайся, придирайся, — со злорадством подумал я, — а на море все-таки схожу. Что я, за тыщу верст киселя хлебать ехал?»

Свой план я осуществил после ужина. Когда нам дали полтора часа на подгонку обмундирования и в кубрике начался кавардак, я проскользнул мимо дневального и через минуту был уже по ту сторону забора.

Если бы засечь время, то полкилометра до моря, с учетом пересеченной местности, я пробежал, наверно, с результатом всесоюзного рекорда. У меня сразу перехватило дух, как только я поднялся на бугор, с которого во всю даль, куда ни взгляни, во всю ширь, куда ни повернись, катилось море. Оно дышало мне навстречу таким ветром, что падай вперед — не упадешь, воротничок затрепетал за спиной, вот-вот вырвется и улетит, парусом надулась роба.

Ура-а-а! Передо мной было настоящее море. Мое море! Совсем не то, что на фотокарточках Бориса или за волноломом.

Сизые волны громоздились одна на другую, сталкивались, поднимая каскады брызг, вставали на дыбы у берега и с грохотом разбивались о камни. Вода ходила ходуном, словно там, на глубине, сошлись в яростной битве стада слонов. Сцеплены бивни, закручены хоботы, еще секунда — и из распада волн выглянет лопухая голова с маленькими покрасневшими глазками. Раздастся трубный клич, и все стихнет.

Но снова вырастает живой пенящийся холм, и снова кипит вода, опадая с невидимых гигантских спин.

Я сбросил робу и боязливо окунулся в волну. Ничего, ничего страшного! Только выждать, пока другая подкатит; подпрыг-

нуть и, как с горки, через гребень. Качнет, потормошит и отпустит. Вот уже по грудь, и можно плыть, как в люльке. Волна хлестнула по щеке, я набрал полный рот воды, поперхнулся и от неожиданности глотнул — горькая! Соленая морская вода, какой я еще не пробовал в жизни. И тут осмелел окончательно: давай, давай, а ну, навались, волны! Теперь я не жмурился, а смотрел им навстречу, и не только смотрел, а плыл: на горку — с горки, с горки — на горку. Только не открывать рта, а дышать носом.

Так я барахтался, не заметив, что берег отодвинулся от меня на порядочное расстояние. Пощупал ногами дно и похолодел — не достать. Назад, назад! Я что есть силы загреб руками и почувствовал, что плыву на месте. Волны, откатываясь от берега, не пускали меня обратно. «Когда тонешь, главное — не растеряться, взять себя в руки...» Кто это сказал? Я еще не тону. Вот почему мячман не пускал... И еще кто-то говорил, что в шторм море катится не только к берегу, но и от берега, может запросто унести. А на берегу — ни души, и, если начну тонуть, бесполезно кричать, все равно в этом грохоте никто не услышит.

Я опять попробовал достать ногами дно, и в тот момент, когда мне показалось, что пальцы коснулись песка, услышал крик. Не может быть! Здесь же нет никого... Мне стало жутковато.

Но крик повторился. «Эй... Эй... Пома...» — и через несколько секунд: «...гите ...гите!» Я повернулся на голос и в провале волны увидел стриженую голову и размахивающие руки. Метрах в двадцати, не дальше. Опять накатывалась волна, и опять захлебывающийся вскрик.

Я и тогда не мог понять и сейчас не представляю, как в этой сумятице волн доплыл до тонущего. Огненные круги вспыхнули перед глазами, кто-то, словно клещами, обхватил мою шею. Я крикнул, чтобы отпустил, и захлебнулся. Так, в погруженном состоянии, сам головой вниз, я волок его почти до самого берега. Думал, легкие взорвутся. А он уже по колено в воде стоял, все не отпускал. Я собрал последние силы и вырвался. И вдруг увидел, что это Сулимов, левофланговый, тот самый, который намекнул мне насчет Большого театра.

Я никогда в жизни не ругался, а тут...

— Эх, ты... — сказал я, не попадая зуб на зуб.

Он ничего не ответил. Все икал, натягивая робу. И по тому, как он озибался, можно было догадаться, каким путем добирался до моря. Перед тем как шмыгнуть в кусты, Сулимов, не поднимая глаз, сказал:

— Ты только мичману не говори, что я... это самое... ну... плавать не умею.

Выждав, когда по всем расчетам Сулимов должен был оказаться в кубрике, я заспешил обратно. За какой-то час мое отсутствие вряд ли обнаружили. Приду как ни в чем не бывало. Подтягиваясь на заборе, я осторожно заглянул во двор. Вокруг не было ни души. И, уже переваливаясь через острые штакетины, услышал воркующий басок:

— Смелее, смелее, товарищ Тимошин! Или каши мало ели?

Это был мичман, который вырос словно из-под земли. У меня отнялся язык.

Колдовство. Я не верю ни в какие телепатии. Но мичман обладал особым чутьем на все мои каверзы и оплошности. В этом за время прохождения курса молодого матроса я убедился не однажды.

За первое морское купание я расплатился первым нарядом вне очереди.

Видели бы мать и отец, видела бы Лида, видел бы Борис... Как хорошо, что они не могли этого видеть!

Я стоял перед строем, а мичман ходил взад и вперед, растолковывая смысл моего проступка. Мне особенно запомнилось новое словечко, которое он повторил несколько раз, — «самоволка».

Ребята переминались с ноги на ногу и жалостливо поглядывали в мою сторону. Переживали. И лишь у Сулимова в глазах застыло непонятное выражение. Словно бы он хотел что-то сказать, но не решался. Когда наши взгляды встретились, я ему подмигнул. Сулимов отвернулся.

— А теперь, — сказал мичман, закончив нравоучение, — марш в галюн, Тимошин. И — чтоб до блеска! Проверю лично.

Я набрал в ведро воды, взял тряпку и побрел выполнять первый в жизни наряд вне очереди.

Чистить галюн — занятие не из приятных. Я не был белоручкой, но...

Лазая на коленях с тряпкой по кафельным плиткам, я и не заметил, как в дверях появился Сулимов. Он, наверное, уже долго стоял и молчал.

— Мотай, мотай отсюда, — сказал я, стирая с лица грязные капельки пота, — видишь, галюн закрыт на учет.

— Да я не по этому делу, — ответил Сулимов. — Давай помогу.

Я отказался наотрез. А самому все-таки было приятно. «Значит, не туюфак, — подумал я, — значит, заела совесть». И когда через несколько месяцев сдавали зачет на стометровку,

я приплыл самым последним опять из-за Сулимова, потому что подстраховывал его, тащился позади. К тому времени Сулимов уже держался кое-как на воде.

Мичман кольнул:

— Языком, Тимошин, вы работаете хорошо, а плаваете хуже топора. Вот руками бы так работали и ногами.

Не знал мичман, почему я оказался на финише последним. Не знал он и того, почему в часы купания (дал все же командир «добро» на море) двое его матросов старались не удаляться от берега. Я потихоньку передавал Сулимову весь опыт, накопленный на подмосковной Десне. Научиться плавать на море было несравненно легче.

Я ходил в нарядах, как в репьях, и был глубоко убежден, что на службу прибыл для того, чтобы стать козлом отпущения у мичмана. Почему именно ко мне он так придирчив? И самое обидное — не с кем поделиться: приказы не обсуждаются. Был бы рядом дом, сходил бы к отцу посоветоваться. Так, мол, отец, и так — рассуди нас с мичманом, кто прав, кто виноват. Но ведь даже в письме об этом не напишешь. И потом неизвестно, как отнесется отец. Может, одобрит действия мичмана. Во всяком случае, за гальюн меня не похвалит, вернее, не за гальюн, а за самовольное купание в море.

Потому, наверное, я и не посылал домой писем. Брошу в почтовый ящик открытку: «Служба идет нормально», и все. Врать не хотелось, между строк отец разгадал бы криводушие.

Пооткровенничать с Борисом? Но ему решил написать уже с корабля. Получит — все поймет.

Только Лиде я еще с берега, как раз в тот вечер, когда получил внеочередной наряд, написал длинное письмо. Не про то, как мыл гальюн. И не про то, как маршировали до седьмого пота.

Как сейчас, вижу голубоватый лист бумаги из финского почтового набора, подаренного Борисом. И по этому листу, как по штильному морю, вывел печатными буквами: «Привет с ракетного крейсера!» Какое ей дело до того, что сижу я сейчас в кубрике на берегу и что десять минут назад сдал мичману вымытый до блеска гальюн? Пусть думает, что я в море, и пусть гордится. Наверняка покажет письмо своим родителям, подругам.

Недрогнувшей рукой я продолжал: «Только что отдали швартовы, и наш корабль, покинув погруженный в мирный сон порт, вышел в открытое море. Я пишу тебе урывками, потому что стою на вахте. Извини за почерк — сильная волна, нашу стальную махину вздымает двенадцатибалльный шторм.

Моя вахта — на капитанском мостике рядом с командиром. Я у него — правая рука. Он так всем и сказал: «В случае чего, меня заменит Тимошин. Несмотря на молодость, он смелый, мужественный моряк». И я стою, не сводя взора с компаса. Наш курс — в дальние суровые моря, а в какие, сама понимаешь, сказать не могу.

Несколько слов о корабле. Это настоящий красавец. Его длина — с Калининский проспект. Орудийные башни — как высотные дома. А боевые ходовые — чуть пониже. Мощь ракетных установок (тут я зачеркнул целую строку — нельзя же писать о мощи) сильна, можем достать врага в любой точке земного шара. В общем, спи спокойно и знай, что у тебя надежная защита — твой Пашка.

Вокруг без конца и края — море. Иногда мелькнет акула или кит, дельфинов мы и не считаем. Соленый бриз обдувает наши лица, но мы стоим не дрогнув на своих боевых постах.

Полчаса назад командир спустился в каюту выпить чашку кофе.

«Остаетесь за меня, Тимошин», — сказал он.

Я молча козырнул и еще зорче начал всматриваться в бушующую даль.

«Так держать! Право руля!» — то и дело командовал я рулевому. Послушный моей воле, корабль шел строго намеченным курсом.

Командир на вахту не торопился, ибо во мне был уверен, как в себе. Все было спокойно. И вдруг в грохоте гигантских волн с вершины грот-мачты, на которой стоял матрос-наблюдатель, раздался крик: «Человек за бортом!»

«Стоп, машины! Полный назад!» — командовал я.

Корабль остановился, и в волнах, в нескольких ярдах от борта, я увидел нашего мичмана. По правде сказать, у нас с ним были натянутые отношения, потому что не он, а я замещал командира. Но личные отношения — в сторону. Не раздеваясь, я прямо с мостика прыгнул в море — это примерно с высоты двенадцатизэтажного дома — и поплыл на выручку боевого товарища. Когда командир вышел из каюты, дело было сделано. Мичман уже был на борту, его переодели в сухое белье. Жив-здоров и невредим.. (Ну и здоров же я врать, или, как говорят на флоте, «травить».)

«А я иначе и не предполагал, — сказал мне командир, — вернемся в порт — представлю к награде».

Какую же награду дадут, не знаю. Я сделал все, что мог, и честно выполнил морской долг.

Сейчас мы снова идем в суровых широтах, и надо быть начеку.

На этом кончаю. Надо пройти по кубрикам, по машинному отделению, поговорить с экипажем, наметить дальнейшие пути улучшения боевой и политической подготовки.

Письмо тебе отправят с вертолетом. Пиши по прежнему адресу, на старый город и в/ч. Почта у нас одна. Твой Павел».

Я хотел написать «Обнимаю, твой Павел», но постеснялся — мало ли кому Лида покажет письмо.

Дней через десять, когда прошел почтовый срок «туда-обратно», я начал ревниво посматривать на пачку писем, приносимых почтальоном. Ответа от Лиды не было. И до сих пор нет. Может быть, не получила, а возможно, что-то прочитала между строк — догадалась. И я чувствую, как краснею, — тоже еще, сочинитель...

...«Тик-тик, тик-тик» — скоро на вахту. Не на крейсере, а на СКР, но зато на вахту настоящую. А там, в сухопутном кубрике, на бывшей моей койке, очередной салажонок ложится под одеяло в «гд». Засыпает себе безмятежно, рационализатор, и ему невдомек, что он-то новенький, а мичман прежний, один для всех. И кто-то через забор по той же тропке крадучись побежит смотреть на море. И первооткрытием будут для него волны, соленая терпкость воды. И все опять повторится сначала...

Так-то оно так. Но почему все-таки от Лиды нет писем. Что случилось? Если не понравилось то, что я натравил на счет ракетного крейсера, так это шутка. Неужели не видно? Не такой уж я пустой кнехт...

Я перегибаюсь через койку и, как циркач с трапеции, свешиваюсь к рундуку. На ощупь знаю, где лежит то, что мне надо. Вот! В сборничке рассказов Лемма — конверт. В нем другой, поменьше. И в этом синем конвертике, как в маленьком сейфе, ключ от которого имею только я, лежит драгоценность — полуистертый листок бумаги. Буквы теперь — особенно при сизом дежурном свете — трудно различить. Но я давно знаю наизусть каждое слово: «Как не стыдно! Ведь просила же открыть, когда переоденут в форму. Так и знала, что не удержишься. Целую, Лида».

«Це-лу-ю...»

Последний раз мы увиделись с Лидой не в тот вечер, когда она передала мне письмо. Нам суждено было встретиться еще, и устроил это — вот друг так друг! — Борис. В день моих проводов в армию, а точнее, утром он пошел на неоправданную, быть может, жертву — пропустил подряд две лекции в институте. Поступить вот так решительно мог только он. Борис захотел проводить меня до самой станции, до самого поезда, до самого вагона, до самого прощального свистка.

Когда, перед тем как выйти из дому, мы присели на минутку и замолчали, я взглянул на стенные часы, что метрономом уже отсчитывали мои шаги. Часы показывали восемь пятнадцать утра, до отхода электрички был еще примерно час. Но мы выходили с запасом, потому что на вокзал решили идти не по кратчайшей дороге, а по Апрелевской улице — такова традиция в нашем подмосковном городке, эта улица ведет в армию.

Да-да, это та самая Апрелевка, чье имя по всему белому свету кружится на граммофонных пластинках. «Ордена Ленина Апрелевский завод...» Это город честного песенного труда. И я горжусь, что родился и живу в Апрелевке, единственном в мире городе, где улицы носят названия всех времен года. Январская, Февральская, Мартовская... А начало начал — апрель, и по звону капли: «Апре-левка, Апре-левка...»

Давным-давно, когда вся Апрелевка состояла из одной только этой улицы, по ее ухабам скрипели подводы с рекрутами, собранными в окрестных деревнях. Все дороги сходились на улице, которая упиралась в железнодорожный шлагбаум. И вот он: «Стоит состав — сорок вагонов и паровоз на всех парах». Так поется в песне, сочиненной безвестным гармонистом в те далекие годы, что отсюда и не увидеть. Называется песня «Апрелевская длинная» — не от улицы ли, по которой в безысходной тоске плелись вереницы провожающих? И заунывно всхлипывала и голосила гармонь.

«Апрелевскую длинную» никто не записывал, ее подсчитывали на ходу. И, подобно старым домам, на месте которых вырастали новые, забывались прежние куплеты, и другие голоса подхватывали иной припев:

Не скажет маменька родная:
«Вставай, сынок, попей чайку».
А скажет воинский начальник:
«Кругом, налево, шагом марш!»

Может, только этот куплет и остался от старой песни?

В июньские дни сорок первого года над Апрелевской улицей не умолкала «Длинная» ни днем ни ночью. Сотни сапог прогромыхали по ее камням вслед за новым куплетом:

Враги напали на Отчизну,
Прощай, Апрелевка моя.
И если вас я не увижу,
То знайте, пал героем я!

Апрелевка, Апрелевка! Сколько невест не стало женами, сколько жен стало вдовами. Напрасно выходили они на дорогу в майские дни сорок пятого: «состав сорок вагонов» не привез обратно многих из тех, кто ушел в армию по Апрелевской. Но опять цвела сирень, рдели рябиновые гроздья и один за другим шли мимо старых палисадников новые гармонисты.

Удивительно: если тебя провожают всего несколько человек, выйди на Апрелевскую улицу с гармонью — и вот уже целая толпа за тобой, да такая дружная, словно эти парни и девушки только и делали, что дожидались, когда наконец пройдутся вместе до станции. А девушки, откуда они вдруг берутся, на любую только глянешь — и влюбишься.

И что еще удивительнее — рядом с новобранцем, который так себе парень, ни два ни полтора, ни лицом ни ростом не вышел, смотришь, рядом с ним такая девушка павой вышагивает, что хоть сейчас под венец. Словно не в армию, а в загс провожают. Словно не его, сорванца и забияку, у которого синяки под глазами не сходят со школьной скамьи, а ее — почет и уважение — вышла чествовать вся Апрелевка. А подвыпивший родитель этого новобранца вдруг приосанится и не устанет пожимать встречным руку.

«Что, Петрович, сына в армию снарядил?»

«Дак оно как положено, Иваныч!»

«Ну-ну... А чья это рядом с ним?»

«Невеста его, чья ж еще!»

«Смотри-ка! Солдат и жених, стало быть?»

«Дак оно как положено!»

И взиграет гармонь, и подхватят голоса не печалью, а надеждой:

Прощай, Апрелевка, мы знаем:
Солдат девчата подождут.

Теперь настал мой черед пройти по Апрелевской улице. И все, как у всех. И веселая толпа, и гармонь впереди. И бодрящийся отец, и мать, едва сдерживающая слезы. И впе-

реди до самого шлагбаума дорога, правда, не в ухабах, не в булыжниках, а в рыжем, заезженном машинами асфальте. Тысяча раз «спасибо» Борису! Он шел все-таки рядом. Красное кашне из-под плаща через плечо. В правой руке мой чемодан, в левой — новенький портфель с бронзовой застежкой. С вокзала Борису надо ехать в Москву, в институт. И его портфель значил, конечно, куда больше, чем мой чемодан. Там конспекты, учебники, а здесь — пара белья, бритва, мыло, зубная паста. Там руда науки, из которой Борис выплавит синий ромбик с золотым гербом посередине — красу и гордость дипломника, здесь — походные атрибуты, уложенные согласно предписанию военкомовской повестки.

Я с завистью поглядывал на лоснящийся портфель, но не осуждал Бориса. Он прав: каждый как может. И не поддайся я минутному малодушию, не пойди на поводу у отцовского «все успеется», сдай я, в конце концов, документы в тот же финансовый институт — я не топал бы сейчас во главе толпы под переливы «Апрелевской длинной». Сидели бы мы сейчас с Борисом в электричке, листали конспекты. А там... Какое мне было бы дело, что там! Поживем — увидим. Не все улицы Апрелевские, и не все, как сейчас вот эта, упираются в полосатый железнодорожный шлагбаум.

— Ты чего нахохлился, как побитый петух? — Это Борис. Надавил плечом, заговорщицки подмигнул: — Ты чего нос, спрашиваю, повесил? Оглянись, гвардеец! Раз, два, три! Кругом!

Я обернулся и сразу как будто прирос ботинками к асфальту. Позади меня, на расстоянии нескольких шагов, прячась за других провожатых, шла Лида. Шла не одна, с подружкой под руку. Незнакомая девчонка. Я сразу понял — для отвода глаз.

На Лиде была коричневая болонья, из-под воротника ласково выглядывал голубой газовый шарфик. И снова, как вчера ночью на фоне рябиновой ветки, мне показалось, что здесь, на дороге, я разглядел в Лидином лице что-то очень новое, чего не мог заметить раньше.

— Ну что, усюпризвел я тебе, а? — спросил Борис и тут же крикнул, пятясь, хватая Лиду за рукав: — Лида! Шире шаг! Давай сюда, к нам!

Не успел я опомниться, как Лида очутилась между мной и Борисом.

— Да возьмитесь вы, истуканы! — сказал Борис весело и отодвинулся, приотстал, оставляя нас впереди шагающими.

Как будто деревянный, я взял Лиду под руку и сквозь болонью почувствовал, какая она горячая.

Чего я тогда так стеснялся? Но мы шли впереди, впервые в жизни у всех на виду под руку, и теперь, как бы там ни было, все знали, кто ей я, кто мне она.

— Мам,— промолвил я, начиная смелеть,— познакомься, это Лида.

Мать улыбнулась глазами, как-то понимающе и ободряюще кивнула.

— Мама,— ласково сказала она и учтиво добавила: — Татьяна Сергеевна.

«А, что там! — подумал я, окончательно поборов робость, — Кого стесняться? Все равно война!» — и, взяв Лиду за талию, привлек к себе.

Подставив острый локоток, Лида отпрянула.

— Не надо,— жестко сказала она.— Убери руку. Я тебя только провожаю, и, пожалуйста, без претензий.

Все-таки наглец я. И надо же было испортить такую хорошую песню. До платформы не проронил ни слова.

На переходном мосту, перекинутом через железнодорожные пути, я приостановился. Пока что в Апрелевке это самая высокая точка обозрения. С моста город весь как на ладони. Наверное, многие, кто не был в Апрелевке даже лет пять, не узнали бы ее. Разрослась, раздалась многоэтажными домами вширь до самого леса. И правда, город не только по названию. За силуэтами башенных кранов я не сразу нашел крышу родного дома. Да и не увидел ее, а, скорее, угадал по телевизионной антенне. Вместе с отцом когда-то мастерили и поднимали — стройную, высокую. Отсюда, с моста, она и показалась мне сейчас мачтой корабля. Корабля детства, уплывающего в безвозвратный рейс от пожелтевших берез, от разлапистых лип, от яблонь, под которыми сиренево дымятся осенние костры. Дом оставался на месте, это я уплывал от пирса, от пристани, от порта с весенним названием — Апрелевка.

Пятнадцать минут до электрички с надписью: «Москва — Нара», если тебя провожают в армию, меньше чем пятнадцать секунд. Гармонист еще что есть силы тормозит мөхи, выдавливая из них зазорные звуки плясовой. Каблуки и каблучки так стучат по платформе, что она осела еще сантиметров на пять (говорят, с каждым проводом в армию платформа после «Барыни» становится ниже), и снова песня, и снова пляс! Но от станции «Победа» уже отправлен поезд. Машинист переводит ручку на «Полный вперед», и вот уже мимо поля, мимо депо, мимо завода мчится к тебе твой «состав сорок вагонов». И с последним аккордом гармони сливается торжествующий, зовущий в дорогу крик электрички.

До свидания! Мокрая, соленая щека матери, жесткая щека отца. Сестренки ткнулись в щеку. До свидания, до свидания! Нашупал среди других руку Бориса. Пока, пока! Стой! А где Лида? Была не была... Подбегаю к ней, обнимаю и целую в губы. На виду у всех. Она прячет лицо, в глазах изумление:

— С ума сошел! Ты что, как тогда?

«Как тогда? как тогда? как тогда?..» Это уже колеса электрички стучат по рельсам. И хотя мимо окон проносится лес, все, кто минуту назад остался на платформе, как в замершем кинокадре. Мама, отец, сестренки смотрят на Лиду. Смотрят так, словно она свалилась с неба. Мама с улыбкой вытирает слезы, лукаво перехватывает мой взгляд отец, озорная озадаченность на лицах сестренки. И только один человек невозмутим — Борис. Он подходит к Лиде и что-то ей говорит. Что именно? Я не мог расслышать. Хлопнули двери, отсекая меня от Апрелевки. Техника — даже не выглянуть, не помахать.

«Как тогда? как тогда? как тогда?..» Что она этим хотела сказать?

— Да, брат, любовь не картошка, — произносит кто-то рядом.

Сбоку на меня смотрит серое, в оспинках лицо. От глаз — смешинками морщинки. Я замечаю под ногами пустую корзину. Московский грибник. Наверное, едет в Рассудово на заветные места. Человек на вид солидный, а лезет в чужие дела. Небось глаз не отвел от окна, пока мы прощались на остановке.

Я отвернулся, ничего не ответив. Но сидевшая напротив женщина с двумя мешками, из которых проглядывали бидоны, не дав угаснуть первой фразе, неторопливо изрекла:

— Какая у них, у нынешних, к шутам, любовь? Напялят эти, как их там... шорты-форты, и не поймешь, где парень, где девка. Ходят в обнимку, как эти самые... прости ты меня господи!

Теперь промолчал мужчина. Видимо, из солидарности со мной. Такой собеседнице только дай повод — профсоюзное собрание откроет в вагоне.

Ехали молча. И забыть было бы пора, но не выдержал мужчина. Сказал, ни на кого не глядя:

— Так смотря что подразумевать под любовью? Мы с супругой в субботу на танцах познакомились, в воскресенье — война. И пришлось первое свидание отложить на четыре года. Дождалась, хоть и пришел к ней не с букетом, а с пустым рукавом.

Нет, не ей он это говорил, не женщине с бидонами, а мне.

Тогда я не понял, а теперь точно знаю, что мне. Бывают такие люди — встретятся на пути прохожими, так, мимо пройдут, и лица-то не запомнишь, а слово, сказанное ими на ходу, в душе останется. И запоминается оно потому, что сказано в трудную минуту.

Мужчина сошел в Рассудове. И хотя за все это время я так и не проронил ни слова, у дверей он обернулся:

— До свидания, солдат, счастливо служить!

И побрел себе, уже не оглядываясь, по тропке меж берез. «Как тогда? как тогда?..» — опять затараторили колеса.

Как тогда? Нет, совсем не так, как тогда. Я только сейчас понял, что подразумевала Лида под этими словами. Она напомнила мне день, который я и сам не могу забыть. Но как ей доказать, что тот первый поцелуй, «тогда», был совсем не то, что сейчас. Я и себе до сих пор ничего не могу объяснить.

Что такое любовь? В школе мы эту тему проходили на поучительных примерах Татьяны и Онегина, Ромео и Джульетты, Карениной и Вронского. Еще можно привести с десяток таких «пар» — и все уложится в формулу: она его любит, он ее нет, или наоборот. Удивительное однообразие! Конечно, приходится посочувствовать Татьяне Лариной, что у нее так печально получилось с Онегиным. Но и этот вертопрах — тоже хорош гусь! — нагрубил девушке, ухлопал ни за что ни про что друга и потом — нате! — приехал к Татьяне извиняться. У Ромео и Джульетты, Карениной и Вронского вообще трагедия. И все из-за любви. Так что же все-таки любовь? Хотя бы раз кто-нибудь взял да и поднял руку: «Николай Григорьевич! Вот вы, как учитель, как классный руководитель, скажите, пожалуйста, прямо, без ссылок на Пушкиных, Шекспиров и Толстых, — что такое любовь?»

Нет, мы стеснялись задавать такие вопросы. Может быть, потому и стеснялись, что знали, в какое затруднительное положение поставим учителя. Ведь даже авторитетнейший С. И. Ожегов в «Словаре русского языка» и тот смущенно уходит от прямого ответа. Любовь, объясняет он, это чувство самоотверженной, сердечной привязанности. И приводит несколько примеров: любовь к Родине, материнская любовь, горячая любовь, взаимная любовь. «Он — моя первая любовь». Вот и вся формулировка, вот и весь ответ, в котором слово «любовь» все равно остается иксом.

Между нами и учителями существовала какая-то негласная договоренность не произносить это слово вне урока, вне литературного образа. И если уж говорить на эту тему, то официально, в открытую, скажем, на диспуте. Запомнился мне

один такой диспут. Назывался он «О дружбе и любви». От урока диспут отличался тем, что выступал не учитель, а лектор, и не нужно было бояться вызова к доске и плохой отметки в журнале. К диспуту заранее подготовились наши отличницы Самойлова, Дунина и Новожилова. У них все тетради были в цитатах. А мы спокойненько сидели и слушали.

Лектор — молодцеватый парень с волнистым зачесом и в модной замшевой куртке — сразу подавил нас авторитетом: оказалось, что он кандидат философских наук. И даже всезнающий Николай Григорьевич, севший на предпоследней парте, как-то сразу слинял и сник. Может, нам это показалось.

Вообще парень, видно, был с головой. Мы с Борисом сидели за партой локоть в локоть и не сводили с него глаз. Лектор сразу взял быка за рога и как гайкой привинтил наше внимание первым же научным словечком, смысл которого до сих пор, признаться, так я и не уяснил.

— В том вердикте, — сказал лектор, философски выгибая бровь, — в том вердикте, который выносят некоторые нашему современнику, утверждая, что он сух, есть своя логика. Да, да, дорогие мои, как это ни парадоксально. — Парень растянул улыбку и бросил кокетливый взгляд в сторону наших девчонок. Мы наострили уши. — Стремительная наша действительность, — продолжал он набирать высоту тона, — не позволяет собраться «в узел», происходит распыление эмоций. Сегодняшние молодые люди влюбляются и переживают, может быть, ничуть не меньше, чем шекспировские Ромео и Джульетта. Но нынешний Ромео исполняет в жизни далеко не единственную роль влюбленного...

Я покосился на девчат: слышите, Ромео и в подметки нам не годится с его «ахами»! Но девчата завороженно смотрели на лектора.

— Да, да! — Парень повел покровительственным жестом. — Кроме всего прочего, современный молодой человек учится, и учеба требует от него огромного умственного напряжения. Успех или неудача, скажем, двойка в дневнике, — при этом лектор сочувственно поджал губы, — пробуждают в Ромео определенную гамму чувств. В результате он не в состоянии, хотя это ему и хочется, всю силу эмоций сосредоточить на предмете своей любви. Поэтому он начинает определять место Джульетты в своих планах: высчитывает, когда сможет с нею встретиться, сколько ей времени уделить...

— Чепуха, — громко шепнул Борис, — чушь какая-то!

У Бориса всегда крайности — то сидел как пришитый, то, видите ли, не нравится.

— Для современного молодого человека,— лектор посмотрел в нашу сторону и, как мне показалось, столкнулся взглядом с Борисом,— девушка — не какое-то таинственное существо, спрятанное подальше от его глаз на женской половине дома. Для него она прежде всего партнер по работе и учебе, человек, с которым он постоянно вступает в деловые отношения. Можно согласиться с тем, что мы потеряли и продолжаем терять некоторые из аксессуаров платонической любви: мечты, вздохи на расстоянии, романтику тайных встреч и так далее. Зато мы обрели нечто большее. Мы любим не форму, а содержание, и духовная близость стала условием, а не маловероятным следствием отношений мужчины и женщины.

При этих словах Николай Григорьевич подкашлянул — мы, конечно, поняли: ему не понравились «мужчины и женщины», в нашем школьном обиходе они почему-то старательно опускались.

После выступления лектора девчатам нашим пришлось трудновато. Но зря они старались — мы их почти не слушали: заранее знали, что скажут дежурные ораторы. И когда Николай Григорьевич для проформы спросил, есть ли еще желающие выступить, наступила традиционная пауза, благовоспитанно выждав которую, мы обычно срывались с мест.

— Ну, так есть желающие? — повторил вопрос Николай Григорьевич. И сделал он это, скорее, для гостя-лектора, чем для нас. Откуда им быть, желающим? Кто заранее готовился, тот уже выступил.

Я схватился за крышку парты и уже приготовился к прыжку к двери, как вдруг услышал голос Бориса:

— Разрешите мне!

Что такое он еще надумал? Я опасливо взглянул на друга.

Борис шагнул из-за парты в проход, чтоб прямее стоять, заложил руку за борт куртки, как бы подчеркивая основательность того, что он собирается сказать, и исподлобья взглянул на лектора. Я-то знал, спокойствие показное. Борису стоило немало усилий, чтобы собрать себя в кулак. Но делал он это мастерски.

— Я в корне с вами не согласен, товарищ лектор,— произнес Борис не своим, вдруг осевшим от волнения голосом.

Зал шевельнулся и затих.

— В век космоса и кибернетики,— Борис прищурился, что-то вспоминая,— как справедливо заметила однажды «Комсомолка», людям нужна душистая ветка сирени. Я имею в виду любовь.

«Молодец, Борис,— подумал я,— отбрил так отбрил».

А Борис развивал свою мысль дальше:

— По-вашему, выходит, что аксе... — Тут Борис запнулся и почти по слогам выговорил это ужасно ученое словечко: — аксессуара-ры... платонической любви утеряны. Мол, ни вздохов, ни переживаний... Я думаю, наоборот: чем больше в нашей крови логарифмов, тем поэтичнее любовь.

Я обомлел: «Во дает Борька! Откуда такие слова?»

А мой друг уже обрел свой голос и продолжал без тени робости.

— Мне кажется, — сказал Борис, — в нашей крови еще мечутся гены дуэлянтов. Оружие носить и применять запрещено, конечно. Но случись настоящая любовь... Настоящая! И каждый из нас готов вызвать на моральную дуэль любого, кто попытается оскорбить святое чувство.

Я увидел, как Николай Григорьевич привстал, но не решился перебить Бориса. А по рядам бежал шелест, как в лесу по верхушкам деревьев перед грозой. Язык у Бориса подвешен, ничего не скажешь. Слово бросит — и в классе пожар. Вот так однажды он взбудоражил нас перед уроком английского языка. И доказал, что лучший способ показать строптивой «англичанке» характер — уйти с урока. Бедные преподаватели иностранных языков — почему-то им больше всех досаждают ученики.

Борис произнес тогда страстную обличительную речь. Но на другой день, когда мы по очереди домали шапки в учительской, пытаясь загладить проступок, Бориса среди наказуемых не оказалось. Не пришел по уважительной причине. Попросили справку — представил: действительно был болен. Из чувства мальчишеской солидарности выдать «главаря» мы не посмели.

На диспуте Борис, судя по всему, опять был в ударе.

— Так что... — Борис мельком (но я-то знал, лишь один я знал, куда тоньше лазера метнулся его взгляд. Отсверком, тоже видимым только мне, ответили Борису глаза Гали Скороходовой, сидевшей позади у самого окна) взглянул назад, — так что не перевелись еще д'Артаньяны. И крепка рука на эфесе. И... — Борис помолчал, но закончил совсем прозаично: — Были ведь случаи, что люди бросали школу. Из-за любви...

— В нашей школе не было! Вы преувеличиваете, Кирьянов, — раздался в тягостной тишине голос учителя.

Но спичка была брошена. И задымился, вспыхнул спор. Говорили много, допоздна. Лектор уехал раньше, чем мы разошлись. Только Николай Григорьевич терпеливо дождался, пока мы разберем свои пальто в раздевалке. Недовольный был вид

у нашего классного руководителя. Борис выбрал момент, подошел. Не надевая шапки, сказал извинительно:

— Может, я что-нибудь не так, Николай Григорьевич... А? Так я не от себя, честное слово. Для затравки...

Вот чудак! Зачем надо было извиняться — это же диспут, а не урок. Николай Григорьевич пожал плечами.

После диспута, по дороге домой, я все осаждал Бориса.

— Про Ромео вопрос вроде бы ясен, но мы другую сторону медали не рассмотрели. Где Пенелопы, — спрашивал я у него, — Дездемоны где? А Джульетты? Где те, которых, как говорил Маяковский, надо ревновать к Копернику?

Борис опять тянул мочало — начинай сначала.

— А где Одиссеи, где Отелло, где Ромео? — парировал он. — Да, в мире происходит девальвация чувства, но виноваты в этом прежде всего мы, мужчины.

Про девальвацию — это он загнул, козырнул очередным словечком, как тот лектор.

— Мы, мужчины, — повторил Борис, — слишком омужичились, потому и женщины так индифферентны. — И тут же подкрепил этот довод: — Вот, допустим, на танцах. Ты подходишь к девчонке и приглашаешь ее танцевать. Она отказывает. Что тебя в данном случае рассердило? То, что она не пошла с тобой танцевать? Ничего подобного. То, что уже все кружатся, а ты остался стоять остолопом. Но ты не стоишь. Ты тут же приглашаешь другую. И тебе все равно, и той, которая отказала, безразлично. Просто ты не пришелся ей с первого взгляда. Или совершил ошибку, когда приглашал.

Возразить трудно. Я знаю, что Борису никто никогда на танцах не отказывал. Был у него, как однажды признался, «индивидуальный подход». В пылу откровения Борис даже поделился со мной одним из секретов. Он назвал этот секрет «эффектом неожиданности».

— Как ты подходишь к девчонке на танцах? Знаешь? — спросил он загадочно. — Нет, не знаешь. А ты взгляни на себя со стороны. Ты подходишь, как будто к манекену, уверенный, что тебе не возразят. И эта твоя самоуверенность видна насквозь. А разглядел внимательно, кого приглашаешь? Нет. Ничего, кроме внешности, ты не видишь. А ты в глаза взгляни, в самую душу, понял? Если девушка грустная, задумчивая стоит, улыбнись. Если хохотушка, наоборот, изобрази на лице печаль. Вот тебе и эффект неожиданности. Срабатывает безотказно.

Может быть, Борис и прав. А при чем тут любовь?

— А любовь, — заключил Борис, — любовь — это такое чув-

ство, что... — Он покрутил пальцем, подбирая слова, но, взглянув на меня, только вздохнул. И взгляд его и вздох были настолько красноречивы, что я понял: Борис влюбился. Я знал, в кого. И знал, кто ждет его под козырьком автобусной остановки на повороте Сентябрьской улицы. Сейчас дойдем до поворота, Борис протянет руку и скажет: «Пока!»

— Пока, — сказал Борис. — Дома давно ждут.

Но ждали-то его не дома — это точно.

Галка Скороходова училась в девятом, а мы в десятом. Классы были напротив, и в ту самую минуту, когда кончалась перемена, но еще не начинался урок, когда все сидели на местах в ожидании учителя и коридор был пуст, я выскакивал за дверь и передавал Галке записку от Бориса. Галка рисковала сама, но, прекрасно зная, что и я рискую быть застигнутым с поличным, награждала меня таким взглядом, словно я совершал героический подвиг. Ради этого взгляда я был готов на все, потому что Галка считалась первой красавицей школы.

Правда, я ничего в ней особенного не находил. Длинная — до пятого класса ее и звали-то Жердь. И талантами не отличалась — в самодеятельности не пела, не танцевала. Вот только глаза — темные с обводинками, как виноградные ягоды, что поспели не на виду, а в прохладной тени куста. Глаза и еще, пожалуй, улыбка. Улыбнется — и сразу словно солнце вслед за тучкой по дождливому дню пробежало.

Вот и все, а остальное так себе. И ничем больше Галка не выделялась. Но с тех пор как в шестом, не то в седьмом классе Ольга Валериановна сказала на школьном вечере: «Батюшки, смотрите, Галка-то наша какой красавицей стала. Прямо лебедь!» — Галка Скороходова стала звездой школы. Не было такого старшеклассника, который не считал бы за честь пройти с ней рядом даже по коридору.

Но как этого и следовало ожидать, иначе просто не могло быть, Галка выразила благосклонность только моему другу — Борису.

Я знал все. Я знал, что они назначают свидания у старой липы, что прощаются у поворота на Сентябрьскую улицу. Галка и Борис встречались почти каждый день, но никто в Апрелевке не видел их вместе.

— Сегодня читал ей стихи, — откровенничал Борис. — С ней даже когда молчишь, как будто разговариваешь. Удивительно восприимчивая натура!

Я, конечно, радовался за друга. Но, как поется в песне, рядом с белой завистью во мне рождалась зависть черная. К Борису любовь пришла, а ко мне? Что я, лыком шит? На

фотокарточках выгляжу не хуже, чем Борис. Опять же — третий разряд по боксу. И даже стихи пишу. Но не приходит эта самая любовь. Сколько ее можно ждать?

Вот Галка, действительно... Она только на секунду-другую чуть больше положенного задержит на тебе взгляд, и ты словно с обрыва — в омут, так и окатит, обожжет...

Эх, Борька, дружище, да разве нарушу я заветы нашей мужской дружбы даже в мыслях...

Ни я, ни Борис еще не знали, что записка, переданная мною накануне Галке, против нашей воли оказалась последней. Клочок бумаги из тетради по алгебре белой бабочкой уже порхал по учительской из рук в руки, из рук в руки, а мы и не подозревали!

Как эта трепетнокрылая бабочка попала в сачок?

Галка Скороходова допустила непоправимую оплошность. Она оставила записку в тетради, которую сдала учительнице.

Вот они, девчонки-растеряхи! Никакого понятия о конспирации. Просто диву даешься, когда видишь их беспечность. Разве из таких получались партизанки! Хоть бы хватилась! Нет, Галка узнала о беде, когда та в облике Ольги Валериановны выстрелила прямо в упор.

— Тебе послание?

— Мне, — сказала Галка, не дрогнув. — Тут прямо написано: «Галек, милый!»

Не знаю, что такое Борис там написал, — записка незамедлительно была передана Николаю Григорьевичу, нашему классному руководителю.

Об этом мне Борис рассказал, когда мы возвращались из школы. Друг был неузнаваем.

— Вот влип, — сокрушался Борис. — Николаша (так мы между собой называли Николая Григорьевича) пригрозил: если, говорит, ты эти свиданья не прекратишь, публично прочитаю записку на родительском собрании. Рано, говорит, любовью начал заниматься, в книги почаще заглядывай. И такое он вещает мне!..

Что было делать! Борису ничего посоветовать я не мог. Понятно, бонтса матери. Отец у него — гость в доме — работает в «почтовом ящике» — дни и ночи пропадает в командировках. А мать — кто не знает ее! — самая бойкая продавщица в гастрономе. Перед ней вся Апрельевка в очереди на цыпочках стоит. Ее за грубость сколько раз увольняли. И ничего, работает Мария Ивановна. Я, говорит, как Манька-встанька. Перед матерью Борис тише воды ниже травы. (Вот догадка: не она ли его и в институт протащила? Такая любого декана пробьет!

Наверное, она. Совсекретно. Иначе бы он и меня потащил с собой!)

— Нет, не будет Николаша обнародовать записку, это он так, для остратки.

— А если зачитает! — усмехнулся Борис и отрешенно махнул рукой: — Нет, надо завязывать. Кончать надо. Иначе вся репутация в тартарары.

Два дня Борис делал вид, будто не знает Галку. Даже не здоровался. «Соблюдает конспирацию», — догадался я. И мне Борис сказал:

— Не подходи. Мало ли что?

На третий день я был дежурным по классу. Когда после перемены все уже сидели за партами, я выглянул в коридор, нет ли учителя. Напротив дверей стояла Галка.

— Паша, — зашептала она, оглядываясь на канцелярию, — передай, пожалуйста, Борису... — и протянула записку.

И глаза у Галки были такие, что в эту минуту я взял бы записку на виду у всего педсовета.

Я схватил записку и ринулся в класс.

— Вот, — сказал я Борису, — держи, — и нащупал под партой его руку.

— От нее? — спросил Борис и посмотрел на меня, как сквозь туман. И руку тут же убрал.

На перемену я решил не выходить — что отвечу Галке, если спросит? Но после уроков мы столкнулись с ней лицом к лицу в раздевалке. Она ничего не спросила, но глаза ждали ответа, и я не смог не солгать.

— Все... Все в порядке, — сказал я.

С Борисом мы долго шли не разговаривая, но возле дома я не выдержал.

— Что же получается, Борь, — начал я осторожно, — выходит, прощай, любовь? Из-за какой-то записки?

— Да что ты понимаешь в любви? — огрызнулся Борис. — Ну, встречались. Ну и что?

«Как это ну и что? Это же Галка...»

Долго мы шли молча.

— Ладно, закончим этот разговор, — сказал Борис примирительно. — Давай-ка завтра съездим за мотылем и — на рыбалку!

В субботу после уроков, не заходя домой, мы сели в электричку и поехали в зоомагазин. Борис уткнулся в «Неделю», а я смотрел в окно.

— Как же теперь Галка? — спросил я, словно мы и не заканчивали вчерашнего разговора.

Не отрываясь от газеты, Борис раздраженно бросил:

— Что тебе далась эта Галка?

Но я-то видел, как он потемнел лицом, словно замерз в этой духоте вагона.

— Значит, нет любви? А д'Артаньяны, про которых ты так горячо распинался на диспуте?..

Борис тут же перебил:

— Брось ты ахиною разводить... Любовь... любовь... — И тут же воспользовался недозволенным приемом, ударил открытой перчаткой: — Младенец. Сам-то хоть раз поцеловал кого-нибудь?

От неожиданности я потерял дар речи.

— Целовал? Какое достижение... Что в этом особенного? Хочешь... — я огляделся и увидел напротив девушек. — Хочешь, подойду и поцелую вон ту блондинку?

Я поднялся, подошел к соседней лавочке, поцеловал блондинку и выскочил в тамбур. На следующей остановке я спрыгнул с электрички. В Москву Борис поехал один.

На какой это было остановке? Я тогда не заметил. Я вообще ничего не соображал. Перед глазами в мутном овале девчата. Сидят на лавочке, переговариваются. Три-четыре шага. Блондинка даже не успела отвернуться. И сказать ничего не успела. Я наклонился — и ослепительный локон обжег мои губы. Родинка... Я, кажется, поцеловал ее в родинку. Но мог ли я видеть эту самую родинку? Над краешком губ... И еще запах локона, словно он откустился от черемухи.

— Не ожидал от тебя такой прыти, — сказал вечером Борис. — А девчонка ничего... Хорошую она тебе затрещину вцепила. (Когда? Я даже и не заметил!) Нахалом тебя обозвала. Пришлось подсесть, провести разъяснительную работу. А зовут ее, между прочим, Лида!

...«Как тогда? как тогда? как тогда?..» — приговаривают колеса. Километровый столб, будто судья на дистанции, показал в окно электрички число километров, которые уж отделяют меня от Апрелевки. Двадцать, двадцать один... А как далеко, как безвозвратно я отъехал!

Может быть, вот в этом поезде, в этом вагоне я совершил тогда отчаянный, безрассудный поступок, — поцеловал незнакомую девушку. Поцеловал назло Борису. Мстил за Галку...

Я встретил незнакомку месяца три спустя. В автобусе, битком набитом дачниками, передал кондуктору чьи-то деньги

и услышал за спиной звенящий насмешливыми нотками голос:

— А между прочим, со знакомыми принято здороваться!

Я повернулся, еще не понимая, к кому этот голос обращен. И тут кто-то тихонько, но настойчиво толкнул меня в плечо.

— Здравствуйте, отважный товарищ! — опять засмеялся голос.

Я шевельнул плечами, коловоротом развернулся на сто восемьдесят и обомлел: она! Да, это была та самая блондинка, с такой теперь близкой родинкой у краешка губ. Опять нажали пассажиры, штурмующие автобус на очередной остановке, и снова, как тогда, локон обжег мои губы. Вокруг пламенили кленовые букеты, а мне показалось, что в автобус внесли черемуху.

— На следующей выходите? — спросила она.

— Конечно! — сказал я.

Она была в коричневом плаще, и из-под воротничка приветливо выглядывал голубой газовый шарфик. Я думал, что вот сейчас спросит про ту мою выходку. Даже не напомнила. Только поинтересовалась как бы невзначай:

— Скажите, Борис ваш приятель?

— Друг, — с гордостью ответил я. — А что?

— Да так, ничего, — улыбнулась она. — Рыцарь двадцатого века.

Я так и не понял, хорошо это или плохо, когда тебя называют рыцарем двадцатого века.

Мы прошли всю Апрелевскую улицу, и у поворота на Киевское шоссе она остановилась.

— Вот я и дома, — сказала она, — до свидания...

И тут я понял, что если мы не условимся о встрече сейчас, то не увидимся больше никогда. А мне не хотелось — почему? — мне очень не хотелось, чтобы так вот — «здравствуйте» и «до свидания».

— Вы в кино ходите? — спросил я первое, что пришло в голову, лишь бы что-то спросить, лишь бы не уходила вот так, сразу.

— Ну, а почему же нет? — опять улыбнулась она, и я почувствовал, что разгадал нехитрую уловку этих слов. — На девять тридцать, как все взрослые люди. Особенно по выходным дням.

Да! Кажется, Борис говорил: она работает на «Грамушке» — так апрелевцы называют завод грампластинок.

Я начал формулировать новый словесный заход — и куда только девались слова! — но она вполне серьезно спросила:

— Хотите пригласить? Вон домик с зелеными наличниками.

Злых собак во дворе нет. — И, кивнув, пошла по дорожке вдоль багряного палисадника.

Домой я возвращался окольным путем, чтобы дольше идти. Шел и думал: «Как все просто! Надо же — вдруг на тебя сваливается нежданная радость. Такого настроения у меня еще никогда не было. С чем бы это сравнить, когда на душе праздник? А ни с чем. Радость — она и есть радость. Праздник — он праздником и зовется.

Сколько раз мы встретились? Можно пересчитать по пальцам. Дважды были в кино. Я даже не помню названия картин. И еще просто так бродили по улицам. У меня и в мыслях не было ее поцеловать. Мы смотрели на звезды, слушали тишину, парение легких кленовых листьев. Ветер дышал осенним холодком...

Нет, ветер был ни при чем. Грусть наводил другой сквозняк. Я знал, что нам придется расстаться надолго, слишком надолго, но не ожидал, что разлука наступит так скоро.

— Вот повестка пришла, — сказал я однажды Лиде и протянул «Правду».

Она не сразу поняла.

— Где повестка?

— Читай, — показал я ей на первую страницу.

— «Приказ министра обороны СССР, — продекламировала Лида, подражая Левитану. — В связи с увольнением в запас военнослужащих, в соответствии с пунктом первым настоящего приказа призвать на действительную военную службу в Советскую Армию, Военно-Морской Флот, пограничные и внутренние войска граждан, которым ко дню призыва исполняется восемнадцать лет, не имеющих права на отсрочку от призыва, а также граждан старших призывных возрастов, у которых истекли отсрочки от призыва».

— Ну и что? — спросила она.

— Ко дню призыва мне все восемнадцать, отсрочек не имею, — отчеканил я по-военному.

— В таком случае шагом марш! — скомандовала Лида мне в тон. И, помолчав, добавила: — А куда же напишу я? Как я твой узнаю путь?

— Все равно, сказал он тихо, напиши куда-нибудь.

Мы рассмеялись.

— А как же тот рыцарь двадцатого века? У него что, отсрочка?

Я промолчал.

Повестка из наро-фоминского райвоенкомата пришла через две недели.

Меня никто не будил — это точно. Но какая-то непонятная сила словно подтолкнула койку, я вскочил, не открывая глаз, потянулся за робой и только тут услышал частые, торопливые звуки ревуна.

— Скорее в рубку! — крикнул Афанасьев и рывком взлетел по трапу. Я кинулся за ним.

— Боевая тревога! Боевая тревога! — раздалось из динамика. — Корабль к бою и походу приготовить!

Знакомый и незнакомый голос. Жесткий, требовательный, повелевающий.

Я втиснулся в рубку и не сразу узнал Афанасьева. Он сидел в наушниках и берете, будто впаянный в кресло. Только руки в непрерывном движении от кнопки к кнопке, от рычажка к рычажку. Мне показалось даже, что он как-то сразу осунулся, на скулах обозначились желваки, губы сжаты, и взгляд неотрывно нацелился в экран локатора: он уже светился, и по кругу нервно бегала зеленая стрелка луча.

Афанасьев снял наушники и кивнул мне, будто только что увиделись.

— Садись рядом, будешь помогать...

Злопамятный или нет? Наблюдая за проворными движениями его рук, на ощупь находящих нужный рычаг, я устыдился вчерашней вспышки. Нет, наверное, не за здорово живешь нацепили Афанасьеву лычки.

А из динамика раздавался все тот же отрывистый энергичный голос, отдающий приказания.

— Кто это? — спросил я Афанасьева, показав на динамик.

— Командир, конечно... — И он взглянул на меня с недоумением.

Неужели командир? В спокойных металлических фразах, что доносились из динамика, я еще многого не понимал. Да и относились они сейчас к тем, кто на верхней палубе готовился к съемке со швартовых. Но этому голосу сейчас внимало все.

Я силился представить командира на ходовом мостике таким, каким видел в каюте, и не мог. Такой всемогущий голос должен принадлежать совсем другому человеку. На его приказания незамедлительно, будто эхо, отзывался каждый отсек, каждая рубка. Мне даже представилось, что командир и корабль сейчас — одно целое. И не капитан 3-го ранга склонился над переговорной трубой, а весь корабль, вибрируя, говорит его голосом:

— Убрать носовой!

Всю торжественность минуты, когда военный корабль отходит от пирса, доводится испытать лишь тем, кто стоит на верхней палубе. Но таких немного, ведь пассажиров на боевом корабле не возят. А в иллюминаторы ничего не увидишь: они задраены по-походному. Я даже слышал легенду о том, как один машинист, пять лет прослуживший на флоте, ни разу не видел моря. Преувеличено, конечно. Но и я в эти минуты, о которых столько мечтал и которых с таким нетерпением ждал, сидел в тесной рубке и про себя чертыхался. Как царевич Гвидон в бочке — ни охнуть, ни вздохнуть.

Единственным «окошком» для нас с Афанасьевым был экран локатора.

Когда легли на курс, в рубку заглянул капитан-лейтенант.

— Значит, теперь в четыре глаза будем видеть!

— Так точно! — польщенно ответил я за двоих.

— Куда уж точнее! — засмеялся капитан-лейтенант и, поглядывая на экран, продекламировал как бы невзначай: — «Уходят в море мальчики, приходят в порт мужчины...»

— Смотрите повнимательней, — сказал он, уходя. И добавил, подумав: — Выдастся свободная минутка — покажу вам штурманскую прокладку. — И захлопнул дверь рубки.

— Мне покажет? — переспросил я Афанасьева.

В наушниках он меня не услышал. На экране локатора белесой полоской таял берег. Мы шли на линию дозора.

Что такое граница? Всякий представляет: зелено-красные полосатые столбы с гербом Советского Союза. Они неприступно стоят и в барханах пустынь, и в непролазной чащобе леса, и среди снеговых горных отрогов...

Граница морская — это волны и небо вокруг. Двенадцать миль от берега, что равняется примерно двадцати четырем сухопутным километрам, — воды наши. Дальше нейтральные. Пограничных столбов здесь нет. Но моряки их «видят» и на штормовых кручах, и на глади штиля. Морская граница — это тонкая линия на штурманской карте.

Капитан-лейтенант сдержал свое обещание, вызвал меня наверх, в ходовую рубку.

— Вот линия государственной границы, — сказал он, развернув карту. Циркуль зашагал своими игольными ножками по пунктиру, отмеривая мили. — А это мы.

На автопрокладчике курса мы выглядели светящейся точкой, которая медленно ползла по карте. Вот таким образом, наверно, видят себя на орбите космонавты. Там, в тесной

кабине, их орбита, которая обозначена тоже точкой, бегущей по маленькому глобусу.

— Ясно? — спрашивает капитан-лейтенант, отчеркивая карандашом линию.

— Ясно, — отвечаю я. «Хорошо бы, — думаю, — еще здесь, наверно, постоять».

— Ну, а коли ясно, марш на боевой пост, — мягко приказывает капитан-лейтенант.

Наш с Афанасьевым боевой пост — глаза корабля.

— Как на рентгене, — говорю я, показывая на мерцающий экран локатора.

— Похоже, — соглашается Афанасьев.

Зеленый луч кружит по экрану, обнажая невидимое. Нарушителя не укроют ни ночь, ни туман. И если нарушитель перейдет запретную черту — тот самый тонкий пунктир на карте, — тогда «Полный вперед!» — на сближение. А на мачте нашего корабля взвьется сигнал-приказ: «Застопорить ход, лечь в дрейф!»

Обо всем этом как бы походя, не отрывая от экрана взгляда, мне рассказывает Афанасьев.

— Бывает, что нарушители не останавливаются, — продолжал он. — Вроде бы не видят и не слышат. Тогда — в погоню. От нас далеко не уйдешь. На судно-нарушитель поднимается осмотровая команда. Выясняем причину столь неожиданного визита. Мирных отпускаем с миром, а чужака пограничник видит издалека.

Я смотрю на экран и думаю: «Вот бы попался пусть хоть самый паршивенький, но нарушитель».

В динамике щелкнуло, и вновь раздался знакомый голос:

— Свободным от вахты построиться на верхней палубе!

Я вопросительно взглянул на Афанасьева. «Это и тебя касается», — показал он мне глазами и опять уставился на экран.

Выйдя на палубу, я увидел, что корабль резко сбавил ход. Сейчас он шел, наверно, «самым малым». Вода, разрезаемая форштевнем, не кипела, а расходилась плавным клином. На малом ходу ощутимее была и качка — корабль переваливался по отлогим буграм зыби.

Свободные от вахты матросы, а их оказалось немного, стояли шеренгой спиной к борту. Я пристроился рядом с конопатым гармонистом.

— Не знаешь, зачем это? — спросил я его.

— Тише вы там! — оборвал нас кто-то с правого фланга. — Командир идет...

Наш малочисленный строй шевельнулся и замер, без команды приняв стойку «смирно».

Командир медленно шел по палубе и нес на вытянутых перед собой руках что-то белое. Цветы! Я не поверил своим глазам. Но это действительно были цветы, те самые астры, которые стояли в командирской каюте.

Это что еще за номер! Не иначе, у кого-нибудь день рождения. И вот вам, пожалуйста, букетик.

Но когда командир поравнялся с нашей шеренгой, я увидел, что ошибся. На небольшой деревянной подставке лежал венок. Белый, будто из пышного морозного кружева, переплетенный алой лентой.

Венок! А это зачем? По спине пробежали мурашки.

Командир передал венок матросу, стоящему правифланговым, и повернулся лицом к морю. Стало так тихо, что казалось, остановились винты. Только было слышно, как позванивает о форштевень волна. И флаг отщелкивал на ветру над головами.

Матрос подвязал под деревянную подставку фал — теперь венок был как на маленьких качелях — и вместе с командиром подошел к борту.

— Смирно! — как-то приглушенно скомандовал командир. — В память моряков «Стремительного», отдавших свои жизни за свободу и независимость нашей Родины, флаг приспустить!

Флаг дрогнул и чуть-чуть спал. Командир снял фуражку.

— Возложить венок!

Матрос стравил фал, и венок, словно на плотике, невесомо закачался на волне.

С минуту мы еще постояли в строю и вдруг, не сговариваясь, ринулись к борту. Венок плыл рядом. Но вот его чуть подкинуло, он скользнул за корму и превратился в один большой цветок астры, который лежал как бы на живом, бугристом граните моря.

Командир стоял задумчиво, не надевая фуражку. Казалось, он совсем забыл о нашем присутствии. Прижатые друг другом к леерам, мы, не двигаясь, глядели вслед уплывающему венку до тех пор, пока за гребнем волны он в последний раз мелькнул белой звездочкой.

— По местам! — кратко сказал командир.

А еще через минуту мы слышали властное и стремительное:

— Полный вперед!

Вдоль линии дозора корабль ложился на боевой галс.

Письмо второе.

«Борис, привет! Мы — в море. Я уже отстоял первую боевую вахту. Правда, дублером. Это совсем не то, что дублирующий состав футбольной команды. В любую минуту можешь оказаться в основном составе. Но вряд ли тебя заинтересует наша вахта у радиолокационной станции — день-деньской и темной ночью торчим с Афанасьевым у экрана. Тут романтики, сам понимаешь, никакой. Да обо всем и не напишешь.

Но вот, Борька, присутствовал я на ритуале, о котором, наверно, век не забуду! Это был ритуал почести погибшему кораблю.

Представь себе: идем, идем морем, и вдруг — «Малый ход!». Выстраиваемся на палубе. Для чего бы? Оказывается, на этом месте когда-то погиб корабль. И вот мы, возможно, над ним. Это все точно рассчитано на штурманской карте.

Командир выносит венок из белых астр, приспускается флаг — и венок уже на волне.

Это ли не романтика, а? Где-то на дне морском вечным сном спят матросы-герои. Может, они так и замерли на своих постах — кто у руля, кто у орудий. А над ними — густым синим небом километровая толща воды. И вот мы, которых в то грозное время даже не было на свете, идем теми же боевыми курсами.

На море не ставятobelisks, и мы спускаем венок. Матросы даже песню сочинили об этом. Она называется «Точка». Вот припев, послушай:

Ее без карт находят капитаны.
Всем морякам известна точка та.
Качается, плывет венок багряный.
Сердца людей — той точки широта,
И вечное бессмертье — долгота.

Да, Борис, были люди... Кто они? Я только узнал, что название корабля — «Стремительный». Красивое, правда? Мне он представляется «Варягом» — огромный стальной корабль, гроза фашистов. И вот, наверно, так же, как «Варяг», бился с целой эскадрой до последнего патрона, до последнего снаряда.

Мелковаты мы на этом фоне, что и говорить. Идем себе в дозоре и высматриваем нарушителей. Но кто сейчас осмелится? Нос побоятся сунуть!

Ну, вот опять команда: «Очередной смене на вахту!» Придется письмо прервать, допишу потом».

Какое сегодня число?

Достаю записную книжку и отлистываю календарик. Вот крестик на первом компоте. И тут я с удивлением замечаю, что остальные дни забыл отметить, — значит, просто-напросто перестал считать компоты.

Все эти дни и ночи мы бороздим море вдоль линии дозора. И сутки поделены не обычными понятиями — утро, полдень, вечер, а командами. «Очередной смене приготовиться на вахту!» И ты уже на ногах. «Очередной смене на вахту!» И ты на своем боевом посту. «Подвахтенным от мест отойти!» И ты снова в кубрике.

Я роюсь в рундуке, ищу конверт, чтобы написать Борису. Торопиться, впрочем, некуда. Вот на месте и первое письмо, которое не успел отправить с берега, и второе — отсюда послать невозможно, ибо пока что нет почтальонов, бегущих по волнам.

Третье письмо я мысленно пишу уже не один день. Я думаю о нем и на вахте, и на камбузе, и в кубрике — везде. Нет, не о письме думаю, стараюсь выяснить, что произошло на том месте, где мы опускали венок. Всех, кого можно было расспросить, расспросил. И наверное, всем уже надоел своими вопросами.

Письмо третье (ненаписанное).

«Так вот, Борис, о «Стремительном»... О той самой широте и долготе, что красным флажком отмечена на штурманской карте. А было это так...

Как же это было? В конце сорок первого года приморский город, где базируются наши корабли, выглядел совсем иначе, чем сейчас. Не было такого дома, которого не коснулась бомба или снаряд. И страшная стояла жара от непотухающих пожаров. Почти все жители эвакуировались, и город превратился в бастион. На окраинах уже завязывались бои, и все знали, что рано или поздно сюда ворвутся фашисты.

И вот однажды, после очередной бомбежки, у разрушенного дома моряк увидел плачущего мальчишку лет восьми-девяти.

— Тебя как зовут? — спросил моряк.

— Лешка... — всхлипнул мальчишка, размазывая слезы.

— А где же твоя мамка?

Сбивчиво мальчишка рассказал, что, когда началась бом-

бежка, мать отвела его в бомбоубежище, а сама зачем-то вернулась в дом.

«Без матери остался пацан», — понял моряк.

— Ну, вот что, Лешка, меня зовут дядя Петя. — Он протянул широкую, в пороховых крапинках ладонь и пробасил, озорно блеснув глазами: — Хватит ныть. Ведь ты моряк, Лешка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда. Пошли со мной, — сказал моряк, — в порт.

(Я это вижу совершенно отчетливо, как на экране. Нет даже ярче. В контрастных цветах беды: в черном — дым над городом, багровом — пламя и в стальном — плиты тротуара, по которому, хрустя разбитым оконным стеклом, движутся два силуэта. Один в бушлате — саженьи плечи и ленты бескозырки врзлет. Другой — в куцем пальтеце семенит рядом, взъерошенным вихром касаясь автоматного приклада.)

— Пришли, — сказал моряк. — Давай прощаться.

— Как — прощаться? — У Лешки сжалось сердце. — А разве мы не вместе?

— Нет, — ответил моряк и застегнул Лешке верхнюю пуговицу, как это делала мама, провожая на улицу погулять. — Ты поплывешь на теплоходе. Видишь, — показал моряк, — белый стоит, с красным ободком на трубе? А я поплыву вон на том сторожевике. Это наш «Стремительный». Будем вас сопровождать. Охранять, значит... Ну, чего насупился? Ведь ты моряк, Лешка, моряк не плачет...

Он проводил Лешку до самого трапа, объяснил что-то матросу, стоявшему на пирсе, и тот согласно кивнул.

— До свидания, Лешка. — Дядя Петя сжал в своей шершавой, как наждак, ладони его ручонку. — Будет время, посмотри, я тебе со «Стремительного» флажками помашу.

Матрос, с которым разговаривал дядя Петя, устроил Лешку внизу, потому что на верхней палубе находиться не разрешали: в любую минуту могли налететь «юнкеры».

Внизу было сумрачно и душно, словно в бомбоубежище. Да и пассажиры — женщины и дети, сидевшие на узлах и чемоданах, — напоминали тех, с кем Лешка и мать прятались в подвале во время бомбежек. Ребятишки хныкали, а женщины перешептывались, испуганно прислушиваясь к грохоту береговых зениток.

Лешка не почувствовал, как теплоход отчалил от пристани и взял курс в открытое море. И он, конечно, не видел, что с правого борта на небольшом расстоянии пристроился «Стремительный». В полной боевой готовности, если налетят фашистские самолеты или атакуют торпедные катера.

(Как они проходили рейд? Ума не приложу. Ведь буквально на каждом шагу подстерегала смерть. Кто-то рассказывал, что плотность заграждения в те дни на фарватере была 80 мин на километр. Считай, одна мина на 125 метров. Почти длина теплохода.)

Хоть на минутку, а Лешке удалось высунуться из люка. Смотрит — и правда, корабль дяди Пети совсем рядом. Сам чуть побольше катера, куда меньше теплохода! А резвый, только бурун за кормой!

Лешка никак не мог разглядеть, что за матрос стоит на мостике. По фигуре вроде дядя Петя, а может, не он? Но вот матрос замахал флажками. «Он! — обрадовался Лешка. — Конечно, дядя Петя мне машет!» Ведь ты моряк, Лешка! Мальчишка совсем было высунулся из люка и хотел уже выскочить на палубу. Но тут его заметил теплоходный матрос и крикнул:

— А ну, брысь вниз!

И Лешка скатился по трапу.

Сколько они плыли, Лешка не мог знать.

— Через полчаса будем дома, — сказал матрос женщинам, которые совсем уже пригорюнились. Все сразу зашевелились, как в вагоне перед станцией прибытия. И Лешка, глядя на пассажиров, повеселел. Он представил, как на берегу встретит его дядя Петя. И — почему бы и нет? — Лешка попросится на корабль «Стремительный». Возьмут! Если дядя Петя как следует попросит командира, — конечно, возьмут! Юнгой. Правда, Лешке маловато лет. Но бывают же пятнадцатилетние даже капитаны. А в девять лет запросто можно поплавать юнгой.

Лешка... юнга! Дядя Петя закажет специально для Лешки маленький черный бушлат, маленькую бескозырку с маленькими лентами в золотых якорьках. И может быть, сделают специально для Лешки маленький, но зато настоящий автомат. Тогда — берегись, фашисты!

Лешка так живо все представил, что сам себе поверил — а как же иначе! И, успокоенный, задремал.

Очнулся он от страшного грохота. Теплоход подбросило на волне, и Лешка почувствовал, что палуба накренилась. Лампочка погасла, и кто-то истошно закричал: «Тонем!» По трапу прогремели каблуки, и в свете вспыхнувшего карманного фонарика Лешка узнал теплоходного матроса.

— Спокойно, товарищи! — сказал он. — Ничего опасного, подходим к нашему берегу.

У трапа столпилась очередь. Лешка протиснулся к сту-

пенькам и пробкой выскочил наверх. Здесь был еще день, и глаза невольно зажмурились от солнца. Лешка подбежал к борту и остановился, оглядывая рейд. Дяди Петинога корабля почему-то не было видно. «Наверно, к другому причалу подошел, к военному», — решил Лешка и стал с нетерпением ждать, пока матросы прилаживали трап. Лешке показалось, что делали они это как-то не так. Лица хмурые, словно матросы и не рады, что пришли наконец-то в порт.

Через минуту на причале стало многолюдно, как на вокзале.

Лешка начал опасаться, что в такой толпе дядя Петя его не найдет. «Спрошу-ка у теплоходного матроса», — решил он и вернулся к трапу.

— Ты куда же, друг, смотался? — недовольно проворчал матрос. — Я же за тебя головой отвечаю.

— А где дядя Петя? — спросил Лешка. — «Стремительный»-то где?

Матрос пожал плечами, помолчал, почему-то вздохнул.

— В море дядя Петя, где же ему быть...

Так Лешка больше и не увидел того моряка, что назвался дядей Петей. Прямо с причала забрала мальчишку детдомовская машина. Теплоходный матрос посадил Лешку в кузов, помахал на прощание бескозыркой. И этого матроса он тоже видел в последний раз.

Машина долго ехала вдоль моря, и Лешка до боли в глазах всматривался в горизонт. Где-то там, далеко-далеко, над чешуйчатым отблеском волн, миражем вставал перед ним «Стремительный», гордо разрезающий волны. А на мостике дядя Петя с красными сигнальными флажками: «Ведь ты моряк, Лешка...»

Но еще не известно, кем бы он стал, если бы много лет спустя не произошла неожиданная встреча со «Стремительным».

Десятиклассник Лешка Гренин сидел в читалке и готовился к штурму последнего экзамена. Для разрядки полистал свежий журнал. И вдруг далекой зарницей полыхнул в памяти тот день сорок первого года. На журнальном снимке был запечатлен корабль, горделиво несущий свою единственную мачту с флагом. Ну конечно, это он, «Стремительный»! Над фотографией крупный заголовок: «Подвиг не померкнет в веках» и короткая заметка. Короткая, но оглушительная, как взрыв. Точнее, это было эхо того взрыва, который прогремел над морем в тот военный день. А еще точнее, того самого, что был услышан маленьким Лешкой на теплоходе.

Вот что произошло за несколько минут до того, как Лешка почувствовал, что палуба сильно накренилась, и в трюме погасла лампочка.

(Я это так вижу, словно сам стою на палубе теплохода вместо матроса, который запретил Лешке высовываться из люка. Даже больше, я нахожусь сразу на двух кораблях: на теплоходе и на «Стремительном», рядом с командиром и сигнальщиком Петром Семыниным, то есть дядей Петей.)

Наш берег был уже виден. Далеко, на кромке горизонта, темнели метелочки деревьев и казавшиеся игрушечными портовые краны. Четыре мили, не больше, оставалось до родного причала. И вдруг сигнальщик «Стремительного» крикнул: «Слева по борту — перископ подводной лодки!» И еще через минуту: «Слева по борту — торпеда!»

С этого мгновения время измерялось только секундами. Может быть, десять, может быть, пятнадцать секунд понадобилось, чтобы принять единственно правильное решение.

Торпеда неотвратно неслась к теплоходу. Ее видели все, кто находился на верхней палубе. О ней не подозревали сотни женщин и детей, в том числе и маленький Лешка.

Нет, время теперь отсчитывалось не секундной стрелкой часов. И не в сторону прибавления. Время устремилось к нулю, к той точке соприкосновения торпеды с бортом теплохода, когда раздастся смертельный взрыв. Сама торпеда была сейчас чудовищным секундомером. Десять, восемь, семь, шесть...

Теплоход был бессилен отвернуть, и он грузно скользил, уже обреченный, подставив торпедке беззащитный борт.

На «Стремительном» отсчитывали те же секунды. Опытный глаз командира сразу определил: торпеда пройдет метрах в двух-трех мимо форштевня «Стремительного» и ударит в теплоход. И когда оставалось уже несколько секунд до того, как торпеда пересечет курс, на «Стремительном» раздалась команда:

— Самый полный вперед!

Пять... Четыре... Три... Два... Взрыв!

Сколько ему надо, этому маленькому юркому кораблю? На него хватило бы и трети торпеды...

Сбоку теплохода вспыхнуло солнце, прогремел гром, и прах повис черным дымом над сомкнувшимися волнами, «Стремительного» больше не было.

А до нашего берега уже оставалось всего две мили, и уже шли навстречу кораблю охранения.

«...В море дядя Петя, где же ему быть?» — вспомнил

Лешка теплоходного матроса. Да, он был теперь в море навсегда.

С этим журналом, воскресившим подвиг «Стремительного», Лешка в тот же день отправился в военкомат и попросил, как только придет разнарядка, направить его в военно-морское училище.

Подожди, подожди, Борис, это еще не все. А кем же стал тот Лешка, где он сейчас? Интересно?

Так вот, тот самый Лешка — не кто иной, как наш командир, капитан 3-го ранга Алексей Иванович Гренин. Теперь тебе понятно, что за снимок висит у него над столом в каюте? Я уже не говорю об астрах и венке на волнах...

Вот такое письмо я давным-давно написал Борису мысленно, а взявшись за перо никак не могу. Нескольким раз принимался — ничего не получается, нет слов. И чем больше я о случае со «Стремительным» думаю, тем меньше желания рассказать об этом Борису.

Почему? Я и сам думаю: почему?

Как рассказать Борису о нашем «кап-три»? Поймет ли он, что, узнав о «Стремительном», я стал словно бы обладателем какой-то очень большой, очень личной тайны командира. Нет, Гренин не такой, как все, — это точно. Внешне вроде бы ничем не выделяется, а если присмотреться.. Даже на палубе он рассказывает не как другие — по-своему, по-гренински, как будто не в ботинках, а в домашних тапочках. А по трапу летит, как мальчишка по лестничной клетке, презирая ступеньки. Говорят, что на человека накладывает отпечаток комната, в которой он живет, вещи, которые его окружают. Здесь, на корабле, наоборот — все, чего коснулся командир, словно намагничивается им, становится гренинским.

Любопытно наблюдать, когда он на ходовом мостике. Только прикоснулся к поручням — и уже наверху. Стоит как впаянный, как часть надстройки, которая была спроектирована и установлена еще на верфях. Ветер семь баллов рвет полы накидки, дождь такой, словно кто-то швабрит наверху облака, а командир забыл про капюшон. И с фуражки не спустил ремешка под подбородок. И не дотронулся, чтобы придержать. Фуражка сидит как влитая. Тоже по-гренински — на сантиметр накреньясь к правой брови.

Вот он взглянул на море. Не так, как мы смотрим, нет! Мне кажется, что к морю он относится, как к существу вполне одушевленному. И если действительно есть моряки, которые с морем на «ты», так это наш Гренин. Он посмотрел на волны так, словно спросил о чем-то, словно сказал: «Ну, ладно, ладно,

хватит волноваться и ершиться, ты же, море, знаешь, что нам еще долго нести службу, а впередсмотрящие на баке промокли насквозь. Да и видимость ноль».

— К вечеру уляжется,— вслух скажет Гренин настолько уверенно, словно хорошую погоду ему пообещало само море. И правда, к вечеру, глядишь, волны обмякли и потеплели.

Как это все передать Борису? Засмеет: «Лирика! Командир есть командир. И в голове у него одна лишь служба вперемежку с пунктами устава. А ты — «с морем разговаривает!».

Действительно, что осталось в памяти маленького Лешки? Развалины? Матрос? Как смутна его фигура в клочковатом дыму бомбежки! Среди теплоходов Лешка ни за что не узнал бы того, на котором плыл вместе с беженцами. Но силуэт «Стремительного» мальчишка не мог забыть. Ведь рядом — крикни, и тебя услышат! — плыл провожатым этот юркий кораблик, и с него весело махал флажками дядя Петя.

Больше десяти лет, словно по бикфордову шнуру, пробирался огонек памяти. И вдруг взрыв! А какие пути привели Гренина к заветной точке в перекрестье широты и долготы! Как нашел командир то место на морской равнине, где волны сомкнулись над мачтой «Стремительного»?

Мы томились с Афанасьевым в рубке, когда в динамике раздался трескучий голос вахтенного:

— Матроса Тимошина к командиру!

— Это еще зачем? — спросил я Афанасьева.

— Не знаю! — пожал он плечами.

Командир сидел в той же неловкой позе, как и тогда, при нашем знакомстве. Но выглядел посвежевшим и хорошо выспавшимся. Но я-то знал, что командирский сон в походе не сладок. Меня сразу смутил извиняющийся тон.

— Садитесь, садитесь, давно собирался поговорить... Да вот все пашем и пашем — фуражка не просыхает. Как служба, Тимошин?

— Нормально, — сказал я и сострил невпопад: — Кормежка хорошая, остатков нет, сами доедаем.

Командир усмехнулся:

— Не сомневаюсь...

И замолчал. Наверно, это мое про остатки сбило его с толку. Ни к селу ни к городу получилось. Но зачем он все-таки вызвал, не харчем же, в самом деле, поинтересоваться.

— Хочу вам показать кое-какие документы. — Командир не-

решительно открыл толстую кожаную папку. — Уголок боевой славы надо бы оформить, да вот жилплощади маловато. А стенд хотя бы нужен. Афанасьев говорил, что у вас почерк хороший... Возьметесь, а?

Что за вопрос? Любое приказание готов выполнить не задумываясь, хотя, признаюсь, к стендам особого влечения не испытываю.

— А насчет чего стенд? — спросил я.

— Вот с этого можно начать, — тихо сказал командир и развернул истертый на сгибах лист бумаги. — Прочтите.

Тусклым машинописным шрифтом на листке было напечатано:

«В этот день дул сильный семибалльный ветер с норд-оста. Пришлось в темноте форсировать минное поле большой глыбины и плотности. Отряды и конвои шли в кильватер один другому за тралями базовых тральщиков — выход из протральной полосы грозил гибелью. Но и на протральной полосе плавать было далеко не безопасно. Корабли не успевали расстреливать мины, подсекаемые как их параванами, так и тралями тральщиков. Сторожевых катеров, используемых обычно для этой цели, не хватало. Один из эскадренных миноносцев за час обнаружил двадцать мин...»

Я остановился и недоуменно поднял глаза на командира.

— Читайте, читайте, — сказал он.

«Опасность подрыва на минах таилась на каждом шагу. К этой главной опасности прибавились и другие обстрел береговых батарей, атаки торпедных катеров противника...»

— Ничего не понимаю. Что это? — опять не выдержал я.

— Это обстановка того дня, когда «Стремительный» вышел в охранение теплохода, — вздохнул командир, и мы одновременно повернулись к фотографии, висевшей над столом.

«Стремительный» стоял на рейде и спокойно взирал на нас иллюминаторами.

— Как «Стремительный»? — вырвалось у меня. — Обстановка чего?

— Обстановка театра боевых действий по воспоминаниям очевидца, командира одного из кораблей. — Командир бережно сложил прочитанный мной листок и протянул другой. — А это хронологическая запись из вахтенного журнала катерного тральщика, который шел тем же фарватером, что и «Стремительный».

Я впился в истлевшие строки:

«12.40—завели моторы, дали ход, отошли от пирса. 14.45.— поставили катерный трал. 14.47—взорвался патрон, выбрали трал. 15.00—поставили трал. 15.30—затралили мину, выбрали трал. 16.00—поставили трал. 16.20—затралили мину, выбрали трал. 16.31—поставили трал. 16.40—затралили мину, выбрали трал. 17.02—поставили трал. 17.45.— затралили мину, выбрали трал. 18.10—поставили трал. 18.15—затралили мину, выбрали трал. 18.35—поставили трал. 18.45—затралили мину, выбрали трал. 19.15—поставили трал. 19.20—затралили мину, выбрали трал...»

— Представляете,— командир опять покосился на фотографию «Стремительного»,— через каждые десять — пятнадцать минут доставали мину. Через каждые десять — пятнадцать минут их поджидала смерть...

Да, передо мной были подлинные документы о подвиге, ставшем легендой. Я с нескрываемым волнением смотрел на пожухлые листки. И, как бы упреждая мой вопрос, командир пояснил:

— В штабы, в канцелярии писал запросы. Еще курсантом начал. Кое-что удалось раздобыть. Да, признаться, и помощников хватает. Все, кто служит, кто бывал на нашем корабле, стараются помочь при первой возможности. Как раз перед самым походом получил я письмо, которое ждал больше десяти лет. Прислал матрос, что плавал на теплоходе. «Стремительный» тонул у него на глазах. С Петром Семыниным матрос был знаком еще по учебному отряду. Пусть все читают это письмо, не одному мне оно адресовано. Вот, прочтите... А стенд, его так и можно назвать — «Подвиг «Стремительного».

Письмо, адресованное всем.

«Здравствуйте, товарищ Гренин!

Во-первых, сообщаю, что запрос относительно гибели «Стремительного» получил я из райвоенкомата, который сообщил и Ваш адрес.

Коротко о себе. Рождения двадцатого года. Работаю слесарем в вагоноремонтном депо. А в сорок первом году плавал сигнальщиком на известном Вам теплоходе. Как я понял, Вас интересуют подробности относительно «Стремительного». Могу рассказать только о том, что сам видел.

От пирса мы отошли почти одновременно. Старшина 2-й статьи Петр Захарович Семынин действительно привел перед самым отходом мальчонку, потерявшего родителей. Выходит значит, это были Вы. Но я, признаться, Вас в личность не

помню — много ребятшек мы тогда переправляли на наш берег. Если не сбиться со счета, так около двух сотен наберется. Почти столько же было у нас на борту женщин, раненых бойцов.

Как сейчас, помню, вышли мы в четырнадцать ноль-ноль на траверз маяка. Оружия, понятно, никакого у нас не было, и потому на мачту подняли флаг с красным крестом, как на госпитальных судах. И надо сказать, что на этот флаг мы сильно надеялись. Фашист, он хоть и зверь, но даже зверь имеет понятие, кого можно трогать, кого нельзя. Сопровождать нас было приказано «Стремительному», у которого, как Вам известно, тоже не ахти какие силы. Шел сопровождающий рядом с нами. Так что я совершенно отчетливо видел старшину Семынина, который стоял на мостике.

Сначала, пока шли по чистой воде, все было спокойно. Но ненадолго. Фашистские самолеты налетели неожиданно, вынырнули из-за солнца коршунами — и на теплоход. «Стремительный»-то мелкая цель для них. Пролетели бреющим, так что могли определить, какое судно под ними, наверное, и флаг с крестом различили. Но в следующем развороте сбросили, стервцы, бомбу. К счастью, она в теплоход не попала. Пулеметчик «Стремительного» успел поймать в прицел одного бандита и дал по нему очередь. Самолет закачался в воздухе, от его крыла полетели вниз обломки. Но гитлеровец выровнял машину. Высунул из кабины голову и пронесся еще раз над теплоходом. Потом круто поднялся вверх, чтобы зайти для повторной атаки.

«Держитесь, товарищи!» — крикнул нам Петр Семынин.

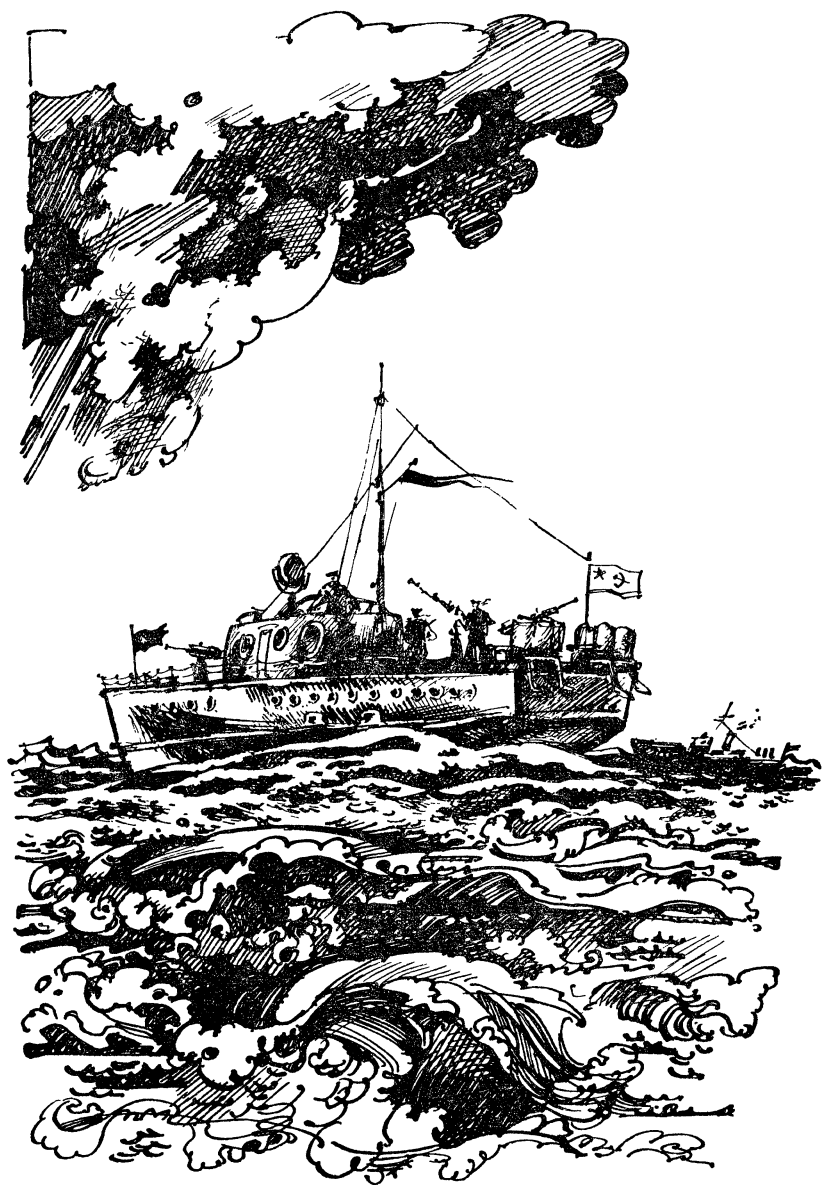
Снова пронеслись над нами самолеты врага. Со страшным свистом бомбы падали в море. Одна из них разорвалась совсем рядом с теплоходом, в борт ударили осколки, в пробоины хлынула вода.

«Готовы помочь!» — просигналили со «Стремительного». Но мы справились сами — на «Стремительном» тоже было жарко.

Я видел, как ранило пулеметчика, — качнувшись, он сделал несколько шагов по палубе и упал на леера.

Воздушная атака была отбита, но впереди нас поджидала другая беда — мины. Море буквально кишело черными рога-тыми шарами. И самое страшное было в том, что на поверхности их было меньше, чем на глубине. Прошедший впереди тральщик смог очистить лишь часть фарватера, и мы каждую минуту ожидали взрыва.





Мины были повсюду. То и дело слышалось: «Слева по борту мина!», «Мина справа!». Матросы легли на палубу и, свесившись за борт, отталкивали мины шестами. Но шесты не всегда могли выручить. И тогда раздавалась команда: «Добровольцы, за борт!» Добровольцами вызывались все. Я тоже прыгал в воду несколько раз и руками отводил мины от борта.

А тут опять вражеские самолеты. Опять нацеливаются на теплоход. И опять вся надежда на моряков «Стремительного». Я видел, как раненого пулеметчика заменил Семынин. Прогремела очередь, за ней вторая, третья. И вдруг огромный шар черного дыма появился на месте головного самолета. Попадание по бомбам! Второй самолет пошел как-то боком: один мотор у него не работал, видно, тоже досталось. Снова заговорил пулемет Семынина. Самолет, покачиваясь с крыла на крыло, терял высоту. Левое крыло стало разваливаться. И в это время пулеметная очередь ударила по фюзеляжу. Самолет рухнул в море.

Я тут же передал Семынину семафором: «Спасибо. Молодец!»

«Вас понял, будем продолжать в том же духе», — ответил он.

Следующие полчаса прошли сравнительно спокойно. А потом случилось то, что до сих пор не могу забыть. Перископ вражеской подводной лодки мы увидели почти одновременно — и с теплохода и со «Стремительного». И еще через минуту раздался голос, который и сейчас звучит в ушах. Наш сигнальщик крикнул: «След торпеды!»

В ту же секунду мы, стоявшие на верхней палубе, увидели бурун, который несся прямо на нас. Что-либо предпринять было уже невозможно. Ни отвернуть, ни сбавить ход — ничто не поможет. И в этот момент «Стремительный» словно подпрыгнул, сделал рывок и подставил торпедой свой борт. Он принял удар на себя. И удар этот был настолько сильным, что «Стремительный» раскололся, как грецкий орех, и сразу начал тонуть.

Потрясенные увиденным, мы стояли на палубе. «Стоп, машины! — скомандовал капитан теплохода. — Спустить шлюпку!» Мы спустили шлюпку в надежде кого-нибудь подобрать. Но на волнах качалась лишь бескозырка. Она наверняка принадлежала Семынину: на верхней палубе в момент взрыва находились только двое — он и командир. Бескозырку я сохранил и берегу, как святую реликвию, потому что «Стремительный» спас нам жизни.

Коротко о Семынине. По годам он мне ровесник. Детдо-

мовский. Так что родных нет. Был настоящим человеком морской души. Очень любил ребятишек.

С военно-морским приветом,
Ваш Николай Стружаков, бывший
сигнальщик».

— Вот бы попросить у него бескозырку, — сказал я.

Командир молча сложил письмо и протянул мне папку.

— Оформите стенд — вернете.

Вопреки всем правилам я положил папку не в рундук, а под подушку. А для надежности надвинул на нее угол пробкового матраса.

6.

Я вспоминаю тот день, когда мы с Борькой только-только свалили экзамены — и в лес. «Эге-ге-гей! Хо-хо-хо-хо! Здравствуй!» — это эхо невидимой белкой мечется с дерева на дерево, вторя нашим голосам.

— Давай наоремся вдоволь, — предлагаю я.

— Давай, — соглашается Борька.

И мы кричим, кричим до хрипоты: после торжественной тишины экзаменационных дней это доставляет особое удовольствие.

Наверное, ничего нет в мире красивее подмосковного июньского леса. Бредешь по тропе, словно из сказки в сказку: вот замороженным хороводом стоят белые березы; сними с них чары — и они закружатся на мураве, как девушки из знаменитого ансамбля; а из-за хоровода уже выглядывают кражистыми парнями дубы. Сколько силы затаенной — потягиваются, вывертываются ветвями-руками вверх, кто кого перемахнет; глядишь, а на поляну выбежала елка, и кругом разноцветными огоньками ромашки, колокольчики, словно какой-то великан нес огромный букет да вот и обронил самые диковинные цветы.

А с чем сравнить настоящий на разнотравье и чуть-чуть разбавленный можжевельником да хвойником лесной воздух! И уж конечно, ни один искусный орнитолог не в силах передать даже высококачественной записью голоса птиц в природе.

Подмосковный лес — сказка, которую надо читать медленно и в уединении.

Всю эту красоту я видел, но как бы краем глаза, потому

что рядом вышагивал Борис, и мы изощрялись друг перед другом, выкрикивая всякие несуразности. Но вот тропка наша круто завернула влево, и, чтобы срезать угол, мы перепрыгнули через канаву, на дне которой, подернутая ряской, зеленела вода. Траншея. Верст за сорок — пятьдесят от Москвы все леса изборозжены старыми, как шрамы, траншеями и окопами.

Выбрав кочку посуше, я прыгнул в траншею — она была мне по пояс — и пригнулся, затаюсь.

— Паш? Ты куда пропал? — обернулся Борька, прошагавший далеко вперед.

Я не откликался.

— Эй, ты где? — с заметным беспокойством еще громче спросил он.

Я выждал пару минут и что есть силы закричал:

— Ура-а-а! Полундра-а!

— Ладно тебе, хватит дурачиться, — сказал Борька, увидев меня, выглядывавшего из траншеи. — Подумаешь, окопа не видел!

— Ты поди-ка лучше сюда, — поманил я, — смотри, какой отсюда обзор.

Сколько окопу лет? Можно точно сказать, не спрашивая никого. Расчет простой: подмосковные окопы могли быть вырыты только осенью сорок первого года.

За это время гибкие, тонкие саженцы стали крепкими деревцами, и возможно, что обзор из траншеи был шире, чем сейчас. Но три десятка лет — ничто для взрослого дерева, такого, например, как дуб. Кто бывал в селе Коломенском, видел, наверно, дубы, которым уже шестьсот лет. По сравнению с ними деревья, что столпились возле траншеи, — малыши.

Значит, вот эта корявая, изможденная липа видела солдат в касках, что выжидали врага. Вернее, они на перекуре между атаками поглядывали на липу: мол, спасибо, маскируешь неплохо. И на березу, что опустила ветки над траншеей. Ну, на сколько могла она подрасти за эти годы? Все выглядело так, как тогда, почти так...

Действительно, любопытное свойство человеческой натуры: дай-ка я погляжу на мир глазами своего предшественника и побуду на том самом месте, где стоял он. Неспроста же в мемориалах или музеях чаще всего задают одни и те же вопросы: «Скажите, и в то время это выглядело так же?»

Любям история дороже в подлинниках, а не в дубликатах.

И потому они с детской наивностью ищут место, где Петр I изрек: «Здесь будет город заложен». Потомки Стеньки Разина лезут на утес, чтобы глазами вольнолюбивого предка глянуть на Волгу. Таких мест по всей нашей Родине сотни, тысячи. И хотя несоразмерны по времени и различны по значимости экспонаты — ржавая кольчуга и продырявленная солдатская каска минувшей войны, — их соединяет незримый проводок, по которому пульсирует память.

— Борь, — сказал я, — вот здесь стояли солдаты, когда на них пошли фашистские танки.

— Ну и что? — Борька с недоверчивостью посмотрел на окоп. — Не было здесь танков, немцы не дошли до Апрелевки километра два.

— Как это «не было»? Кто успел подсчитать километры? Здесь был бой, — не согласился я. — Очевидцы рассказывали.

— Какие очевидцы? Те, что в бомбоубежищах сидели? И потом, даже если так. Какой смысл солдатам стоять против танков, если пули о броню все равно как об стенку горох? Против танков нужно было танками.

«Нужно было» — любимая Борькина фраза, как я заметил, очень подходящая в тех случаях, когда речь идет о том, что уже произошло. Продули, к примеру, в волейбол — Борис тут как тут: «Нужно было блоки чаще ставить». Правильно заметил. Но мог бы и раньше подсказать. Сам-то где был?

— Нужно было... — продолжал Борька развивать свою мысль, а я уже не слушал его. Я только предположил на миг, на минуту, что...

Да, именно сегодня, именно сейчас, именно из этого ольшаника показался броневой лоб танка. Стальная громада с белым крестом выползла неуклюже, но уверенно покатила, скрежеща гусеницами, по нашему лесу. И против этого чудовища остались не кто-нибудь, а именно я, именно Борька.

Не может быть! Это сон или явь? Как же это случилось? Почему война не остановилась на границе, далеко-далеко от Москвы?

Я представляю мать, ее руки в земле — пропалывает грядки. Ей и в голову не может прийти, что километрах в двух от Апрелевки — танки. Никто не знает, что это война. По рельсам звонкий перестук электричек. На заводе грампластинок прессовщицы загоняют в черные диски музыку. В магазине покупатели переругиваются с продавцом. В детском саду ребятига играет в палочку-выручалочку.

А в апрелевском лесу — фашистские танки. Именно сегодня, именно сейчас, именно из этого ольшаника, что курчавится метрах в ста от окопа.

— Борь! — говорю я. — А что, если бы сегодня в апрелевском лесу появились фашистские танки? И ползут сейчас на эту траншею? А вокруг уже ни души. И танками пройдено полторы тысячи километров, а перед ними осталось лишь сорок два до Москвы. Что бы мы с тобой сделали, а, Борь?

— Фантазер же ты! — снисходительно улыбается Борька. — Разве теперь допустят, чтобы кто-то дошел до самой столицы? Если война и будет, все решат ракеты. Нажал на клавишу — и поминай как звали. Враз или города, или страны, если маленькая, нет. Военные на ракетных пультах, как на роялях, будут играть.

— Ну, а все же, — настаиваю я, — допустим.

— Нечего и допускать, — отрезает Борис, и я вижу, что мои вопросы начинают его раздражать. Как хорошо все-таки, что эта траншея старая.

...Почему я вспомнил о нашей, казалось бы, ничем не примечательной прогулке? Ах да, в этот самый момент я сел было за письмо, в котором хотел рассказать о подвиге «Стремительного». И опять ничего не клеилось. Думаю, получит Борька, прочтет и начнет прикидывать: «Кто увидел торпеду? Командир и сигнальщик? А остальные — нет? Значит, командир «Стремительного» принял единоличное решение, ни у кого не спросясь? Но те, другие, кто был в машинном отделении, в рубках, может, они не захотели бы погибать. Имел ли командир право давать в таком случае команду? Можно было бы по-другому...»

Но я не хочу, чтобы было по-другому. И хотя Борис — мой товарищ, можно сказать, кореш, я не хотел бы, чтобы в такую минуту он находился на мостике «Стремительного».

Бывает же такое — лучшие качества, свойства характера, которые так ценил в человеке, вдруг оборачиваются другой стороной. В Борисе мне больше всего нравилось его умение быть самим собой. Он мог прямо сказать учителю: «Я не выучил урока, ставьте двойку». Или задавал иногда такие вопросы, которые могли поставить в тупик преподавателя истории. В школе, подражая героям любимых книг, все мы чуть-чуть актеры. У меня, как заметил однажды Борис, не было «резко выраженной индивидуальности». Зато в нем не только мною — всеми одноклассниками отмечались черты,

роднящие его с теми или иными представителями классической литературы. Как только из уст учителя было услышано новое словечко «нигилист», я сразу подумал о Борисе. Ну конечно, это он, унаследовавший через несколько поколений гены свободомыслящего интеллигента. Базаров равняется Кирьянову. Та же насмешливость взгляда, то же отрицательное отношение к традициям и обычаям. Все на поверку согласно любимой Борисом поговорке: «Русский глазам не верит, надо пощупать».

Я восхищался такой постановкой вопроса. Видимо, в Борисе мне нравилось то, чего не доставало в собственном характере.

Но странно — почему сейчас я с такой настороженностью оглядываюсь назад, как бы оценивая каждый шаг, пройденный с другом по школьной тропе?

В памяти — словно где-то сработали невидимые реле счетно-решающего устройства — вдруг вспыхивают давным-давно забытые эпизоды. Голова, конечно, не ЭВМ, но словно кто заложил туда перфокарту с новым заданием, и мечутся, мечутся токи, а решить его не могут.

С тех пор как я увидел венок, уплывающий по волнам, память усиленно копошится в прошлом, пытаюсь что-то найти. Я даже во сне вижу белые астры в лагунах и... Бориса. Никакой связи. Астры, Борис, подмосковный лес. Венок на плотике, командир, Борис... Та драка. Неужели он убежал? Покинул друга? Что-то еще где-то было. А что и где?

Вспомнил! Белый Раст — подмосковная деревня.

Если, минуя памятник матросу Железняку, проехать по Дмитровскому шоссе около сорока километров и свернуть влево по указателю «Белый Раст», то можно попасть к морякам. Да, да! В этой деревне — моряки!

Я узнал ее сразу, хотя никогда здесь не был. И Борис согласился: «Белый Раст — как на картинке». Белый Раст! Нарядная, будто с интуристской открытки, церквушка на взгорке и сбегające вниз к ложине избы с драночными крышами. Глаза моментально сличили ее с иллюстрацией из книжки про морскую пехоту, которую мы с Борисом проглотили в два приема: он на уроке химии, а я — на английском. Та же церквушка, те же дома, только на картинке по сугробистой улочке карабкались танки, подпаленно чернел снег, кустились огненные разрывы от снарядов. С автоматами наперевес в атаку шли моряки. Очень впечатляюще: на снежном фоне — черные шинели, бушлаты и ленты бескозырок врзлет. «А ну-ка, дай жизни, Калуга, ходи веселей, Кострома!»

Под картинкой подпись: «Моряки 64-й отдельной морской стрелковой бригады выбивают гитлеровцев из с. Белый Раст». Мы с Борисом тогда еще не знали, что Белый Раст находится не где-то за тридевять земель, а рядом. Оказывается, туда, где, быть может, родилась наша любимая песня, можно было доехать на обычном автобусе.

Так вот ты какой, Белый Раст! Нам повезло. Кто-то проводил экскурсию, и мы сразу очутились в толпе. Человека в генеральской форме окружали женщины, ребятишки. Мужчин было мало. На генерале ордена — вся грудь как в разноцветной колчуге. А в глазах боль.

— Вот так,— промолвил он, наверное заканчивая свой рассказ,— какими полками, дивизиями ни командовал, а перед моряками склоняю седую голову. Храбрости такой, братства такого и мужества никогда более не видел.

Рядом понуро стояла запыленная «Волга». Генерал, что-то вспомнив, через открытое стекло просунулся в машину и достал сверток.

— Вот,— сказал он,— до сих пор берегу, как память святую. Моряки подарили.

Он развернул сверток, и все увидели полосатую тельняшку.

— Здорово,— сказал я Борису, не отрывая от тельняшки глаз.

Борис молчал, наверное тоже взволнованный увиденным. Подальше нашей толпы, как бы образуя другой круг, толпились избы.

— Чуть рассвело — рота моряков-автоматчиков ворвалась в самый центр села. В черных бушлатах шли ребята во весь рост. Немцы по ним, как по мишеням... А моряки — вперед, и падали тоже вперед...

— Не могли одеть их в маскхалаты?

Это Борис спросил. Я так и знал, что без вопроса он не обойдется.

— Одевали, сынок,— сказал генерал.— И в пехотные шинели одевали, и в полушубки, и в маскхалаты. Да как бы тебе это объяснить... У них, у моряков, душевный настрой особый. Переодели мы в приказном порядке взвод. Ладно, подчинились моряки. А пошли в атаку: «Полундра!» И маскхалаты долой. Остались все, как один, в черных бушлатах. Шапки тоже на снег полетели. Из-за пазух бескозырки. И врукопашную.

Генерал долго смотрел на избы, словно что-то искал глазами, и вдруг спросил, обращаясь к толпе:

— А где же дом? Тот, что у ветлы был?

— Сгорел... — ответила пожилая женщина. — Пушка в щепки разнесла. — Она прищурилась, собирая у глаз морщинки, будто заглянула в даль пережитого. — Коль рассказывать, так и дня не хватит, а вспоминать на всю жизнь досталось.

Но вот по лицу ее будто скользнул луч солнца.

— Как бой начался — мы в подпол. Отсидели там самый грохот, вылезая я, и ноги подкосились. Не от страха, какой там... Смотрю, морфлотец стоит наш, такой красавец собой. Пуговицы в золоте, улыбается. «Не бойся, — говорит, — до свадьбы все пройдет!» И подмигнул. Тут опять стрелять начали. Мы снова спрятались. Когда уж совсем стихло, вышла я крадучись на улицу. А там немцев побитых!.. Тут я во второй раз увидела того морфлотца...

И словно тучка тенью по лицу.

— Убитый лежал морфлотец с флагом в руке. Половину белый, половину голубой флаг-то. Пароходный их, видать. — Женщина смахнула слезу и, заморгав, посмотрела на Бориса, который стоял напротив. — Такой, как ты, был морфлотец, статный из себя. Ну, может, на годок по-старше.

Как позавидовал я Борису! Не только потому, что эта пожилая женщина нашла сходство с моряком. На Бориса как-то очень внимательно посмотрел генерал.

Потом мы зашли в школу. В этом кирпичном доме немцы свили пулеметное гнездо. И вели такой сильный огонь, что не поднять головы. И тогда один матрос вызвался уничтожить огневую точку. Сколько он прополз под свинцовым веером? Швырнул одну гранату, другую. Но обе — недолет, взорвались под окном. А пулемет опять хлещет по нашим бойцам. Медлить нельзя, и граната последняя. И тут все увидели, как матрос сбросил каску и надел бескозырку. Встал во весь рост и — гранатой в окно. Взрыва он уже не слышал, упал, обнимая землю.

Мы с Борисом постояли у того окна. Счастливы ребята этой школы! В маленькой комнатухе разместили музей боевой славы. Честное слово, там до сих пор пахло порохом.

Самые дорогие экспонаты — белый флаг с голубой каймой и фляга, наполненная водой из Тихого океана. Нам разрешили подержать эту флягу в руках.

— Действительно тихоокеанская? — переспросил Борис. И по лицу было видно, что он не очень-то уверен в заправ-

дашности этого экспоната. — Небось и не соленая из-под кра-
на налили...

И еще в музее — везет же людям — нам показали военно-морскую форму. Белая форменка с синим воротничком, тельняшка и черные брюки клеш с настоящим, отливающим медной бляхой ремнем. В День Победы лучший из лучших учеников удостоивается чести ее надеть и встать в почетном карауле у памятника погибшим морякам.

Мы долго стояли молча — генерал, я, Борис и еще много-много народу. В центре Белого Раста, на самом взгорке, у гранитной плиты, на которой лежал якорь, настоящий судовой якорь — его привезли сюда моряки-тихоокеанцы.

Тяжелый якорь на плите. И цветы, полевые цветы — ромашки, колокольчики... На граните, как будто на застывшем клочке моря. На взгорке дул сильный ветер. И верилось, честное слово, что за лесом, за полем, только поднимись повыше, увидишь океан.

— А вы знаете, — произнесла пожилая женщина, та самая, что рассказывала нам о герое-морфлотце, — сюда прилетают чайки...

— Чайки? Не может быть! Откуда?

— Да вот они и заявили! — радостно воскликнула женщина.

Мы замерли. Из-за темно-зеленых макушек елей взметнулись четыре белых крыла. Они скользнули над полем, приблизились к нам и прошелестели над головами. Правда, две морские чайки.

— С самого Тихого океана прилетают, верно вам говорю, — сказала женщина.

— Ну вы даете, — снисходительно усмехнулся Борис. — С канала! Канал же рядом.

И все опять посмотрели на него. Нехорошо посмотрели. А генерал даже отвернулся.

Почему так настойчиво все это снова и снова лезет в голову?

7.

Меня назначили бачковым. Есть на кораблях такая нештатная, исполняемая по совместительству должность. Называется она так от слова «бачок» — это что-то в виде кастрюли для борща, каши, компота. Судя по термину, придумана эта должность лет двести назад, в эпоху парусного флота, когда бачком величали, возможно, даже тарелку. И вот в наш атомно-

кибернетический век течением времени прибило эту должность в старом наименовании.

Обязанности у бачкового незамысловатые — накрыть стол для матросов (не путать с вестовым, который хозяйничает в кают-компании!) к завтраку, обеду, ужину. Принести с камбуза первое, второе и третье — в этих самых бачках, — разлить и разложить все по тарелкам, так, чтобы было не только поровну, но идентично по вкусу и калорийности — особенно когда вылавливаешь чумичкой (половником) мясо. Тут, конечно, не без симпатий, и служебное положение каждый использует по-своему. Афанасьеву я выделил-таки самый лучший, на мой взгляд, кусок. Все, конечно, обратили на подхалимаж внимание, но виду никто не подал. «Сегодня ты, а завтра я!» — обязанности бачкового матросы выполняют по очереди. Делить борщ или компот — дело нехитрое, а, скорее, даже приятное. В «бачковстве» есть другая, очень трудная процедура — это доставка борщей и супов из камбуза к столу. Особенно во время шторма. Ты сам-то по трапу еще сваливаешься мешок мешком, а кок, словно дьявол, улыбается во всю свою лоснящуюся физиономию и сует тебе в руки горячий, до краев наполненный борщом бачок. Дифференциал в полградуса — и ты уже ошпарен, как грешник в преисподней. Но главная казнь впереди — тебе надо, не держась за ручки трапа, подняться по скользким ступеням, балансируя обжигающим бачком! А ступеньки вверх-вниз, вниз-вверх.

Посмотрела бы в эти минуты мама родная на своего сынка-любимца, который полгода назад капризно ковырял вилкой в домашних котлетах.

Но и эти почти цирковые трюки с бачком — еще не самое тяжелое в обязанностях бачкового. После завтрака, обеда и ужина он должен вымыть посуду. До блеска! Чтоб ни единого жирового пятнышка.

Мне посуду мыть не привыкать, дома приходилось. В один бачок налил воды, пошуровал тарелками, ложками, вилками. Теперь ополоснуть и вытереть. Схватил бачок — и на камбуз. А кок воды не дает. Оказывается, «мытьевой лимит» я уже израсходовал.

— Это, — говорит кок, — тебе не в квартире, один кран «хол», другой «гор». В море каждая кружка пресной воды на учете.

— А как же, — возмутился я, — домыть посуду? Не компотом же твоим ее ополаскивать?

— При чем здесь компот? — насторожился кок.

Я ничего больше не сказал, зря обидел человека, до последней изюминки вылизали ребята кружки.

Да... Вот тебе и «гор», «хол». А кругом, между прочим, море, и воды — хоть утопись. Но морской водой палубу разве смыть, да и то не промоешь. Вытер я тарелки, сложил в шкаф для посуды и только присел на минуту, входит Афанасьев.

— Теперь,— говорит,— ты еще на шаг от салажонка удался. Бачковый — это первый матросский чин.

Остряк! А все же приятно. Что-то вроде похвалы высказал.

— Рады стараться, ваше благородие! — шуткой на шутку ответил я Афанасьеву. И прикусил язык, потому что в эту минуту старшина открыл шкаф и загремел посудой.

Афанасьев повернулся недовольный. Достал носовой платок, вытер брезгливо руку.

— Вы что же, Тимошин, сачкануть решили? — спросил он, сразу перейдя на «вы».

Я объяснил, что не хватило воды.

— Перемыть все начисто,— приказал Афанасьев.— И воды достаньте где хотите. Через двадцать минут проверю.

Не знаю почему, но тут я вспомнил о куске мяса, который в обед положил Афанасьеву на тарелку, и мне стало не по себе.

«Достаньте где хотите!» А где? Как бы я выкрутился из этой неприятной ситуации, не знаю, но в дверь заглянул конопатый матрос. Тот самый гармонист. Его зовут Валерием. Старослужащий, последние галсы на флоте. Подслушивал, что ли, наш с Афанасьевым разговор?

— Давай,— сказал он,— бачок. Притараню воды. У меня с коком блат.

И правда — вернулся с полным бачком кипятка. Загрузил туда тарелки и так он ловко начал с ними управляться — ни дать ни взять жонглер на арене.

— Тебе что посуду мыть, что на гармошке играть,— польстил я неожиданному помощнику.

В кубрике мы разговаривали уже как старые знакомые.

— Вернемся,— вздохнул мечтательно гармонист,— пойдем в увольнение. Танцевать-то умеешь?

— Так себе,— ответил я.— Как тот танцор, которому всегда что-нибудь мешает.

— Научишься... Заведешь девчонку и сразу научишься.

— Как это «заведешь»? — Мне не понравилось это его словечко. И сразу вспомнились Лида и Борис на перроне.

— Ну, не так выразился,— улыбнулся матрос,— я хотел сказать «познакомишься», может, даже и влюбишься.

— Есть у меня,— сказал я.— Осталась...

— Что дома осталось, то другу досталось.— Матрос будто пропел эти слова, а меня они кольнули.— Все это чепуха,— убедительно и как-то отрешенно добавил он, и лицо его так погрузтело, что сразу стало меньше веснушек.— Была у меня любовь... С седьмого класса дразнили нас «тили-тили тесто, жених и невеста». На флот провожала — клялась: «Буду ждать, как Пенелопа, плыви, мой Одиссей...» А письма какие писала — поэмы! А потом перестала писать. И концы в воду, как будто адрес забыла. Спасибо соседу — ввел меня в курс дела. Сообщил: «Любовь твоя уже тачку возит, друг любезный! Вышла замуж». Так что,— Валерий насмешливо взглянул мне в глаза,— это только по радио: «Вы служите, мы вас подождем...»

Странный парень. Сначала помог — обрадовал, а потом — невидимую мою рану разбередил.

— Да ты не смотри простоквашей,— хлопнул меня по плечу Валерий.— Подумаешь, ну и не дождется твоя Пенелопа. На танцах — все девчонки наши, вот увидишь... А вообще тебе не повезло. И крепко не повезло... Вот я, когда выходил в первый раз, сразу нарвался на нарушителя.

Валерий на корабле человек уважаемый. Он считается заправским акустиком. «Из гармонистов всегда получаются талантливые акустики»,— сказал как-то командир. И эту его фразу Валерий носит с тех пор, как медаль.

— Да, полнейшая, кореш, невезуха. Вот мы в прошлый раз...

Слова «в прошлый раз» я слышал и от Афанасьева, который вступительной этой фразой поведал о случае годичной давности, и от штурманского электрика, рассказавшего историю не первой свежести. Но вот что сразу бросалось в глаза: никто из рассказчиков не выпячивал себя. В любом случае в центре эпизода оказывался Алексей Иванович.

— Так вот,— говорит Валерий,— в прошлый раз, перед твоим приходом на корабль, Афанасьев обнаружил на экране цель, и мы пошли на сближение. Сначала увидели на горизонте дым, а потом уже корабль — им оказался иностранный сейнер. Попал сразу в две неприятности. Первая: якобы случайно зашел в наши воды, а другая — пожар. Смотрим: из дверей и иллюминаторов бьет пламя. Рыбаки столпились на корме, по-своему что-то кричат. И без переводчика ясно: «Караул!» Перетаскили мы их к себе на борт. Командир построил нас

на палубе и спрашивает: «Кто пойдет на сейнер — шаг вперед!» Шагнули, разумеется, все. Но капитан-лейтенант взял с собой только двоих. Запустили выносной пожарный насос. Те наши трое то и дело выскакивали из отсеков, бушлаты друг на друге гасят — задымились уже. Видим, троим не управиться. Тогда командир разрешил другим добровольцам. Спасли судно... После собрал нас командир в кубрике. «Вот,— говорит,— система: вы спасли сейнер, жизнями рисковали, а капитан недоволен, страховку теперь не получит. И вообще не поймешь, кто у них за начальника». Командир сразу обратил внимание, что капитан перед одним из своих матросов в струнку вытягивается. Может, переодетый шеф разведки. Зоркий у нас командир.

— Тимошин, к командиру! — пробасил вдруг динамик.

Через минуту я был в знакомой каюте. Командир выглядел озабоченным.

— Вот что, Тимошин,— сказал он,— у нас тут прихворнул сигнальщик, подмените его на наблюдательной вахте.

Оказывается, кок затемпературил. Тот, который еще и сигнальщик. Недомогал в базе, но скрыл, не хотел оставаться на берегу.

«Очередной смене приготовиться на вахту!» Это и для нас с Валерием. Только он будет «смотреть» сквозь воду, слушать свой горизонт. А мне на мостик. «Подыши там и на мою долю»,— попросил Афанасьев.

И вот я наверху. И признаться, не в восторге. Что такое наблюдатель правого борта? Древнеморской способ: сиди с биноклем и пяль глаза на воду. То ли дело экран локатора. Современность. Ни туман, ни темень не скроют нарушителя. Или вахта акустика: сидишь в наушниках в рубке, «видишь горизонт на много миль вокруг». Невидимые импульсы прошивают насквозь морскую толщу и, как посыльные, возвращаются на корабль. «Горизонт чист»,— словно докладывают они, если ничего не встретили на своем пути. Но если наткнулись на корабль или подводную лодку, так «запоют», что опытному акустику ясно, кто и каким курсом торопится к нам в гости. В общем, сплошная наука и техника. А тут — бинокль, жалкий потомок подзорной трубы Колумба. Бинокль старый, в царапинах. Черная краска, когда-то лаково блестящая на его корпусе, пооблезла, захватанная многими руками. Наверное, нарочно утиль дали: чего доброго, уронит, мол, салажонок в море. Но, приложив окуляры

к глазам, я увидел, что ошибся. Сначала туманно, а потом стояло лишь чуть крутнуть на резкость, и волны, казавшиеся, брызнули в стекла. Далекий для простого глаза горизонт теперь качнулся рядом, море как бы растеклось шире.

Мой сектор обзора оказался не так уж мал, как я представлял себе сначала. Угол в девяносто градусов — от форштевня до меня и перпендикуляром к правому борту — выглядел космически гигантским по сравнению с тем, что приводят в учебниках геометрии. Каждая сторона этого прямого угла определялась дальностью видимости моих глаз и окуляров бинокля, то есть в пять-шесть миль. На этом расстоянии мимо моего зора не имел право проскользнуть незамеченным ни один предмет: от корабля до бревна.

Пусть Афанасьев сидит и смотрит на экран локатора, с наслаждением думал я, то и дело прикладывая к глазам бинокль. Ведь если разобраться, он мне и полвахты не дал самостоятельно подежурить — торчал рядом и подстраховывал. А здесь не чей-нибудь, а мой горизонт, за который я в ответе перед командиром и всем кораблем.

Море было не больше двух баллов. Это я уже научился определять: на легком ветру как бы нехотя полоскался флаг и силился вытянуться вымпел. Зеленоватые волны бежали ровной чередой, не обгоняя и не опрокидывая друг друга. Дальше, к горизонту, они сливались в сплошную синеву, на которой изредка вспыхивали белопенные барашки.

Интересно, как выглядело море, когда со «Стремительного» заметили торпеду? Конечно, ее выдал след в воде, который бежал к борту такой маленькой смертоносной стрелой.

А эти барашки на волнах паслись мирно. Правда, бывает, напарываются корабли на мины, еще с той войны оставшиеся в море. Сорвалась когда-то в шторм такая тротиловая дура с минрепа и блуждает по морям, по волнам. Встреча с ней приятного не сулит. Хорошо, если впередсмотрящий вовремя заметит. Сколько их расстреляли из пулеметов и пушек, этих рогатых шаров смерти! Читал я и в книгах, и в кино видел. И тут мне пришла мысль, что, в общем-то, было бы даже здорово, если бы и мне попался сейчас на глаза обросший водорослями шар. «Справа по борту мина!» — крикнул бы я что есть мочи. Все выскочили бы на палубу, а она, косматая, уже возле борта. И расстреливать ее поздно. И тут командир сказал бы: «Матрос Тимошин, в воду! Отвести мину на безопасное расстояние!» Нет, командир не успел бы этого сказать.

Я прыгнул бы сам и оттолкнул рогатое чудовище в сторону.

Если бы да кабы... Нет мин, их выловили другие моряки, те, что служили до нас. И здесь теперь тишь да гладь да божья благодать.

Я приставил бинокль и медленно повел взором по воображаемой дорожке — от волны к волне, от барашка к барашку, пядь за пядью просматривая свой сектор. И вдруг мне показалось, да, сначала только показалось, как в распаде волн мелькнул какой-то непонятный предмет. То ли вежа, то ли торчком плывущее бревно. Плавник? Но, судя по бороздке, пенящейся следом, незнакомый предмет не просто плыл по волнам, а двигался самостоятельно.

«Справа десять перископ!» — хотел крикнуть я, но тут же одернул себя. Вот оконфузишься, засмеют. Ты что, скажут, не мог разглядеть бревно? Обернувшись, я увидел командира, который навел бинокль в том же направлении. И через секунду раздался его жесткий, властный голос:

— Справа пятнадцать! Перископ подводной лодки! Боевая тревога!

«Зевнул, — с ужасом подумал я. — Сейчас снимет с вахты — и позор!» Афанасьев рассказывал, что командир не прощает ни малейшей оплошности.

— Матрос Тимошин! — услышал я. — Усилить наблюдение.

Я приставил к глазам бинокль и от волнения долго не мог настроить резкость. Перед глазами туманно мельтешили волны.

А по трапу уже загревели каблуки. Посты докладывали о готовности:

— Первый боевой пост к бою готов!

— Второй боевой пост к бою готов!

Но почему боевая тревога? Почему «к бою»? Ведь подводная лодка, наверно, наша, советская.

И в этот момент слышались ровные, будто метрономом отчеканенные, фразы:

— На постах! Говорит командир. Вдоль границы наших территориальных вод следует подводная лодка НАТО. Боевая готовность...

Боевая готовность! Значит, в любую секунду можно услышать команду «Пли!». Значит, в любое мгновение сам ожидай удара. Я заметил, как командир сжал руками поручни.

Сейчас каждый маховичок, каждый рычаг управления на

корабле был крепко стиснут десятками матросских рук. Десятки глаз впились в приборы, ожидая командирского слова.

Я представил, как напряглись сейчас и Афанасьев и Валерий, который должен держать подводную лодку в «контакте».

Чья все-таки лодка? По перископу не узнаешь. Вот так же когда-то смотрели на перископ командир и сигнальщик «Стремительного».

Под грозным взором перископа я вдруг ощутил себя шестикратно увеличенным и потому беспомощным и беззащитным. «Самое неприятное,— вспомнились чьи-то слова,— увидеть рядом перископ. Ты видишь только эту чертову трубку, а она всего тебя от пяток до макушки. И может, в эту самую минуту тебе в бок уже выпущена торпеда».

— Дистанция? Пеленг? — поминутно запрашивал командир штурмана.

Подводная лодка шла вдоль пограничной линии, не меняя курса. Но стоило ей пересечь эту невидимую запретную черту...

«А вообще-то...— думал я, и от этой мысли у меня шевельнулись волосы под бескозыркой.— Вообще-то ей раз плюнуть, чтобы потопить наш сторожевик. Выпустит торпеду, и напрасно старушка ждет сына домой, ни за понюх табаку пойдешь ко дну. Вот «Стремительный» — другое дело. Тот хоть заслонил теплоход.

Да, ты можешь погибнуть,— заговорил, как бы вступая в спор, другой внутренний голос.— Не ты первый, не ты последний. Но с антенны твоего корабля уже слетели в эфир сигналы опасности. И по всему флоту, охраняющему эти воды, объявлена боевая готовность. Десятки наблюдательных станций ни на одну секунду не сводят сейчас глаз с подводной лодки, что акулой метнулась к нашей границе. Но первое «Пли!» произнесешь все же ты, дозорный моря».

— Пеленг, дистанция...— повторял штурман, не выпуская перископ из пеленгатора.

Наш корабль и подводная лодка шли строго параллельными курсами. И если бы не борозды от форштевня и не бурун за перископом, можно было подумать, что мы стоим на месте.

— Цель отклоняется,— произнес штурман.

Теперь уже и я увидел, как перископ повернул вправо в сторону нейтральных вод. И вдруг скрылся.

— Держать контакт с целью! — Это командир уже только

гидроакустикам. Теперь лишь они способны следить за лодкой.

Много звуков у моря, но шорох крадущейся лодки они различат сразу. И еще долго будут слушать удаляющиеся «шаги» чужой субмарины.

Командир вытер взмокший лоб и сказал как-то очень буднично:

— Восвояси пошла, нахалка.

Когда я передавал вахту другому матросу, он взял бинокль и удивленно поднял брови:

— Ишь горячий какой! Ты его, случайно, не за пазухой держал?

В кубрике возле боевого листка — и кто только успел выпустить! — уже торчало несколько матросов. Я подошел и сразу увидел свою фамилию. «Поздравляем с отличным несением вахты матросов Тимошина и Рязайкина». Рязайкин — это гидроакустик Валерий, с которым мы одновременно начали сегодня вахту. «А за что меня-то? — удивился я. — Ведь по всем правилам мне полагался фитиль».

— А ты молодой, да ранний! — хлопнул меня по плечу незнакомый матрос с лоснящимся от пота лицом. По мазутным подтекам под глазами и на щеках я догадался, что это машинист из БЧ-5. Откуда ему-то знать про мою вахту наверху?

Наверное, я покраснел, потому что почувствовал себя так, словно стою на трибуне и меня разглядывают сотни глаз. Такое чувство неловкости я испытал однажды, когда сгоряча решился выступить на комсомольском собрании. Пока сидел в предпоследнем ряду, накипели вроде бы складные слова, а вышел — и язык проглотил.

В таком состоянии — как будто со всеми вместе, как все, и в то же время поминутно на виду у всех — я пребываю с тех пор, как ступил по трапу на корабль. А сейчас ощутил это особенно.

Незнакомый матрос нацедил из бачка кружку воды и, выпив залпом, поставил ее снова. Он стоял ко мне боком, и я видел, как ходуном ходил на шее кадык, когда матрос пил. Что-то знакомое почудилось мне в повороте головы, в надорванном разрезе тельняшки, в темных, закрученных на концах колечками лентах бескозырки, ниспадающих на широкую спину. Вспомнил! Картинка из книжки про морскую пехоту. Впервые за все время с тех пор, как надел морскую тельняшку и подпоясался широким черным ремнем с золотистой бляхой, я вдруг увидел себя матросом. Человеком, состоящим с морской бра-
тией в кровном родстве.

И далекими и мелкими, как в перевернутый бинокль, показались мне споры с Борькой у старой траншеи. Интересно, что он делает сейчас? Вообще, чем он занимался в ту минуту, в тот час,

когда матрос из БЧ-5 задышался в африканской жаре машинного отделения, оглохший от неистового перестука двигателей;

когда впередсмотрящий, продрогший и промокший до костей, прирос к палубе и до рези в глазах вглядывался в перекаты волн;

когда Афанасьев в каморке радиорубки до боли тер виски, чтобы не задремать на вахте, которая была бессменной почти сутки;

когда весь наш корабль после бессонной ночи снова выходил на линию дозора.

Интересно, что делал Борька в ту минуту, когда матросы слышали сигнал боевой тревоги? А ведь они и Борька — ровесники, считай, близнецы у матери-Родины. Одновременно крикнули «уа-уа», переступили порожек детсада, школы. А потом вот перед самой казармой Борис взял и отвернул в сторону, чтобы срезать угол в жизни, в биографии. А почему же на головы его ровесников должно упасть больше снега и дождя? И почему на их долю придется больше тревожных, бессонных ночей?

Эти свои соображения я выложил перед Афанасьевым, только в другом, сокращенном виде.

— Как ты думаешь? — спросил я его. — Что выгадывают ребята, которые увильнули от службы?

— Проблемы нет, — добродушно сказал Афанасьев, — таких у нас раз-два и обчелся.

— Ну, а те, из этих «раз-два»?

Афанасьев задумался и ответил вопросом:

— Что такое локсодромия, знаешь?

По основам навигации, азы которой мы освоили еще на берегу, я знал, что локсодромия — это линия на земной поверхности, пересекающая все меридианы под одним и тем же углом.

— При чем тут локсодромия? — спросил я.

— А при том, — пояснил Афанасьев, — что на карте, составленной в специальной проекции, эта самая локсодромия изображается прямой линией. А Земля-то круглая... Смекаешь? Вот тем самым, которых «раз-два», кажется, что в жизни, чтобы достичь цели, они дуют по прямой, а на самом деле истинное расстояние куда больше. На самом деле — по кривой получается...

Наш корабль возвращался в базу. Здесь, в своих водах, море как-то подомашнело. Мы с Валерием стояли на верхней палубе и смотрели на горизонт. Нет, поговорка не права, не море красиво с берега, берег красив с моря. Особенно если долгое время лишь волны да ветер вокруг.

Море... Море... Море... «Всюду, куда только достанет взгляд, — живая, пенящаяся равнина». Так пишут в книгах. Нет, море не широкое, оно — круглое. С палубы отчетливо видишь, как поката наша Земля. Был бы не острым киль, так и покатались бы, заскользили в сторону, словно на санях по разбегенной дороге. Сколько отсюда до Москвы, если добираться до нее водным путем на нашем эскаэре? В шлюзы вошли бы запросто. И по Москве-реке до Парка культуры. Или отшвартовались бы у Каменного моста. Оттуда до старого здания МГУ рукой подать. Здравия желаю, товарищ декан! Так, мол, и так — прибыл доложить, что за время нашего дозора никаких особых происшествий не случилось, можете спокойно учить будущих журналистов. А мы постоим на вахте. И за некоторых других постоим — под ветром, под дождем, не сахарные, не размокнем.

Декан, конечно, меня не вспомнит. Мало ли неудачников было выставлено за старинные ворота. Подумаешь, моряк — золотые якоря. Вот так, может быть, через пяток лет, глядишь, и космонавт объявится — из тех, кто схватил «пару», будучи абитуриентом факультета журналистики. «А я ведь как в воду смотрел, — ядовито улыбнется декан, — ваше призвание — космонавтика. Скажите спасибо, что вовремя остановил вас от неверного шага».

Да что и говорить — мало ли нас, стоявших тогда перед списком отчисленных, как перед приговором, пройдет когда-нибудь мимо заветных ворот, улыбаясь наивности детских лет. Я не знаю, вернусь ли я к пенатам с чувством десятиклассника, хватающего за хвост уже изрядно общипанную жар-птицу, — не знаю, но сейчас на корабле мне хочется одного — набело написать сочинение, из-за которого не попал в МГУ. Так после школьных каникул старательно укладываешь портфель, истосковавшись по учебникам и тетрадям. С каким тщанием выводишь первую строчку на чистой, незапятнанной странице! И на душе — солнечный первосентябрьский день, еще не омраченный плохой отметкой в дневнике или придиркой учителя.

Очутиться бы сейчас в строгой тишине университетской

аудитории, сесть за стол налегке, без шпаргалок, и написать просто так, на вольную тему. И назвать сочинение, допустим, «Мое море». Да, именно «мое!».

А начал бы я так.

Привет вам, всем любящим море! Вам, томящимся в душной очереди у окошка железнодорожной или авиакассы. Вам, терпеливо сидящим в купейных или плацкартных вагонах, вам, бесстрашно взирающим из самолетных иллюминаторов на белоснежные расстеленных внизу облаков. Пункт назначения — море. Через сутки, через час оно встретит синим увлажненным взглядом, дохнет ласковым бризом, обнимет живительной свежестью. И в минуту долгожданного свидания (один раз в году!) человек наконец-то ощутит себя человеком.

В шортах, джинсах, в чем мать родила — марш, марш к пляжу! Грузчики и кандидаты наук, доярки и балерины, уборщицы и директора — вы все здесь, как перед богом, равны перед морем. Топчаны, шезлонги, зонтики, спасательные пояса и надувные матрасы разбросаны по берегу так, словно потерпел крушение гигантский «Титаник» или того больше — «Ноев ковчег». И всех таких одинаковых, различных только по цвету плавок и оттенкам загара выбросило на берег штормовой волной.

Привет вам, «дикари», цивилизованные потомки Робинзона, за рубль-два обеспечившие себе койкокрышу, и пышнотелые, медлительные обладатели курортных люксов!

Едва рассветный луч, как спичкой, чиркнет по шершавому горизонту, вы уже стоите шумным биваком на прохладной, отсыревшей за ночь и потому кажущейся драгоценными камнями гальке... А если пляж песчаный, то его так и называют «Золотые пески»...

Постой-постой... Это чье же море? Я его уже где-то видел. Ах да, это море Бориса, его «огромная, наполненная искристым шампанским чаша залива, оправленная в малахитовые берега». Бездумное лежанье на песке, прекрасная казнь солнца, дымок шашлыков, горьковатый квасок молодого вина...

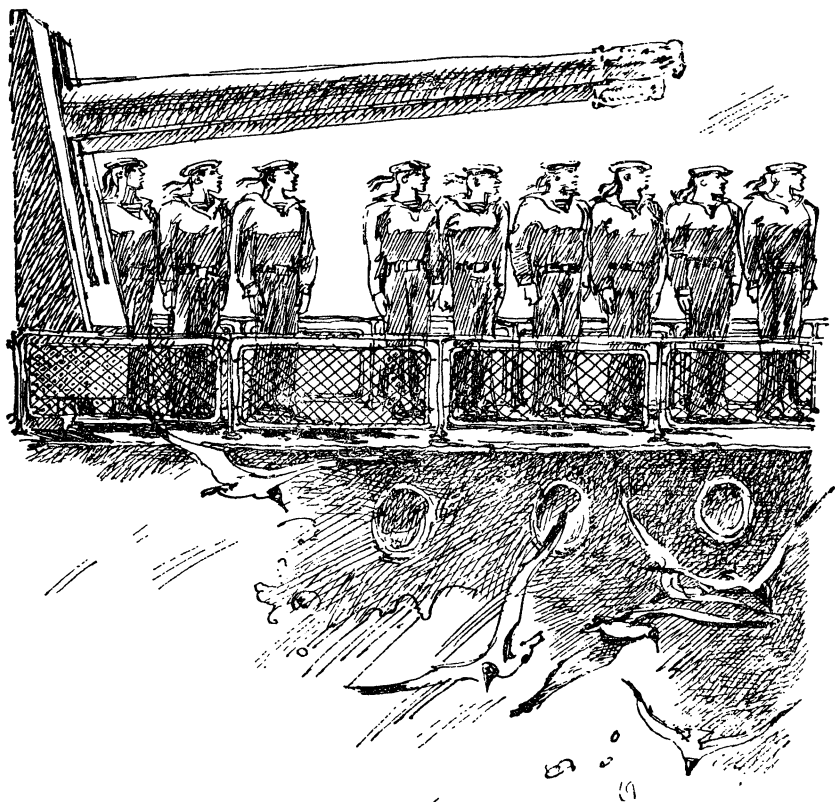
Было бы здорово и туристской коммуной студентов, глядя на дальний парус, спеть под гитару о том, что сбудется или не сбудется...

Но права поговорка, ей-ей, как права: красиво море с берега, а корабль на картинке.

Дымка романтики... Вот ее сдунуло, и совсем иной ракурс, другой поворот.

С чего бы геперь начать сочинение?

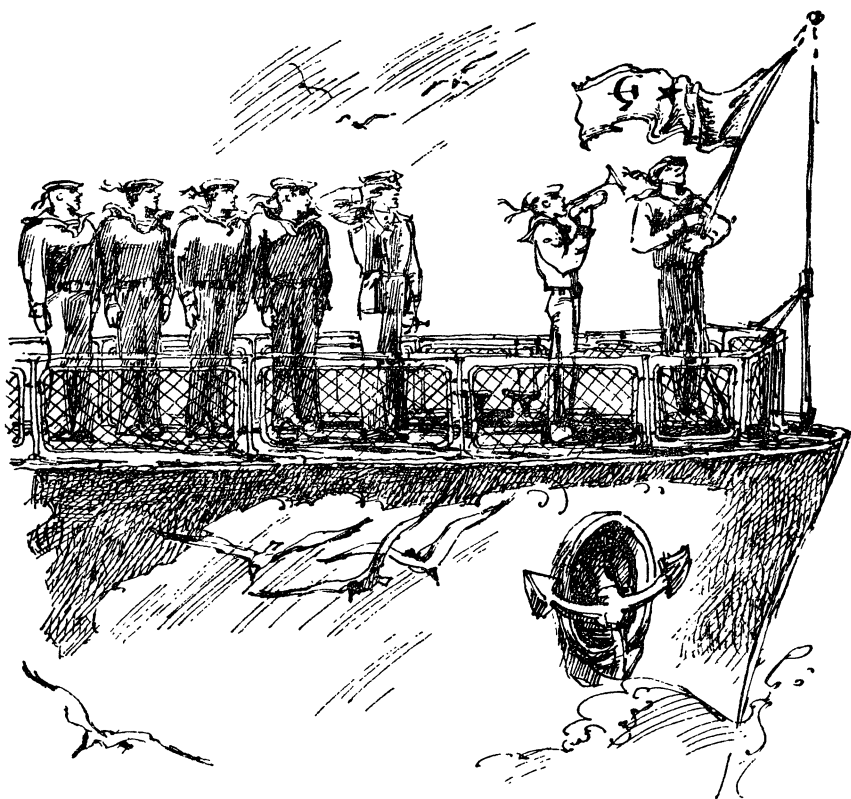
С уютной тесноты матросского кубрика, в котором мы,



словно Гвидоны, засыпаем после вахты мальчишками, а просыпаемся морскими, в тельняшках витязями? Наверное, излишне красиво сказано. Надо просто в синем дежурном свете взглянуть на Афанасьева, спящего на своей койке так крепко, что не чувствует, как свесившаяся рука маятником покачивается в такт убаюкивающих нас волн. Или втиснуться в рубку акустика, попросить на минутку вторые наушники и услышать невидимое, то самое, что настороженностью отражается на его лице и скатывается по щеке капелькой пота, которую некогда даже смахнуть...

Братва, братишки... Нет, не зря этим словом общаются, я бы даже сказал, обнимаются именно моряки.

А это что на экране локатора, припорошенное как бы снеж-



ком? Берег? Тот самый, теперь уже призрачный, как на школьной контурной карте, берег Бориса?

Раскаленное солнце шипя погружается в волны. Схлынул людской говорливый поток. Над недавним пристанищем «дикарей» кружат, промышляя на ужин, чайки. На пляже дворники по штату не положены. И чайки будут навещать сюда до тех пор, пока шторм не вымоет берег до каждого камушка, до каждой песчинки.

А пока берег такой, каким его оставили любители моря. И море, большое море, — смотрите, каким оно стало маленьким. Под неоновым светом луны море сейчас похоже на медузу, выброшенную на песок.

Да, таким море выглядит с берега в отпускную, безмятеж-

ную ночь. Может быть, и не таким — не спору, ведь у каждого море свое. Но когда курортный городок сомкнет усталые веки — спите сладко, отпускники! — с темной скалистой гряды ночь рассекут пограничные прожекторы. Голубые мечи ударят по воде, по буям, погруженным в дрему. Помните, эти красные шары ограждали дневную ярмарку — там, за ними, другое море, другая глубина. Там — мое море. Я хочу вам о нем рассказать.

Это море начинается не с золотого пляжа, не с кружевной бахромы прибоя. Это море начинается с флага. И не голосом вахтенного офицера — голосом пробудившихся волн по утрам звучит над всеми четырьмя флотами:

— На флаг, смирно!

Смирно, Краснознаменный Тихоокеанский! Смирно, Краснознаменный Северный! Смирно, дважды Краснознаменный Балтийский! Смирно, Краснознаменный Черноморский! Четыре флота — четыре части света... И как снежные взрывы, взметнулись чайки — над таежными сопками Приморья, над льдистыми скалами Заполярья, над сосновыми дюнами Балтики, над солнечным взгорьем Севастополя.

— Флаг поднять!

Белый, как облако, с синей каймой, словно только что коснулся моря, с красной звездой, серпом и молотом — медленно солнцу вослед поднимается на гафеле военно-морской флаг.

С добрым утром, море!

Вздохнет пробужденно, взвоется гребнем волна и прильнет к родному стальному борту. А наверху, на палубе вдоль лееров, как по нитке, бушлат к бушлату, плечо к плечу, даже черные ленты, переплелись в один крепчайший узел, лицом к флагу стоят мои друзья.

С добрым утром, флот!

Струится, отщелкивает на ветру бело-синий флаг. Над широкой, как бронированная площадь, палубой крейсера, над узкой и скользкой, как спина гигантской акулы, палубой подлодки. Сизые капельки росы на броне, и в каждой — по маленькому солнцу.

Так начинается утро на рейде. Но вот дробот матросских каблуков прокатился по трапам, словно тысячная колонна, как по асфальту, пробежала куда-то вдаль по морю, металлический голос в динамике произнес что-то спокойное, но приказное. Грозно шевельнулись орудийные башни, задрались хищные клювы ракет... Боевая тревога!

И хмурится море, свинцевеют волны, вытянулся, каждой ниткой напрягся флаг.

Впрочем, теперь море — не волны, нет, и не бурун за кормой. Теперь море — это корабли. А корабли — это не стальные махины, нет. Это мы, матросы, обычные ребята. Такие, как Афанасьев, с борцовскими плечами, такие, как Валерий, с тонкими руками гармониста. А корабль — что он без нас? Это нашими руками приведены в действие двигатели, это нашими глазами из края в край обшаривается горизонт, это нашими ушами прослушивается каждый шорох. Мы — душа корабля. А стальные переборки и орудийные стволы — это все равно что колючуга и меч.

Значит, море — это корабли, а корабли — это мы. Так что такое море? Море — это мы, моряки.

Посмотрите на стальные силуэты кораблей, идущих в кильватер. Вот с флагмана замигал огонек. Ему ответил прерывистым светом корабль, идущий позади. А вот словно птица забила, захлопала красными крыльями — и такие же птицы заматались у мачт других кораблей. Морзянка, флажной семафор? Нет, это разговаривает море.

Матрос надел наушники и услышал свистящие щелчки — словно камушком по первому ледку на пруду. «Дзень-с-ще-ще-ще-ще...» Это тоже язык моря. В переводе на наш — «рядом движется подводная лодка». Для матроса это язык родной.

Старые гидроакустики рассказывают, что иногда им доводится слышать голоса погибших кораблей. Море сберегло их и записало, как на магнитную ленту. Века, словно волны, прокатились над этими кораблями, плещут времена нынешние и накатываются грядущие, а голоса звучат и будут звучать сквозь толщу лет. Голоса матросов с галер Петра I, с бригав Нахимова, с миноносцев Цусимы — слабые далекие голоса. И ближе, отчетливее могучее «Прощайте, товарищи, с богом! Ура!» с объятых пламенем «Варяга», «Да здравствует Родина!» — с расколотого взрывом «Стремительного»...

Сколько легенд записало море! И сколько героических былей таит в себе глубина!

А сверху — волны и волны, и не видно, что там, внизу, если б не карта, большая штурманская карта, которая для моряка делает прозрачным все моря, все океаны. Вот на траверзе маяка — якорек. Здесь погиб корабль. В кубрике, возможно, гуляют рыбы. А скорее всего, как серым сугробом, занесло илом надстройки по самые мачты. Вечным сном уснули матросы, им больше не будет пробудки. Но, не истлев, висит на гафеле клочок флага, который ни на дюйм не был спущен перед врагом. Безмолвие темных глубин...

Вот еще якорек на карте: «широта...», «долгота...». Сколько здесь якорьков? Если бы можно было разом поднять, оживить корабли! Какая великая эскадра героев подняла бы флаги и выпела! На всех четырех флотах, на всех четырех морях!

— На флаг, смирно!

В эскадре кораблей-героев я сразу опознал бы корабль, который стал мне родным. «Стремительный», отважный катерок... Я вижу, как капитан 3-го ранга Гренин подходит к матросу и отдает ему честь: «Здравствуй, дядя Петя!» Узнал бы матрос в морском офицере того мальчишку?

Наверняка. Даже в нашем эскаэре он угадал бы черты «Стремительного».

Но... Снова волны, как страницы, закрывают одна другую. И «Стремительный» — синим якорьком на штурманской карте. И по старым фарватерам идут новые корабли. Только в наушниках: «дзеньс-ще-ще-ще... цвирь-цвирь». То ли камушек по первому ледку, то ли птицы в черемуховых кустах по-над речкой...

А на самом деле говорят корабли. Стройный крейсер, распенив форштевнем усы, щеголеватому, задиристо поднявшему нос эсминцу. Эсминец — сутуловатому работяге-тральщику. Тральщик — бойкому эскаэру. «Цвирь-цвирь» — «Не дремать, глядеть в оба».

И вдруг ни на что не похожие звуки ударяют в наушники. Таинственно шуршащие шаги. Подлодка! Не простая — атомная. Скользнула дирижаблем, пробубнила: «Счастливо оставаться, иду в автономку».

Я ни разу не видел атомной подводной лодки. Но знаю — она где-то рядом, может быть вон там, где взбугрился на секунду-две ершистым гребнем тяжелый вал. Все корабли — над водой и под водой — как бы связаны невидимыми швартовыми, все как бы просвечены невидимыми лучами, которые сквозь толщу моря, сквозь броню позволяют видеть каждый отсек, каждого моряка. Но это «зрение» дано только моряку.

«Ще-ще-ще... Цвирь-цвирь...» Чуть повернуть рычажком — и эхом по воде голоса: «По фашистскому крейсеру — огонь!», «Справа тридцать — торпеда», «Прощайте, товарищи!», «Да здравствует!...».

Этим голосам отвечают живые: «Ще-ще-ще... Цвирь-цвирь...» — «Идем боевым дозором». И, взбурнув винтами гладь, проходят крейсеры, эсминцы, подлодки. Остро отточенный карандаш штурмана прочерчивает линию курса — вдоль синих якорей, над синими якорями.

Иные времена, иные корабли... Но так же величав на гафеле

флаг. Он спускается вместе с солнцем, и окутанные сумерками тяжелые корабли превращаются в легкие, призрачные силуэты. Чуткая дремота. Корабли как матросы — одни бодрствуют, другие чуть смежили глаза. Но круглые сутки — в оба, но ночью и днем «Товсь!».

Это море не спит. Военное море. Даже в полночный штиль слышны на песке шаги прибоя. Осторожные шаги пограничника. А когда в черноте моря сольется с небом, по воде, по пляжным буям ударят голубые мечи...

Вот такое примерно я написал бы сочинение на вольную тему о море, о моем море, которое я открыл для себя в своем самом первом боевом походе.

И еще я рассказал бы о том, как моряк ждет берега. Даже Валерий уж на что мореман — и то не скрывает нетерпения: бинокль как прилип к глазам.

Мы уже продрогли — сейчас бы в кубрик и чайку погорячей. Но какой же моряк откажет себе в удовольствии первым увидеть берег. Не от предков ли это в нашей крови — страстное желание оповестить корабль: «Земля! Вижу землю!»

До земли, видно, было еще порядочно.

— Сколько писем написал? — словно невзначай спросил Валерий.

— Два, а что?

— Понятно. Домой и девчонке. Не так?

— Так... — признался я.

И ничуть не слукавил, потому что письма Борису могли теперь прочитать разве что дельфины. Жаль, конечно, очень жаль, вот так ни за что ни про что терять друга юности. Юности ли? А может, детства? Да и друг ли? Странно, Борис теперь все время как бы удалялся от меня, превращаясь в мираж, в голубую, серую пыль. А вот этих, стоящих в грубых, прошкваленных робах, мне хотелось всех крепко обнять...

— Два письма — это мало, — усмехнулся Валерий. — После такого похода почтальон идет на почту с мешком писем и с двумя возвращается на корабль.

Он что-то начал опять ворчать о девчонках, но я не слышал его, потому что мысленно, как стихи, повторял полученное перед самым походом письмецо Лиды. Ничего в нем особенного, всего полстранички. Но это слово, это слово, которое мне одному вышептывает ветер в сигнальных фалах, это слово...

И вдруг с мостика крикнули:

— Слева по борту венок!

Корабль словно запнулся и пошел самым малым.

— Приспустить флаг! — прозвучала команда.

Да, это был венок. На маленьком деревянном плотике.

И тут кто-то тихо сказал:

— А венок-то не наш... Наш был из астр, а этот из гвоздик.

Командир снял фуражку, а мы — бескозырки.





**РОТА
ПОЧЕТНОГО
КАРАУЛА**

Из ворот Кутафьей башни Кремля они вышли без четверти восемь — первая смена почетного караула у могилы Неизвестного солдата. Впереди шел Андрей, ему в затылок — Сарычев, слева — разводящий сержант Матюшин. Они повернули направо, в предупредительно кем-то уже открытую железную калитку, и, стараясь ровнее держать карабины, начали спускаться по гранитным ступеням вниз смягченным, как по ковру, шагом.

В Александровском саду всю хлопотала весна. Словно торопясь к празднику, она примеряла лучшие свои наряды и, красуясь, радовалась сейчас прозрачному и звонкому утру, уже розовато согретому по вершинам деревьев, но еще сумеречно прохладному внизу, на влажных дорожках.

Вековые липы и вязы расправляли корявые сучья, лгнули к замшелой стене, являя чудо внешнего воскрешения, — на иссохших было ветвях опять зеленели побеги; деревья помоложе трепетали сыроватой, только что проклюнувшейся листвой, в которой вызванивали птичьи голоса; розовато-белым нетающим снежком то тут, то там успела посыпать вишня; а на газонах и клумбах давали свой бал цветы.

Ровными рядами пунцово пламенели похожие на маленькие факелы тюльпаны; как бы зажженными от них синими огоньками переливались под набегавшим ветерком какие-то другие, незнакомые цветы; с ними соперничали желтые, похожие на морские звезды; и словно щедрой рукой разбросанные, жемчужно блестели в траве маргаритки.

Остро пахло свежескошенной травой — пряным запахом лесной поляны. Березы и впрямь толпились невдалеке, совсем по-деревенски, робея перейти гранитную дорожку, что отделяла их от пышного праздника деревьев и цветов.

Даже столичные жители — сине-голубые ели — жались к древней стене, стесняясь выйти из шеренги в это всеобщее веселье; лишь пошевеливали острыми, как шишаки буденовок, верхушками, разомлев под солнцем, которое сияло уже так высоко и горячо, что, казалось, вот-вот начнет падать золотая капель с ослепительных, жарко пылающих куполов соборов.

Но Андрей ничего этого не видел.

Выдерживая шаг по Матюшину, словно был к нему привязан, он, как только ступили на пронзившую сад гранитную дорожку, все старался проникнуть взглядом в ее конец, туда, где уже угадывался над мраморным горизонтом порывистый всплеск пламени.

И чем пристальнее всматривался он в мельтешащий вдалеке огонек, чем ближе подходил к нему, тем тревожнее и тягостнее делалось на душе — порой ему казалось, будто, кого-то маня, трепещущая ладонь с быстрыми, гибкими пальцами возникала и пряталась за гранитным возвышением.

Огонь приближался.

Стиснув онемевшими пальцами приклад карабина, Андрей с секунды на секунду ожидал команду. Он знал, что и Матюшин эти секунды уже отсчитывает, и позабывал его поразительному чутью ко времени: сержант только мельком взглянул на часы, когда выходили из караульного помещения, но сейчас в нем завелась и пошла ходить по кругу секундная стрелка, которая высчитывает время до каждого мгновения, до каждого шага и поворота, ибо вся сложная, непостижимая для штатского человека премудрость подобного исчисления сводилась к тому, чтобы встать у Вечного огня ровно в восемь. «Тик в тик», — как говорил лейтенант Гориков.

Эта секунда отсчета, как ее ни ожидал, ни ловил Андрей, упала неожиданно, коротким выдохом команды:

— Пошел!..

Матюшин почти прошептал это слово; за восемь высчитанных сержантом метров до могилы Андрей сделал полный шаг,

Сарычев свой шаг «подсек» — укоротил, и Матюшин очутился между ними.

— Смена, стой!

Секунды опять замедлились — справа полыхнул над нишей Вечный огонь. По обеим его сторонам они и должны были сейчас встать.

Чок! — властно высек приклад, и Андрей мгновенно, по выработанной привычке, ощутил, как то же самое, что и он, проделал одновременно с ним Сарычев, и это ощущение близнецовской слитности с товарищем, шагнувшим на ступеньку, расковало и придало уверенности: в ногу, сначала шелестящим, как бы осторожным шагом, они поднялись на возвышение и, уже в полную силу чеканя по мрамору, пошли на свои места, к разделявшему их пилону, на зеркальной плоскости которого лежала, будто только что снятая, солдатская каска. Рубиновыми огоньками брызнула в глаза росинка, дрогнувшая на каске у самой звезды.

Еще карабинное «чок!» — сигнал к повороту кругом. Андрей повернулся лицом к площади и замер. Далеко-далеко — не верилось, что в каких-то десяти шагах, — стоял теперь одинокий Матюшин, такой картинно-красивый, вытуженный, до каждой пуговицы начищенный, в фуражке с перечеркивающим лоб красным околышем, с затейливо перевитыми по правой стороне мундира серебряными шнурами аксельбантов, что можно было подумать, будто здесь его поставили специально, для наглядности.

Но Матюшин задержался не для красоты. Андрей перехватил придирчивый взгляд, прицельно переведенный с него на Сарычева и обратно, и подобрался, подтянулся — перед уходом сержант хотел убедиться, хорошо ли стоят часовые.

Наверное, все было хорошо, точно по уставу, потому что, постояв еще с минуту, Матюшин ушел тем же строевым шагом, каким привел их сюда, как будто команды теперь подавал не он сам себе, а другой, невидимо шагающий рядом с ним сержант. Он уходил, поблескивая штыком карабина, все уменьшаясь и уменьшаясь к концу дорожки, и издалека четкий шаг Матюшина можно было принять за стук метронома, словно под Кремлевской стеной пустили часы, отмерявшие время вот этими маятниковыми движениями черных, лаково сияющих, отражающих каждую травинку сапог.

Андрей перевел дух, глянул вниз — на кромке ниши, на мраморном уступе, уже лежали вроде бы чуть-чуть подпаленные струящимся снизу, из бронзовой звезды, пламенем две грозди сирени и букетик незабудок.

Это было удивительно — ведь ворота еще не открывались, еще никто не мог сюда прийти. Но первая смена, заступившая в караул в восемь ноль-ноль, всегда заставляла принесенные кем-то цветы. Кто-то приходил сюда раньше, а кто — неизвестно. Даже милиционеры, всю ночь дежурившие возле Александровского сада, пожимали плечами. Ворота открывали ровно в восемь, но не было случая, чтобы к этому времени на мраморном уступе, рядом с Вечным огнем, не лежали цветы. Как будто невидимки проникали сквозь чугунную ограду, торопясь к началу караула.

Странная мысль пришла Андрею, мысль о цветах, о том, что, одни и те же, они очень разные — на могиле и на праздничном столе.

Ветка сирени сверху пожухла, закурчавилась, но еще жила, дышала, а незабудки сникли, едва голубели уже редкими непоблекшими звездочками — все-таки вблизи огня им было жарко. И, глядя на увядающий букетик, Андрей вдруг вспомнил о главном, чем жил со вчерашнего вечера, с того момента, когда его имя было объявлено в списке почетного караула у могилы Неизвестного солдата. Он забыл, не мог думать об этом главном, пока шел сюда, пока встал у Вечного огня, и сейчас обрадовался вновь обретенному чувству, чувству ожидания встречи, которая вот-вот должна была произойти.

«Сейчас рядом с незабудками он положит букетик своих любимых подснежников,— загадал Андрей.— А она принесет тюльпаны...»

Но главное было не в том, кто с какими цветами придет. Смысл ожидаемой радости сводился к тому, что эти двое увидят его, Андрея Звягина, в парадной форме стоящим возле Вечного огня. «Пусть сам убедится, пусть знает наших,— подумал Андрей, предвкушая сюрприз.— Кого-нибудь на этот пост не поставят... А она... Она ведь никогда не видела меня таким...» Андрей хотел сказать «красивым». Он расправил плечи, вдохнул полной грудью и взглянул прямо перед собой.

За чугунной оградой шумела Москва. Мимо Александровского сада, обтекая его полукругом, проносились легковые машины, но, поравнявшись с тем местом, откуда уже был виден трепещущий над мраморным возвышением огонь, они сдерживали бег. Прохожие с любопытством поглядывали за ограду, как будто хотели убедиться, выставлены ли часовые, и, увидев двоих, стоящих навтыжку, решительно сворачивали к воротам.

Андрей перевел взгляд на пламя, пульсирующее над прокаленной звездой,— огонь то распускался, дрожа побледнев-

шими языками, то вновь наливался красным, пурпурным, сжимался, закручивался внутрь.

«Если долго смотреть в огонь, то можно увидеть в нем все, что захочешь,— вспомнил он не то прочитанное, не то услышанное где-то.— Кажется, лейтенант Гориков рассказывал, будто бы все, кто приходит сюда, видят в пламени лица погибших».

Но в зыбком, вскипающем, как бы гаснущем и вновь оживающем пламени Андрей, как ни напрягал воображение, не мог выстроить хоть какую-то осмысленную картину. В огнистых переливах и завитках он хотел представить лицо того, кто, возможно, лежал под этой звездой. Он помнил ту фотографию наизусть — до закрученных вопросиками бровей, до затаенной в уголках губ улыбки, до ямочки на подбородке, что выглядела совсем как глазок на картофелине. Выразительнее всего на фотокарточке получились глаза — с такими четкими, живыми зрачками, что казалось, сохранив свой живой блеск, они смотрят с другой стороны, сквозь фотобумагу. Солдат словно бы подмигивал. Кто-то даже сравнивал эти глаза со светом умирающих звезд... Кажется, Настя... Да, она.

Нет, в извивах пламени терялось, как будто стгорало даже это почти знакомое лицо. Огонь для Андрея оставался всего лишь огнем.

«Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен...» — прочитал Андрей медленно: бронзовые буквы читались отсюда наоборот. Тридцать семь букв... «Имя твое неизвестно...» Но почему, почему неизвестно?

И вчера в роте спорили — как из запутанного клубка вытягивали ниточку простой логики. В самом деле, почему неизвестно? Почему? Начать хотя бы с того, что фамилия была указана в повестке. Явился на сборный пункт. Потом внесли в список отделения, потом — роты, батальона, полка, дивизии, армии. Его фамилию выкрикивали на вечерних поверках. И когда посылали в бой, в разведку, на любое задание, ведь знали же по фамилии!

Лейтенант рассказывал, что во время войны солдаты носили в кармашках гимнастерок медальоны — пластмассовые патрончики, в которые заворачивалась бумажка с фамилией и адресом, на случай если убьют. Некоторые, правда, их выбрасывали перед боем суеверно, чтоб не накликать смерть. Значит, убивали безымянного? Неизвестного? Но ведь кто-то видел, кто-то был рядом! Неужели так и шли, шли вперед, вперед, не оглядываясь на убитых, не успевая записать их фамилий? Как могли ставить обелиски без имен?

Где-то Андрей читал не то в кино видел: пополнение прибыло за десять минут до боя — не успели записать фамилий. «По порядку номеров рассчитайся!» — «Первый, второй... тридцатый...» И — в атаку. Фамилии выясняли потом.

А теперь красные следопыты ищут, ищут... На сколько лет им работы? Наверное, хватит их детям и внукам.

Черная, с антрацитовыми блестками плита была безмолвна. Ветер чуть тронул ветку сирени, как будто взъерошил перья, и Андрей опять подумал о тех, кого ожидал.

«Почему не открывают ворота? Они, наверное, здесь... Они подойдут первыми, и я скажу им, скажу все...»

Он совсем забыл, что ничего не сможет им сказать: часовым на посту разговаривать не положено.

Андрей покосился вправо: створки тяжелых чугунных ворот медленно расходились, поблескивая золочеными наконечниками.

«Наконец-то!» — обрадовался Андрей.

Но толпа, хлынувшая было в ворота, замялась, загнулась, кто-то ее остановил.

Напротив, в конце дорожки, зашевелился, полыхнув алыми лентами, большой венок. За ним Андрей различил военных в золотистых фуражках и в брюках с красными и голубыми лампасами.

Венок поплыл прямо на него, покачиваясь, словно живой. И уже можно было различить сопровождающих — стараясь выдерживать ровность шеренг, неторопливым шагом к Вечному огню приближался примерно взвод маршалов и генералов.

Андрей подтянулся, выпрямился, как бы прибавляясь в росте, напряжился и стоял теперь, пытаясь даже не мигать. Что-то непривычное было в этом шествии: обычно солдаты подходят к начальникам, а эти сами подходили к солдатам.

Стараясь попадать в ногу, маршалы и генералы поднялись по ступенькам, остановились, и на зеркально-черных сапогах первой шеренги ало отразились, заиграли блики Вечного огня. В середине этой шеренги, искрящейся золотом погон, козырьков и пуговиц, Андрей увидел и сразу узнал министра обороны. Маршал смотрел на него. Но не тем придирчивым взглядом начальника, старшего по званию, который норовит подметить какой-нибудь непорядок, в лице министра Андрей уловил оттенок любопытства и доброты.

Как по команде, никем не произнесенной, но одновременно услышанной, маршалы и генералы приложили руки к козырькам фуражек и с минуту так постояли — вроде бы все вместе и каждый в отдельности отдавая честь.

Министр обороны задумчиво смотрел Андрею в глаза. «А ведь это он мне отдает честь, мне...» — мелькнула стыдливая мысль, и, залившись краской, Андрей не выдержал взгляда, потупился, одеревенел. И уже не видел, а только почувствовал, как опять, будто по команде, повернувшись, маршалы и генералы сбивчивым строем пошли по дорожке обратно.

Гулко стучало в висках. Едва уловимым движением — незаметным постороннему — Андрей переступил с ноги на ногу и снова выпрямился. Военные были уже далеко. И в тот момент, когда в распахнутые ворота вплыл новый венок, откуда-то не то сверху, не то снизу, раздались повторенные всем Александровским садом густые звуки хорала. Им ответили деревья и древние стены. Тоскующий и молящий о чем-то женский голос вплеся в эту могучую песнь, вырвался из нее, взметнулся, воспарил над садом, и у Андрея перехватило дыхание. Сразу обмякли, ослабли колени...

Он стоял один на один с Вечным огнем. Почему он? Почему именно он?

Было утро 9 мая...

2

Когда это началось? Вчера? Неужели полтора года назад?

Поезд мчался сквозь ночь, словно вырываясь из темноты, что настигла его внезапно, посреди степи. За вагонным окном ярко проступили огни. Ближние из них светляками прочерчивали темень и гасли где-то позади, а дальние проплывали медленно, мигали, прощально подрагивая лучистыми ресницами. Мелькнул желтоватый уютный квадрат окна — люди дома, под крышей. А у него под ногами чугунно гремели, отстукивали что-то колеса, и он ехал, сам не зная куда.

Из грохочущего в ночи вагона Андрей впервые в жизни увидел тогда своих родных, как в перевернутый бинокль: далеко-далеко и совсем маленькими. Пока подрастал, и мать, и бабушка все еще были самые большие, самые главные со своим непререкаемым авторитетом. По-детски беспомощными, одинокими и беззащитными казались они теперь. Наверное, это чувство внезапного повзросления чаще и острее всего приходит в дороге.

Андрей рос у матери один, но маменькиным сыночком не считался. Наоборот, мать всегда, при каждом удобном случае подчеркивала, словно старалась кому-то доказать, что един-

ственный сын растет не в оранжерее и что хоть он и чадо ненаглядное, а манна небесная ему в рот не сыплется. Может быть, тем самым она хотела компенсировать недостающую мужскую строгость: отец ушел от них, когда Андрею не исполнилось и трех лет.

Сейчас стояло перед глазами непривычно растерянное ее лицо, сведенные непонятной болью брови, словно она сдавала какой-то свой материнский экзамен и теперь не знала, что ответить строгому, несговорчивому экзаменатору. «Когда же ты успел, Андрей?» — все повторяла мать и нервно теребила в руках повестку из военкомата.

В плацкартном вагоне заняли двенадцать полок подряд. Андрей то и дело выходил в тамбур курить. Железный скрежет переходных мостков между вагонами, едковатый запах разогретого мазута и карболки навевали тоску. Но первопричиной скверного настроения была неизвестность, которая ждала в конце пути. Перед самым отходом поезда вдруг выяснилось, что их группу распределили вовсе не в воздушно-десантные войска — ВДВ, как было обещано в военкомате, а совсем в другие, непонятно какие войска. Тревожный слухок повторился и окреп. И взоры надежды обратились к сопровождающему — молоденькому лейтенанту с нежным, по-девичьи белым лицом. Но тот загадочно обводил своих подопечных невинным взглядом, элегантно поправлял туго затянутую, еще сияюще новенькую портупею и отмалчивался.

Станный человек был этот лейтенант. И виду не подал, когда один из призывников, оправдывая свою оплошность тем, что парикмахерская была закрыта на учет, заявился на сборный пункт неостриженным. Льняные космы «а ля Тарзан» волнисто ниспадали почти на плечи. Парня звали Руслан, а его имя совсем не подходило к фамилии — Патешонков. Руслан ввалился в купе с гитарой на роскошной голубой ленте. С зеркально отполированной деки обворожительно улыбалась коралловой улыбкой красавица, вырезанная из журнала «Советский экран».

— Понятно, это ваша Людмила, — сказал лейтенант и заинтересованно посмотрел на гитару.

Руслан, не заставил себя долго ждать, наверное, не привык, чтобы упрашивали. Тонкими, гибкими пальцами тронул, погладил струны, как бы вызывая песню, наклонил голову, уронив льняную прядь, к чему-то прислушался и ударил густым медным аккордом. Пушки, что ли, ахнули? Или это взметнулся на бруствер траншеи взвод, которому суждено было погибнуть у деревни Крюково?

Голос у Руслана был тонкий, не соответствующий плотной фигуре и возрасту, и поначалу можно было подумать, что он притворяется, стараясь петь под мальчика. Но нет, иначе было нельзя. Жалость слышалась в песне. Руслан жалел взвод, от которого почти никого не осталось. И лейтенанта, такого молодого, и становилось не по себе оттого, что возле подмосковной деревни погибали, один за другим падали в снег ребята.

— Молодец,— вздохнул лейтенант.— Хорошая песня!

И все поняли, что Руслан со своей гитарой взял лейтенанта в плен.

Вот так, притупляя его бдительность, подкрадывались, прячась то за песней, то за шуткой-прибауткой, то за анекдотцем, к вопросу, не дающему покоя.

— Ну, приедем... А дальше?

Лейтенант молчал. И улыбался.

— Дальше? А дальше то, что было раньше...— И шурил девичьи свои глаза, оставляя хитрые щелочки.

На шестом часу пути, когда из довольно оскудевших запасов остроумия были извлечены уже самые бородатые анекдоты и все слегка надосели друг другу, одурманенные дорожной сонью, по вагону, неизвестно кем выпущенная, полетела «утка». Оказалось, что лейтенанту действительно было что скрывать. Веснушчатый парень с борцовской шеей, у которого даже ладони были рябыми от веснушек, под строжайшим секретом сообщил:

— Тихо... Нас везут в разведшколу...— И, понизив голос, чтобы не услышал лейтенант, таинственно добавил: — Где она, никто, разумеется, не знает. Но в Москве — это точно. Там, между прочим, готовили Штирлица...

Смешок недоверия прокатился по купе. Но все посерьезнели, приумолкли. И даже неунывающий Руслан больше не прикоснулся к гитаре.

Их вагон уgomонился только к полуночи. Но Андрей долго не мог уснуть. Внизу гремело и перекачивалось, и, закрыв глаза, можно было представить, что не поезд несется по рельсам, а рельсы, словно выгнутые по дуге меридианы, раскручиваются под ним вместе с земным шаром. Все сильнее и сильнее разгоняется Земля, вертятся чугунные колеса. И вот они уже визжат, как на огромном наждаке, разбрасывая искры.

...Андрей проснулся оттого, что почувствовал на себе чей-то взгляд. Открыл — на него с усмешкой смотрел лейтенант, уже облаченный в мундир, выбритый — ни морщинки на лице, ни

складочки на сорочке. По всему вагону плыла приятная волна «Шипра».

За окном, не отставая от поезда, катилось по небу солнце. И чай янтарно плескался в подстаканниках.

— Ну и здоровы же вы спать, Штирлицы! — бодро сказал лейтенант. — Подъем, подъем! Скоро Москва!

И от солнца, что оранжевым мячиком подпрыгивало на макушках синеющего леса, и от свежего, парадного вида лейтенанта на душе у Андрея стало празднично.

— В Москву, в Москву! Карету мне, карету! — загнав под щеку сахар, в тон лейтенанту скаламбурил Нестеров. Это была последняя попытка узнать о роде войск, в котором предстояло служить, но лейтенант перебил:

— Патешников! Играйте сбор — всех в наше купе, уточним родословные.

Руслан охотно ударил румбу.

В купе стало душно, все сгрудились над лейтенантским блокнотом. На разграфленном карандашом листке были записаны фамилии призывников. И тут произошло то, что потом не раз с подначками припоминалось Андрею.

— Звягин! — позвал лейтенант, склонясь над блокнотом.

— Тут! — вяло отозвался Андрей.

— Не тут, а «я». Образование?

— Десять классов.

— Мать...

— Мастер на ремзаводе.

— Отец...

Андрей растерялся. Почему-то, когда напомнили об отце, перед глазами вставал потерянный плюшевый медвежонок.

— Отец где?

— Он у меня на фронте погиб, — неожиданно для себя тихо сказал Андрей.

— Чепуха какая-то, — озадаченно поморщился лейтенант и бросил карандаш на блокнот. — Посчитайте сами, Звягин... Если отцу вашему сорок, когда же он успел воевать? Ему же в сорок пятом десять лет было!

Нестеров прыснул, и этот его хохоток, как запал, взорвал тишину.

— Нет отца, и все. Нет! — покраснев, проямлил Андрей.

— Так бы и сказали! — Отчеркнул что-то карандашом лейтенант и, не сдержавшись, тоже рассмеялся: — А вы, Звягин, сами-то, случаем, не штурмовали рейхстаг?

А поезд уже въезжал в ущелье из домов. В купе сразу смерклось.

— Москва! — глянул лейтенант в окно. Он произнес «Москва», как матрос, увидевший после долгого плавания берег: «Земля».

Андрей прилип лбом к стеклу, но той Москвы, какую ожидал, не увидел. Он представлял, что как только кончатся пригородные леса, уже изрядно потрепанные осенним ветром и дождем, так сразу на горизонте покажется Кремль с дворцами, куполами, со знакомым силуэтом Спасской башни.

Но в окнах медленным безмолвным танцем, поворачиваясь то одной, то другой стороной, кружили многоэтажные громады, такие высокие, что их крыши заслоняли небо. И поезд будто съезжился при виде огромного города и уже без былой величавости, почти как трамвай, катился, казалось, посреди улицы.

Потом он дрогнул, запнулся раз-другой и остановился совсем.

— Выгружайсь! — весело крикнул лейтенант.

В автобусе, поджидавшем их на вокзальной площади, лейтенант сделал перекличку. Все были на месте.

Андрей ревниво глянул на погоны сидевшего за рулем солдата. Погоны были малиновыми. «У ВДВ голубые, — расстроился Андрей. — А вот какие у Штирлицев?» Патешонков, нахохлившись, уткнулся в воротник пальто и не поднимал глаз.

Минут тридцать ехали молча. Но вот шофер резко затормозил, и Андрей с нетерпением глянул в окно: автобус уперся в зеленые железные ворота с красной пятиконечной звездой. Моментально выскочивший из будки солдат проворно их отворил, автобус дернулся, и ворота с ляганьем захлопнулись.

— Прибыли! — с радостью в голосе объявил лейтенант. — Добро пожаловать!

Он построил их рядом с чемоданами, которые тоже стояли по ранжиру.

Прямая асфальтированная дорога между молоденькими, побеленными известью липами вела к трехэтажным домам, пустым и безмолвным. Перед этими домами, на присыпанной гравием и песком спортплощадке, блестели никелем и отполированным деревом турники, брусья и еще какие-то замысловатые сооружения. А дальше, до конца дороги, справа и слева, куда бы Андрей ни посмотрел, глаза всюду упирались в забор, за которым возвышались обычные «гражданские» дома — с разноцветными занавесками на окнах, с бельем, развешанным на балконах.

Солдат, отворивший ворота, стоял в дверях будки и с любопытством взирал на прибывших.

— Послушай, парень, — окликнул солдата один из ребят, кажется Нестеров, — какая это часть?

Небрежно сдвинув со лба на затылок порыжевшую от солнца фуражку, солдат — сразу видно, не первого года службы, — поглядел на них, как показалось Андрею, с сочувствием.

— Ракетный полк кибернетики, — медленно, членораздельно отчеканил солдат и подмигнул.

— Нет, серьезно! Какие войска? — просительно метнулись к нему, перебивая друг друга, несколько голосов.

— Я же сказал, РПК, — повторил солдат и исчез в своей будке.

3

РПК, РПК, РПК, — рокочущее барабаном, это созвучие воспринималось как некий таинственный шифр жизни, которой теперь предстояло им жить.

Лейтенанта Горикова, того самого, что сопровождал их на службу, было не узнать. Что-то переменялось в нем, как только очутились в расположении части: где вагонное добродушие, где веселость и покладистость «своего парня»? Опять собрал всех на плацу, подал команду: «Становись!» И тут же тихо и невозмутимо приказал: «Разойдись!» Позавчера ему не понравилось одно, вчера — другое, а сегодня выяснилось — долго становились в строй, надо в считанные секунды, так, словно к локтям привинчены магниты: раз, два, три — и шеренга как спаянная.

Всех призывников разобрали по росту, и Андрей, у которого рост был метр восемьдесят пять, попал в первый взвод — взвод кандидатов в роту почетного караула. Оказалось, что ниже ста восьмидесяти сантиметров в РПК вообще не берут.

— Р-р-рав-няйсь!

По этой команде надо повернуть голову направо — как можно резче — и увидеть грудь четвертого человека. Если нагнешься — покажется пятый, а может и шестой, а завалишься чуть назад — всех заслонит первый, правый. Грудь четвертого человека — в самый раз, высчитано, выверено веками строевой практики. Стараясь выравняться, Андрей скосил глаза на грудь Аврусина, уже проявившего незаурядные способности к шагистике. Сухопарый, жилистый, Аврусин весь был как на шарнирах, и лейтенант, сразу оценивший «природные данные», уже несколько раз выводил его из строя для наглядной демонстрации строевых приемов. Аврусин Андрею не нравился, неприязнь началась еще в вагоне. Не кто-нибудь, даже не

лейтенант, а почему-то именно Аврусин сделал тогда замечание Руслану за длинные волосы. Его-то какое дело?

Третьим стоял Нестеров — бледный, растерявший свои веснушки, с тем мучительным выражением послушания и покорной внимательности на лице, с каким у доски стоит незадачливый ученик, — Нестерову уроки строевой не давались, он часто путал ногу, не мог подладить отмашку рукой.

Смешливый, готовый по пустяку расхохотаться, Линьков стоял слева от Нестерова, едва сдерживая улыбку, и лейтенант подозрительно на него поглядывал.

Совсем рядом, касаясь правой руки, вытянулся Руслан Патешонков, с роскошными своими кудрями он распрощался в день приезда и сейчас был удивительно похож на ошипанного петушка. Его гитаре разрешили висеть в каптерке.

— От-ставить!..

Лейтенант неторопливо осмотрел шеренгу — медленно-медленно слева направо, потом зигзагами: от подбородков (не слишком ли опущены) к ногам (не слишком ли сведены носки сапог), — и румянец, свекольно заливавший его щеки, растворился, лейтенант наконец-то позволил себе улыбнуться.

— А он не простак, — шепнул Андрею Патешонков. — Это для первого знакомства — рубаха-парень и прочее, а потом так зажмет — запищим.

Патешонков сказал это совсем тихо, но лейтенант услышал, и воздух будто разорвало:

— Р-р-раз-говорчики!

На его щеках опять проступили свекольные пятна.

Прошелся вдоль шеренги сосредоточенный, словно шахматист, дающий сеанс одновременной игры. Вскинул затененные ресницами, посветлевшие, совсем штатские глаза:

— Вопросы есть?

Андрей ослабил ногу, через смущенное покашливание спросил:

— У меня есть, товарищ лейтенант. Что же это все-таки такое, РПК?

Конечно, он знал, но интересно, что скажет лейтенант.

Лейтенант молча кивнул — вопрос показался ему существенным.

— Матюшин! — не оборачиваясь, позвал он стоявшего позади не то загоревшего, не то просто смуглого долговязого сержанта. — Устав гарнизонной и караульной служб!

Матюшин бегом кинулся в казарму и через минуту вернулся с тоненькой книжкой.

Лейтенант нащупал взглядом Андрея:

— Звягин, выйти из строя!

Андрей сделал вперед два шага, неловко покачнувшись, повернулся лицом к шеренге.

— Читайте вслух погромче! — приказал лейтенант, протягивая устав.

Андрей открыл первую страницу и вопросительно посмотрел на лейтенанта.

— Страница сто семьдесят шесть, — с расстановкой, поднимая взгляд поверх шеренги, словно видел эту страницу на противоположной стене кирпичного дома, подсказал лейтенант Гориков, — параграф триста сорок первый... Нашли?

Андрей впился в строчки.

— «Почетные караулы... — начал он неуверенно. — Почетным караулом называется подразделение (команда), назначенное для отдания воинских почестей. Почетный караул назначается для встречи лиц, указанных в статье двадцать первой...»

Андрей запнулся: что за чайнворд?

— Отлистайте на страницу семнадцать, — невозмутимо сказал лейтенант.

— «Начальник гарнизона встречает прибывающих в расположение гарнизона Председателя Президиума Верховного Совета СССР, Председателя Совета Министров СССР, Генералиссимуса Советского Союза, Министра обороны СССР, Маршалов Советского Союза и Адмиралов Флота Советского Союза. Для встречи этих лиц выстраивается почетный караул...»

— Стоп! — оборвал лейтенант и поднял ладонь. — Ясно, что за лица? — И подтянулся, развернул плечи, словно сейчас на плацу должны были появиться эти государственного ранга люди. — Продолжайте, — кивнул он Андрею, не меняя позы.

Андрей уже со знанием дела вернулся к знакомому параграфу и продолжал читать спокойнее, даже с выражением:

— «Кроме того, почетный караул может назначаться: к боевым знаменам, выносимым на торжественные заседания; на открытие государственных памятников; для встречи и проводов представителей иностранных государств; при погребении военнослужащих, а также гражданских лиц, имевших особые заслуги перед государством...»

— Стоп! — опять остановил лейтенант. — На сегодня хватит, остальное проработать самостоятельно. Вопросы? Нет? Разойдись!

Шеренга пошатнулась, распалась, и, тяжело громяхая сапогами, словно подошвы были железные, солдаты ринулись к лавочке — перекурить.

Кто-то выхватил из рук Андрея устав.

Патешонков, вытянув худую, петушиную шею, восторженно толкал Андрея в бок.

— Королей и герцогов видел? Ни в жизнь! А тут они сами тебе навстречу! Ваше величество! Рядовой Звягин!

Андрей нехотя поддержал шутку:

— Я предпочел бы принцессу...

— И во Дворец бракосочетаний! — рассыпался смешком Линьков.

— Тебе все шуточки... — грустно одернул его Андрей.

После перерыва лейтенант Гориков представил им командира отделения.

— Сержант Матюшин! — Щелкнул каблуками долговязый сержант, тот самый, что бегал за уставом, и доверчиво посмотрел на шеренгу.

Одет он был опрятно, даже несколько щеголевато, но в пределах той допустимой нормы, которая позволяет выглядеть одновременно и уставным, и элегантным. Мундир облегал его плотную фигуру так, словно был сшит на заказ, хотя и казался поношенным, как бы уже выбеленным солнцем. И всем сразу понравилась эта не парадная, а будничная, свойственная солдатам последнего года службы подтянутость, стройность, которая дается не напряжением, а естественна, как привычная поза или походка.

— Ну, так с чего начнем? — простецки, по-свойски улыбнулся сержант и, опустив голову, в каком-то веселом раздумье прошелся вдоль строя.

Это его добродушие, товарищеская непринужденность — подумаешь, чего бы ему выламываться: на каких-то два-три года старше! — сразу передалась шеренге. Она зашаталась, как забор, потерявший опору. И из возникшего тут же говорливого ручейка, побежавшего от фланга к флангу, выплеснулся озорной голос:

— Начнем с кибернетики!

Сержант поймал этот камешек, брошенный в его огород, не моргнув глазом.

— Пожалуйста, можно... Вот вы, — уперся он немигающим взглядом в осклабившегося Линькова, — ответьте, пожалуйста, во-первых, что такое кибернетика, во-вторых, каков диапазон ее действия?

— Ну, это и первоклассник знает... — насмешливо отозвался, борясь со смущением, Линьков и потер стриженный затылок так, что показалось, раздалось поскрипывание.

На его лицо тенью вдруг упала сосредоточенность подающего надежды математика, любимца учителей, бессменного победителя школьных олимпиад.

— Я знаю! — перебил Аврусин. — Кибернетика — это, так сказать, наука об общих принципах управления... о средствах управления и об использовании их в технике, в живых организмах...

— Примерно так, — спокойно согласился сержант и опять взглянул на Линькова. А как называется труд Андре Мари Ампера?

Линьков совсем сник, замялся. И остальные стыдливо молчали, потупив взоры, как в школе, когда учитель начинал выбирать в классном журнале фамилии.

— «Очерки по философии наук». Это он придумал название «кибернетика», — торопливо выпалил опять Аврусин.

— Смотри какой деловой! — шепнул Патешонков.

— Прекрасно! — сказал сержант. — Ну, а теперь к делу.

— Перекурить бы эту кибернетику! — снова обрел форму Линьков.

И шеренга прыснула, поломалась. Нестеров полез в карман за сигаретами.

Сержант встрепенулся:

— Р-р-азговорчики! От-ставить!

И, точь-в-точь как у лейтенанта, что-то в нем выпрямилось, сжалось. Приложил руки к бедрам, словно готовясь сделать взмах невидимыми крыльями, и повернул влево-вправо головой.

— Равняйся!.. Смирно!.. Вольно!..

Как бы незримым тросиком схваченные, подбородки дернулись вправо, мгновенно повернулись обратно, и строй снова спружинил вниз на чуть согнутом колене. И — молчок!

— Тема первого занятия: обучение строевой стойке, — строго сказал сержант, спрятав совсем уже глубоко добродушие и простоту, беспечность, которые сближали его с шеренгой, делали похожим на всех. Между ним и строем пролегла черта.

Оказалось, что даже такой пустяк, как постановка носков сапог, требует своей методики.

— Носки свести вместе. Делай — раз! — скомандовал сержант. — Носки развести. Делай — два!

— Во даем! — развеселился Линьков. — Ансамбль пляски острова Пасхи!

Андрея одолевала усталость. Как сквозь сон, вслушивался он в монотонный голос сержанта, который учил теперь «держатъ грудь». Смешно подумать, но и в этом тоже была своя наука. Чтобы приподнять грудь, надо сделать глубокий вдох,

в таком положении ее задержать, «выдохнуть и продолжать дыхание с приподнятой грудью». Устав давал точную инструкцию.

— А такой фокус знаете? — услышал Андрей и не сразу осознал, что сержант обращался к нему.

— Какой? — механически спросил Андрей, пытаясь сбросить одеревенелость.

— Смирно! — скомандовал в ответ сержант и внимательно посмотрел на Андреевы ноги.

— Поднять носки сапог!

Андрей легко оторвал носки от асфальта, но тут же запрокинулся назад, замахал руками, едва удержав равновесие.

— Вот-вот! — обрадованно, что фокус удался, усмехнулся сержант. — Значит, неправильная стойка, не подали корпуса вперед. Попробуйте еще.

Андрей чуть подался вперед, стараясь не сгибаться, попытался приподнять носки сапог и не смог: они были словно припаяны к асфальту.

Тупая, как зубная боль, злоба вдруг засадила в Андрее.

— Вы что, смеетесь? — спросил он, едва сдерживаясь, чтобы не сказать грубость. — Я что вам, кукла?

— Над чем... смеюсь? — опешил на мгновение сержант.

Губы его дрогнули, он виновато заморгал, не поняв или обидевшись.

— Над нами смеетесь... — процедил Андрей. — Мы что же, выходит, совсем олухи?

Сержант отступил на шаг, смерил Андрея взглядом, как будто видел впервые, и в щелочках прищуренных глаз, ставших снова похожими на лейтенантские, блеснула усмешка.

— Я бы сказал вам, Звягин. Но вы сами... Надеюсь, сами... — И, отвернувшись, словно сразу потеряв к Андрею интерес, сержант выкрикнул: — Разойдись!

Натертые ноги ныли. Андрей подошел к высоким зеркалам, стоявшим сбоку плаца, под развесистыми тополями. Зачем они здесь? Неужели не достаточно тех, что в умывальнике? На крайний случай можно вполне обойтись своим квадратненьким, вделанным в футляр электробритвы...

Ослепительно высверкнуло голубым, потом над небом мелькнул корявый сук тополя, и, как в дверном проеме, показался незнакомый солдат. Темные, ввалившиеся глаза отрешенно, с болезненным блеском недовольства смотрели на Андрея.

«Неужели это я?» — не узнавал он.

Фуражка нависала на уши, мундир болтался, как на вешалке, и, выдавая едва заметную кривизну ног, жестяными

раструбами топорщились голенища сапог. В зеркале качнулось раскрасневшееся лицо Линькова.

— А ты знаешь, зачем эти трюмо? — скорчив рожицу, спросил он. — Строевую отрабатывать. С самим собой! Во дают!

Приковылял Нестеров. Жалостно признался:

— Не клеится у меня. Ну хоть ты что... Вместе с левой ногой левая рука поднимается... Какой-то я недоконструированный...

Капли пота скатывались по его щекам, оставляя грязноватые бороздки.

В тот день Андрей еле дождался отбоя. Вытягивая в постели затекшие, сделавшиеся чужими ноги, он долго размышлял о превратностях судьбы, о воле чистого случая, по которому попал в РПК, о будущем, которое виделось ему теперь лишь горячим, отшлифованным подошвами серым плацем, покачиванием бесконечных шеренг, вздрагивающих от ударов барабана... «А этот сержант... — с раздражением вспомнил Андрей. — Тоже еще фокусник... Носки врозь... Кто дал ему право?»

Белый парашют — его мечта — покачивался в синеем окне.

«Только в ВДВ, только в ВДВ», — повторял про себя Андрей.

Патешонков тоже не спал, вздыхая ворочался рядом.

— Послушай, Руслан! — позвал Андрей тихо. — Ну их к аллаху, а? Махнем в ВДВ? Я больше не могу, понимаешь, не могу... Мне этот плац уже снится.

— Как это махнем? — приподнялся Патешонков. — Да это же... особая рота!

— Особая топать?

— Выбрось из головы! — угрожающе прошептал Патешонков. — Ты же знаешь... Перевод может разрешить только сам министр...

— А что министр? Напишу министру! — как о само собой разумеющемся сказал Андрей.

Но холмистый силуэт на соседней кровати больше не шевельнулся. Раздался тихий притворный храп.

«Напишу, — решил Андрей, все больше распаляясь от собственной идеи, озарившей беспросветный сумрак завтрашних дней. — Завтра же узнаю адрес и напишу».

И он представил, как закругленно выведет на тетрадном листе: «Министру обороны Союза ССР... Заявление».

Нет, точнее будет: «Рапорт». Но не слишком ли официально? Ведь это всего-навсего личная просьба. Конечно, проще и правильнее: «Заявление».

«Заявление. Уважаемый товарищ министр!» Да, уважаемый... Иначе как же? «Уважаемый...» — прочтет командир всех командиров, и побреет его лицо. «А что, вполне воспитанный молодой человек», — кивнет министр и улыбочиво глянет поверх очков на стоящего рядом генерала. «Уважаемый товарищ министр! — повторил Андрей, холодея от восторга, от уважения к самому себе, так запросто обратившемуся к столь высокому лицу. — Пишет Вам выпускник средней школы, призванный... согласно Вашему приказу в ряды Советской Армии. — Вот это «согласно Вашему приказу» тоже понравилось Андрею, такую фразу министр не сможет не оценить. — Извините, что отрываю Вас своим письмом от важных дел по... охране — нет, обеспечению обороны нашей страны. Но я вынужден, просто вынужден к вам обратиться... Во время приписки... в военкомате мне было обещано направить меня в ВДВ, — продолжал Андрей подбирать, как ему казалось, для весомости сугубо канцелярские выражения. — Однако произошло недоразумение. Непонятно, по какой причине я оказался в роте почетного караула, где сейчас нахожусь в карантине. — Андрей все больше вдохновлялся уверенностью, что министр обязательно поймет и исправит ошибку военкомата. — Смею Вас .. заверить, — пробовал, перебирал Андрей каждое слово, — я ничего не имею против роты почетного караула. Очевидно, это подразделение носит важную функцию. И эта рота, безусловно, нужна. Однако я ходатайствую перед Вами о переводе меня в воздушно-десантные войска. Во-первых, потому, что я с детства мечтал о службе парашютистов, и, во-вторых, у меня в аттестате только одна четверка, и, следовательно, я мог бы быть более полезен нашим славным Вооруженным Силам в ВДВ. На мой взгляд, в роте, где я прохожу карантин, могут служить и другие, имеющие склонность к основному предмету, а именно к строевой подготовке».

Андрея охватили сомнения: достаточно ли весомы аргументы? «А у него почему нет склонности к строевой?» — озадаченно спросит министр генерала. Нет, что-то не так... Надо высказать свое отношение к службе. Да-да, иначе будет непонятно.

«...Как гражданин Советского Союза, выполняющий священную обязанность, — все больше проникаясь гордостью за себя, шептал Андрей, — я хотел бы отдать все свои силы и знания на самом трудном посту. И солдатские годы я хочу прожить так, чтобы быть достойным тех, кто отстоял нашу любимую Родину...» Эта последняя фраза понравилась Андрею больше всего.

«Вот так и напишу... Завтра же... Узнаю адрес и напи-

шу», — успокоенно согреваясь и засыпая, подумал Андрей.

На другой день, оглядываясь, чтобы никто не увидел, он опустил письмо в почтовый ящик.

4

Дни пошли один за другим, похожие, как солдаты в строю. Время теперь стиснулось командами «Подъем!» и «Отбой!». Разграфленное на минуты, оно заполнялось одним и тем же, повторяемым с утра до вечера: физзарядкой, завтраком, строевыми занятиями, обедом, потом опять занятиями, ужином, коротким, как перекур, «временем для личных надобностей» и усталым забытием сна.

Карантин кончался, и новички, распределенные по взводам, становились в строй роты почетного караула.

Да, это было событие, которого с надеждой и опасением — а вдруг отчислят! — ждали, к которому готовились все, кроме Андрея. Он и не подозревал, как спрятанным, придирчивым взглядом следили за каждым шагом, за стойками и поворотами опытные командиры, ревнивой придирчивостью своей похожие на тренеров, отбирающих самых лучших в сборную страны.

Андрей готовился к другому — упрямо, с неостывающей надеждой ждал он ответа от министра обороны, уверенный, что обязательно удостоится внимания этого самого высокого воинского начальника. И это томительное каждодневное ожидание крутой перемены в жизни, ожидание торжества справедливости, в которую он верил неколебимо, придавало силы. Он послушно жил жизнью, строго заключенной в пределы забора, выполнял все, что положено выполнять молодому солдату, но прилежности и старания не показывал и смотрел на все, даже на себя, стоящего в строю, как бы глазами постороннего человека. словно два Андрея существовали в нем одновременно: один — равнодушный, как робот, механически исполняющий команды; другой — живой, ранимый по пустякам, обиженный жестоким, несправедливым поворотом судьбы. Этот второй пристально наблюдал за первым и сочувствовал ему. Белый парашютик ВДВ миражно покачивался в небе и не давал покоя.

Взвод новичков бросили «на прорыв» — на кухню. Картофельчишка гудела ровно и, разогреваясь, голодно позванивала. И в тот миг, когда, взыв от удовольствия, она приняла в скрежещущую утробу новую порцию картошки, ее натужный гуд заглушили другие звуки, внезапно ударившие в окна. Ахнули рассыпчато медные тарелки, взвился серебряный голос

трубы, басовитому рокоту барабана переливчато откликнулись флейты — и заходили ходуном, забились о стены казарм, заметались в тесноте плаца оглушительные ритмы марша.

Они бросились к узкому окошку — из-за угла казармы выходила на плац радужно-нарядная, яркая и лощеная, как на переводной картинке, колонна солдат. Нет, это были три совершенно разные колонны, слитые маршем в одну.

Впереди за огненно-подрагивающим знаменем шли высокие и стройные, один к одному, как на подбор, перетянутые белыми ремнями парни в светло-серых шинелях, в серых каракулевых шапках, и черно-глянцевые их сапоги — шаг в шаг — словно выводили на асфальте какую-то свою мелодию, помогая оркестру, который восторженно гремел им навстречу. Лучась штыками, невесомо плыли над строем карабины — они были живым продолжением этих шагающих, резко разрубающих руками воздух солдат.

Правофланговым первого ряда шел сержант Матюшин. Да, это был он — непривычно сосредоточенный, как бы загипнотизированный музыкой. «Вот теперь и ты топаешь!» — со злорадством подумал Андрей, не признаваясь себе, что любит сержантом. Матюшин же, словно почувствовав его взгляд, покосился вправо, и Андрей стыдливо отпрянул от окна.

За первой, общевоинской, под своим — в сине-желтых лучах — флагом печатала шаг колонна солдат в голубых шинелях. Как будто на вертолете прямо на плац опустились летчики — от них веяло льдисто-холодным, бездонным небом, и у Андрея сладкой, щемящей тоской шевельнулось сердце: «ВДВ, почти ВДВ...»

За небесной этой колонной горделиво трепетал третий, бело-синий с красной звездой, серпом и молотом военно-морской флаг. Парни в черных шинелях, в черных брюках клеш отбивали черными ботинками по асфальту, как по бронированной палубе, свой марш морей. И над согнутыми локтями, над взметенными белым прибоем перчатками всплескивались, отсвечивали золотом якоря, якоря...

Сбоку всей этой серо-голубой, черной колонны то забегал вперед, то пятился, придирчиво вглядываясь в ряды, в лучистый частокол штыков, офицер в парадной шинели, с шашкой на золотистом ремне. Он что-то выкрикивал, стараясь пересилить оркестр, наверное, тут же, на ходу, делал замечания и очень был похож на дирижера, который управляет другой, вот этой шагающей музыкой — музыкой парадного строя.

— Командир роты майор Турбанов! — восхищенно проговорил Патешонков.

А Нестеров осведомленно пояснил:

— Встречный строй в полном составе. Поедут встречать премьер-министра Японии. — Он не отрывал глаз, впечатался щекой в стекло, провожая колонну, пока она не скрылась за поворотом. — Черт возьми, неужели меня не зачислят? Ну хоть бы замыкающим!..

— Хватит ныть! — не сдержался Андрей и, выражая полное безразличие, вернулся к картофелечистке. — Ну, не возьмут... Свет, что ли, клином? Это же бутафория, показуха! Разве это моряки? Или, может, летчики? Да они ни моря, ни неба ни в жизнь не увидят. Плац — это да. Это их работа... Ать-два левой — и в столовую!

— Ну как у меня отмашка? Посмотри! — не обращая внимания на Андрея, умоляюще обратился Нестеров к Патешонкову.

И там — да, да, именно там, возле картофелечистки, когда Нестеров неуклюже, будто ломаным крылом, взмахнул рукой, изображая строевой шаг, — Андрея осенила простая, но именно в простоте своей гениальная идея. Как он раньше не догадался? Нестеров рвется во встречный строй РПК, а его не берут: руки и ноги враздрай, хоть ты что! Роте нужен особый «шаг», роте нужна особая «рука». Не каждый сможет сделать то, что нужно этой роте. А он, Звягин, любуйтесь, пожалуйста!.. А может, и у него не получается? Не получается, и все. Координация не та, реакция, да мало ли что?

Из серой, набухшей тучи, которая, казалось, нарочно повисла над плацем, сыпал мелкий, колючий дождь вперемежку со снегом. Ветер пронизывал насквозь, забираясь под воротник, в рукава шинели. Шли последние отборочные занятия. Сапоги, перемешивающие на асфальте грязную снежную кашу, отсырели, отяжелели и не сопротивлялись холоду. Но Андрея согревало озорное ожидание: затея, кажется, удалась — никто из всего взвода не получил столько замечаний, сколько он.

— Что с вами, Звягин? — обеспокоенно поинтересовался лейтенант. — Не заболели? Портянки хорошо навернули?

— Плохому танцору всегда что-нибудь мешает, — отшутил-ся Андрей. — Значит, ноги не из того места растут...

— Жаль, — искренне посочувствовал лейтенант.

Покурили, поглотали теплого дымка и опять: «Выходи стриться!», «Становись!».

Затолкались, подравнивая шеренгу. И еще не стихший говор сразу оборвала хлесткая команда. Лейтенант повернулся и зашагал навстречу приближавшемуся от казармы офицеру.

Андрей узнал командира роты, который совсем не был

похож на того юношески бодрого красавца в аксельбантах, что тренировал на плацу почетный караул. Худощавое, уже немолдое лицо выражало задумчивость и озабоченность.

— Товарищ майор! — вскинул лейтенант к козырьку руку, но тот мягко остановил:

— Вольно, вольно, продолжайте занятия.

Остановился в десяти шагах, спокойным, ощупывающим взглядом пробежал по шеренге. Андрею показалось, что он чуть дольше, чем на других, задержался на нем. Что-то похожее на усмешку мелькнуло в усталых глазах командира.

— Сейчас объявит... — шепнул Нестеров.

Но командир молчал. Еще раз, теперь уже слева направо, оглядел шеренгу.

— Ну что ж, посмотрим...

Снова поискал-поискал взглядом и как будто случайно остановился на Андрее.

— Вот вы, — показал подбородком командир роты.

— Рядовой Звягин! — выкрикнул Андрей нарочито громко.

— Рядовой Звягин, выйти из строя! — не повышая голоса, приказал командир.

И Андрею опять стало весело — никто не мешал ему повторить тот же спектакль, только теперь специально для командира роты.

— Рядовой Звягин, — как бы разговаривая, без восклицания, скомандовал майор, — прямо, шагом... марш.

Шлепнув сапогом по снежной жиже, Андрей вперевалку пошел прямо, не затаивая улыбку — со спины ее уже никто не видел. Но с этой нарочитой небрежностью, едва отрывая ноги от асфальта, слегка волоча их, он прошел шагов семь-восемь, не больше.

— Отставить! — услышал Андрей и не узнал голоса командира: властность, требовательность и раздражение, прозвучавшие одновременно, исказили привычный баритон. В спину прогремело жестью: — Рядовой Звягин! Строевым, шагом марш!

Андрей попытался опять изобразить неуклюжесть и хромоту, но внезапно ощутил, что ноги и руки уже не подчиняются ему, а послушно исполняют приказание командира.

Это было странно: командир молчал, но команда его продолжала повелевать — так от короткого, несильного толчка начинает стучать маятник. Не замечая луж, Андрей дошагал до забора, сам повернулся и отчаянно, поддаваясь новой волне озорства, пошел прямо на командира полным строевым шагом, и не таким, как учил устав, а еще более четким, с резким

выбросом руки, с секундной ее задержкой перед грудью — как это он вчера подсмотрел у встречного строя роты.

«Нá тебе, нá тебе! — в такт шагу думал Андрей, дерзко глядя прямо перед собой, стараясь перехватить взгляд майора. — Тоже еще наука!.. Если ты командир РПК, так небось думаешь, что никому эту вашу шагистику не освоить? Нá тебе, нá тебе, нá тебе!»

Андрей шел прямо на командира, нисколько не сомневаясь, что тот уступит дорогу: команды остановиться никто не подавал. Снег ошметками летел из-под сапог, грязные брызги доставали до подбородка.

— Стой! — со вскриком нескрытого удивления скомандовал майор, остановив Андрея в трех шагах от себя. И снова, невидимая строю, отчетливо адресованная только Андрею, проступила в глазах командира усмешка: «Вот так-то, дорогой вы мой, знаем мы эти ваши штучки. Становитесь в строй и чтобы больше — ни-ни!»

— Молодец, Звягин! — вслух похвалил командир. — Так ходить! Все видели? Хоть сейчас во встречный строй! — Расправил перчатки, помолчал и, уже не глядя на Андрея, сказал: — После занятий, Звягин, ко мне.

В накуренном кабинете командира роты было тесновато: кроме него самого, разговаривавшего с кем-то по телефону, Андрей увидел трех лейтенантов. Двоих он знал только в лицо — командиры взводов, «морского» и «летного». Лейтенант Гориков сидел на стуле в углу, сосредоточенно рассматривая какой-то альбом.

— Садитесь, — кивнул командир роты, и Андрей, потоптавшись, примостился на краешке единственного свободного стула.

Кабинет и в самом деле мог бы быть попросторнее: в него едва вместились стол и шкаф. На стене козырьком выпирала вешалка с наброшенным на плечики парадным мундиром. Под вешалкой стояли сапоги с негнувшимися, начищенными голенищами.

«В полной боевой готовности», — насмешливо подумал Андрей. Он обвел взглядом унылые, пустые стены и над самым столом, справа — при входе сразу и не заметишь, — увидел портрет, который показался ему не то что знакомым, но даже родным. На Андрея по-свойски, как на близкого человека, на единомышленника, смотрел министр обороны. И от этого доброго взгляда, от присутствия рядом маршала, который наверняка уже прочитал письмо и вскоре должен был прислать положительный ответ, Андрей почувствовал себя уверенно и свободно и,

теперь уже ничуть не смущаясь, открыто взглянул на командира.

«Если насчет письма, ну что ж... Я за себя отвечаю...»

— Ну так что будем делать, Звягин? — спросил майор, аккуратно положив трубку.

— Вы что имеете в виду? — как можно учтивее уточнил Андрей.

— Я имею в виду ваш кордебалет на плацу. Не хотите ходить? Может, вы вообще служить не хотите?

И майор обвел взглядом лейтенантов, как бы призывая их в свидетели, прося их сочувствия.

— Почему же? — стараясь быть спокойным, возразил Андрей. — Я даже очень хочу служить, но только... не в вашей роте...

Зачем он тогда так, прямо? После Андрей не мог себе простить несдержанного откровения, а вернее, ответного взгляда майора, сразу затуманенного, потухшего, не спрятавшего обиду.

— Ваша рота, конечно... Я понимаю... Я ничего не имею против... — фальшиво и запоздало спохватился Андрей. — Но в военкомате мне говорили, в ВДВ...

Майор наклонился над столом, чуть скособочась.

— «Не имею против»... — покачал он головой и слабо улыбнулся грустной, словно оправдывающей улыбкой.

— Я просил бы, товарищ майор... — зазвеневшим голосом, доверяясь этой улыбке, подхватил Андрей.

Он с надеждой, ища поддержки, повернулся к лейтенантам.

Они сидели, затихнув, демонстративно поглядывая в окно. Гориков опять уткнулся в альбом, как будто ничего больше, кроме этого альбома, на свете не существовало.

Командир роты выдвинул ящик стола, достал из кожаной папки какую-то бумагу, и по тому, как он на отлете, на весу ее держал, Андрей понял, что бумага очень важная.

— Вот ответ... министра... — строго взглянув на Андрея, сказал майор. Последнее слово он произнес с нажимом, отделяя его от других и тем самым усиливая значение.

«Так быстро?» — изумился Андрей.

— Министр оставляет решение вопроса на наше усмотрение, — медленно проговорил майор, выпрямляясь.

— Что значит на ваше? — недоверчиво, с тяжелым предчувствием спросил Андрей.

Майор что-то хотел объяснить, но лейтенант Гориков, все время молчавший, вдруг оторвался от альбома, опередил:

— Видите ли, товарищ Звягин, армия — не кружок художественной самодеятельности... Хочу пою, хочу танцую...

— Не надо так, Гориков! — остановил майор.

И, бережно вкладывая бумагу в папку, сказал:

— И на ваше усмотрение, Звягин. Время есть. Есть время подумать... Можете идти.

Майор, три лейтенанта и он сам, Андрей... Да, их было в комнате пятеро. Больше ведь никто не заходил. Но почему Андрею показалось, будто о разговоре с майором уже знала вся рота? Матюшин прошел отвернувшись, Патешонков и Нестеров тягостно отмалчивались с тем видимым безразличием, в котором таилось презрение.

5

Присягу принимали в декабре. Ну да, в первое воскресенье, Андрей тогда еще удивился — в декабре выпал запоздавший снег...

Андрей ехал вместе со всеми — порядок есть порядок, присягу должен принять каждый солдат, к какому бы роду войск ни относился. Присяга одна на всех, будь ты пехотинец, моряк или летчик. И нет худа без добра: это даже лучше — перевестись в ВДВ уже равноправным, давшим клятву солдатом.

Из новичков в казарме оставался один Нестеров — его отчислили из РПК за непригодность к специальной строевой службе и переводили в другую часть. Нестеров стоял возле автобуса, потирая кулаком покрасневшие глаза, — вчера, когда командир роты объявил о своем решении, солдат, не стеснясь, как мальчишка, заплакал в шеренге. Андрей Нестерова жалел.

Автобус нетерпеливо подрагивал. Лейтенант Гориков — в парадной шинели, перетянутой золотистым поясом, «под шашку», в каракулевой шапке с сияющим «крабом», праздничный и деловитый, словно ему предстояло парадом пройти сегодня по Красной площади, — упруго вскочил на подножку автобуса, в котором уже сидел, тоже весь в новом, сияющий пуговицами, его взвод, отодвинул, будто полог, край флага, свисающего сверху, пробежал, прощупал взглядом, все ли на месте. Он глянул как бы мимо Андрея, не принимая его в счет, и от этого явно подчеркнутого невнимания, небрежения Андрею стало не по себе.

Три автобуса, вместившие роту, стояли в порядке взводов, и, заглянув в оконце, Андрей увидел впереди этой кавалькады зеленый, с красной полосой «рафик», на крыше которого ослепительно синим светом уже вертелась-мелькала «мигалка». Перед «рафиком», положив на рули белые краги, сидели на мотоциклах затянутые в кожу регулировщики военной автоинспекции.

На первом автобусе, как и на двух остальных, торжественно красовалась надпись, обозначающая их принадлежность: «Почетный караул». И недосыгаемо важничавшие мотоциклисты, и «рафик» с «мигалкой», коим надлежало открыть и держать перед автобусами «зеленую улицу» — так, чтобы до самого места напрямик, без остановок, через кишачие пешеходами перекрестки, — и сами автобусы, в окнах которых мелькали штыки и знамена, — все это придавало колонне особое значение, особый вид. Нет, не простые солдаты выезжали из ворот КПП.

Мотоциклы впереди взревели, дернулись. Поехали.

— Братцы, а ведь мы первый раз за воротами! — на весь автобус выкрикнул Патешонков.

Сдерживая скорость, кавалькада долго петляла переулками, пока не съехала, как бы пятясь, на широкую, окаймленную гранитным парапетом набережную. «Москва! — догадался Андрей. — Москва-река!»

От берега до берега в избытке темных, еще не схваченных льдом вод катилась река, о которой он так много слышал, но которую видел впервые. Автобус нагнал медлительную неуклюжую баржу с белой, свежавыкрашенной рубкой. Баржа, явно отставая, скользнула назад, и снова от берега до берега, от гранита до гранита недвижно блестела вода. И быть может, волжанин, даже наверняка из тех мест парень, сидевший на задней лавочке, не умеряя природного оканья, вспомнив, видно, свою Волгу запел сначала тихо, про себя, а потом, забывшись, во весь голос:

Из-за острова на стрежень
на простор речной волны...

И взвод, разминая застоявшиеся в молчании голоса, обрадовавшись случаю, подхватил, грянул так, что лейтенант Гориков, сидевший впереди, непроизвольно оглянулся. Однако замечания не сделал, и это сразу солдаты отметили — чуть-чуть приглушили голоса для вежливости, но петь продолжали свободно. И вдруг Патешонков, который не отлипал от окошка всю дорогу, опять крикнул:

— Кремль!

И замерла на губах, застыла на выдохе песня; даже «старички», ехавшие по этой дороге, может быть, не первый десяток раз, и те подались вправо: «Кремль!»

Андрей увидел словно бы волшебю вынырнувшую из Москвы-реки легкую, умытую, чистую, как облако, громаду Кремля.

Непривычно было видеть Кремль со стороны Москвы-реки, как бы этой рекой подчеркнутый, словно кто провел по низу прекрасной картины синей маслянистой кистью. А может, и картина-то вся начата вот этой волнистой полоской реки? Чуть повыше брошен серый штришок набережной и выведен зубчатый, сбегаящий каскадами с еще зеленого, под голубыми елями холма узор стены. А еще выше, на пространстве, занятом уже у неба, — снежная, обметенная вековыми вьюгами, удивительно похожая на ждущую старта космическую ракету колокольня Ивана Великого. И золотым пожаром по куполам, по куполам — то выше, то ниже — солнце. Вот оно размельчилось на разноцветные кусочки — как будто радугой застеклили окна Большого Кремлевского дворца. И слышно: еще дрожит, дрожит в остекленном небе набатный гул тяжелых древних колоколов...

Автобус свернул направо, и стройная величавая башня — Андрей никак не мог вспомнить ее названия — заслонила окошко. Боровицкая? Боровицкие ворота? А эти деревья вдоль стены, за чугунной оградой, — Александровский сад?

Опять стена, еще какая-то башня, поворот вправо — и заворчал, зафыркал мотор, попугивая зевак. Приехали.

Вся площадь между темно-бурой громадой Исторического музея и черной металлической решеткой, что вытянулась прямо от башни, огибая Александровский сад, была запружена народом. Но толпу сдерживали легкие переносные ограждения, возле которых, постукивая валенком о валенок, стояли милиционеры. Колонна быстрым шагом бесшумно прошла через распахнутые чугунные ворота в сад и остановилась, выравниваясь вдоль гранитного возвышения.

Стоявший во второй шеренге Андрей сначала увидел только кирпичную стену — высокую, выше макушек елей. Слева выпирала неказистая массивная башня. Но вот подали команду, по которой солдатам-новичкам надлежало выступить в первую шеренгу. Двое перед Андреем расступились, и он шагнул вперед.

Прямо перед ним, шагах в десяти, на возвышении из гладкого, отполированного до сияния мрамора то дрожало, растилалось, приныкая к бронзовой звезде, то взвивалось, вспыхивая, пламя. Андрей вспомнил, что видел его уже — и не однажды — на экране телевизора, только тогда оно было безжизненно-серым, бесцветным. И теплый комочек шевельнулся в груди, подкатил к горлу. Это было так давно, что уже и не верилось, что было. Да-да, в ожидании Вечного огня — вот этого самого — подсаживались к телевизору бабушка и мать. Бабушка говорила про деда, который погиб в ту войну, а где — неизвестно.

А на площадке, возле самого Вечного огня, уже ставили столики, накрытые красными скатертями, — по одному напротив каждого взвода. И было странно видеть их здесь, на граните, почти игрушечными, стоявшими хрупкими своими ножками под могучей древнекаменной стеной.

На скатерти падала крупка утреннего снежка. Да, это был еще декабрь, второй месяц службы.

Командиры взводов — «общевойскового», «летного» и «морского» — вышли из строя, встали у столиков.

— Равняйся! Смирно! — услышал Андрей привычную команду. Но, произнесенная, как всегда, хлестко, она предназначалась сейчас не только строю, а еще кому-то другому, ибо в повелительность голоса впились нотки уважения.

Вдоль строя шел генерал. Блестела на висках проседь, но держался он молодцевато, да и форма — высокая папаха, плотно облегающая шинель, лампасы — красила, молодила генерала. Он дружелюбно кивнул командиру роты, повернулся к строю, поздоровался.

— Дорогие товарищи солдаты! — тихо начал генерал, но тут же возвысил голос, как бы примеряясь к тем, кто его слушал.

Все-таки, наверно, непросто было держать речь здесь, у Вечного огня, у Кремлевской стены, на фоне которой даже генерал уже не выглядел таким важным и недосягаемым.

— Сегодняшний день запомнится вам на всю жизнь... Клятву на верность Родине вы даете у могилы Неизвестного солдата, у этого вечного пламени...

Андрею показалось, что генерал в упор взглянул на него. «Не может быть, — вспыхнул он и опустил глаза. — Откуда ему знать про письмо... Но даже если доложили, он ни разу меня не видел, а в этой шеренге...»

— Так пусть же гордятся вами и ваши родители, — донеслось до Андрея. — Мы пригласили их сюда, ваших отцов, матерей, родственников...

«Как хорошо, — подумал Андрей, — как хорошо, что здесь нет матери... Как ей объяснить? Может, меня и вообще не допустят к присяге?..»

Он покосился влево, туда, где по другую сторону Вечного огня робко жалась толпа приглашенных, и не поверил глазам. На самой верхней ступеньке стояла мать, в коричневом своем пальтеце, в повязанном до бровей знакомом зеленом платке. В руке она держала авоську, из которой высывались две бутылки молока и начатый батон. Грузный краснощекий мужчина в распахнутой дубленке нахально протискивался вперед,

заслоняя мать, а она, встав на цыпочки, все выглядывала из-за его плеча, беспомощно скользила по шеренгам глазами.

Казалось, она вот-вот доберется до Андрея, но, перебрав, пощупав лица первых двух шеренг, взгляд матери опять возвращался назад, слепо пыталась она дотянуться до последних рядов и стояла теперь беспомощная и растерянная. Это было как во сне: ни позвать, ни крикнуть. Андрей не имел права даже пошевелиться.

«Наверное, мне не разрешат принять присягу! — вдруг забеспокоился он. — Не разрешат, и все, я же сказал, что не хочу у них...» И Андрей откинулся чуть-чуть назад, одеревенел лицом, изо всех сил стараясь слиться со строем. Пусть не увидит, пусть не узнает мать!

— Звягин! — донеслось издалека.

— Тебя, тебя, оглох, что ли? — сердито подтолкнул Пате-шонков.

— Я! — машинально выкрикнул Андрей.

Чужими, непослушными ногами подошел он к столику, взял лист с присягой и только начал осмысливать первую прыгающую строку, как слева услышал то, чего ожидал и боялся:

— Ан-дре-ей! Андрю-шка!

Перепрыгивая через ступеньки, к нему бежала мать. Почти возле самого столика она поскользнулась и упала бы, если бы подскочивший вовремя майор не подхватил ее под локоть. Словно загораживая от Андрея, повел ее в сторонку, наклонившись к ней, в чем-то убеждая.

— Читайте, — негромко напомнил лейтенант Гориков.

И от этого командирского голоса, от повелительной жесткости в нем Андрей ожил, пришел в себя.

— Я клянусь... — выговорил Андрей и всей загоревшейся левой щекой ощутил взгляд матери. — Я всегда готов...

Он не видел сливавшихся строк.

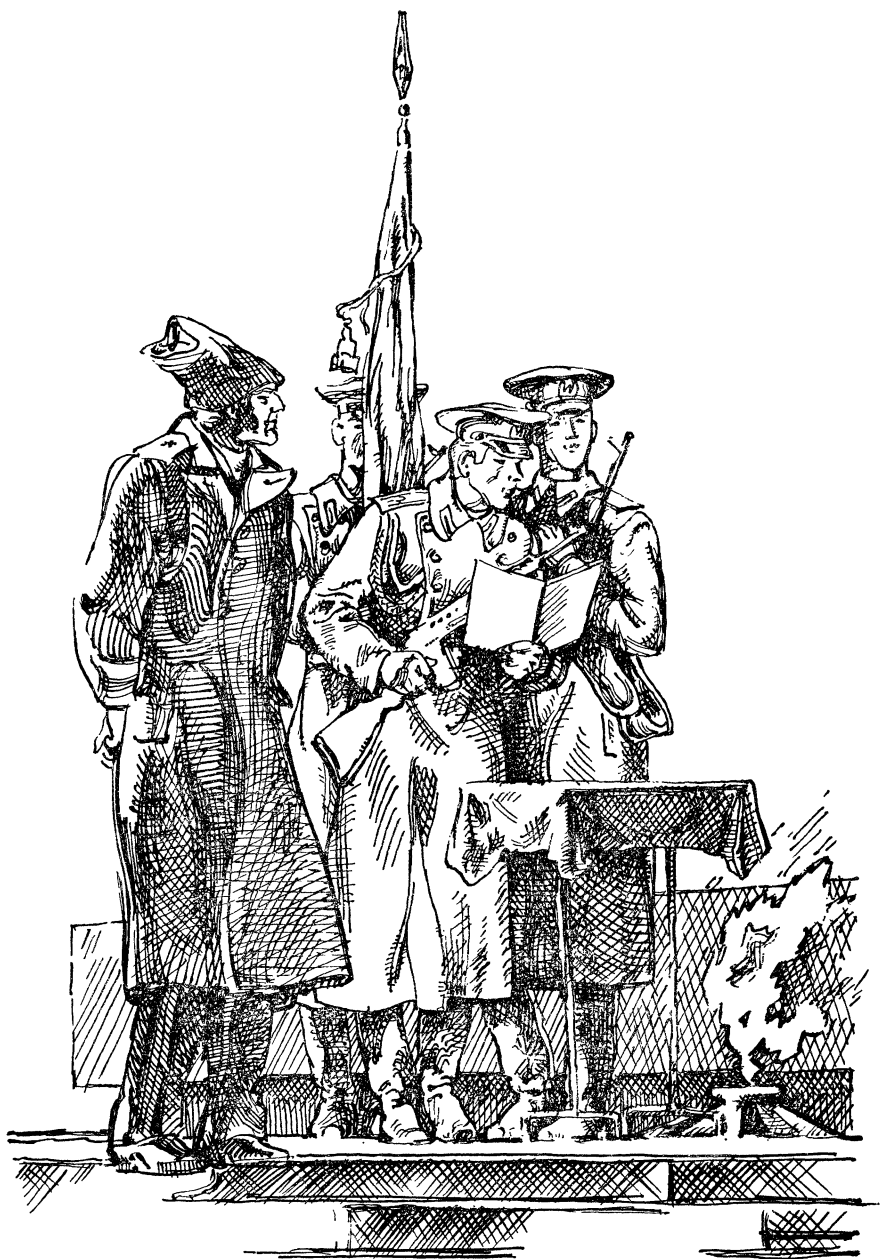
Он не помнил, как вернулся в строй, и, когда наконец отдышался, успокоился, глазами нашел в толпе мать, а она, словно того и ждала, поймала, перехватила его взгляд, помахала рукой. «Ну зачем же она сюда с авоськой, с этим батоном?..» — стыдливо подумал Андрей.

Опять исчезли, точно их сдуло, столики. И генерал — улыбающийся, довольный — подошел к приезжим, что жались у Вечного огня, приглашая их ближе к шеренгам.

А сзади, в березах, уже приподнимал, пробовал учтиво, не вспугивая тишины, свои громкие трубы оркестр.

Снова выровнялись по гранитной черте ступенек. Замерли...

— К торжественному маршу... — распевно скомандовал





командир роты. «...ар-шу-у...» — каменно отозвались вековые стены. — Ма-арш! — взлетел восторженный голос.

И его заглушили, раздробили своим рассыпчатым «ах-х-х!» медные тарелки.

Рота шагнула единым, впечатанным в гранит шагом и замаршировала по прямой, как луч, дорожке к воротам, равняясь направо — на пламя, порхнувшее, дрогнувшее над звездой от этой сотни ударивших залпом сапог.

Напрягая шею, Андрей вытянулся: рядом с генералом, приложившим руку к витому козырьку, стояла, вглядываясь в шеренги, мать.

«Мамка-то! Ну прямо как маршал на параде!» — восхищенно подумал он.

Постепенно сдерживая, смягчая шаг, рота вышла за ограду, остановилась возле автобусов и распалась, смешалась с толпой. Было разрешено перекурить.

Мать уже стояла рядом, словно шла по пятам.

— Вот ты какой у меня... — сказала она и осторожно, одним пальцем потрогала золотистую пуговицу. — В каком же звании, сынок? Что-то форма больно нарядна...

Андрей смутился, потупился.

А мать уже копалась в авоське, совсем как дома.

— Вот бестолковая! — всполошилась она. — Совсем запамятовала. Молочка тебе взяла... Съешь молочка, сынок...

— Да ты что? — оторопел, сконфузился Андрей. — Ты что, мам? — И он в неловкости оглянулся по сторонам.

Словно из-под земли вырос, подошел лейтенант.

«Сейчас скажет, — ужаснулся Андрей. — И про письмо, и про то, как сачковал, не хотел маршировать...»

Но лейтенант козырнул матери, с легким, изящным поклоном произнес:

— Здравствуйте... Варвара Андреевна, кажется?

— Она самая, Варвара, — смутилась мать.

«Откуда он знает ее имя? — удивился Андрей и опять насторожился.

— Хороший у вас сын, — сказал лейтенант. — Привыкает. Мы им довольны.

Андрей зарделся. «Зачем это, к чему?» — подумал он, охваченный внезапной благодарностью к лейтенанту.

— Спасибо на добром слове, — вздохнула мать и счастливыми, повлажневшими глазами взглянула на смущенного Андрея.

Лейтенант опять с улыбкой кивнул и пошел дальше, что-то сказал мужчине в модной дубленке, поздоровался с парнем,

державшим разбухший портфель: брат, что ли, к кому?

Мать все держалась за пуговицу и вздыхала, ни о чем не спрашивая, и, простояв так минут десять, переговариваясь о пустяках, они почти ничего не успели сказать друг другу.

Знакомый командирский голос оборвал разговоры, разъединил толпу:

— Кончай перекур, по машинам!

Солдатам, принявшим присягу, и их родственникам было позволено встретиться вечером всего на полтора часа. Странное чувство испытывал Андрей, прогуливаясь с матерью по казарменному двору. В этом было что-то несообразное. Мать, прилаживаясь к его широкому, огрубевшему шагу, семенила в своих маленьких сапожках по асфальту, который еще вчера был так ненавистен Андрею. Своими шажками она словно примирила сына с плацем. Так, во всяком случае, думал Андрей.

И после, спустя месяц, а потом и годы, он все еще помнил эти легкие, какие-то лесные следы материнских сапожек на белесой поляне, в которую превратился плац под медленным тающим снежком.

6

Правильно кто-то сказал, что на прошлое мы смотрим как с горы на оставленную внизу долину: что ближе к нам, то видится отчетливее, что дальше, то теряется в дымке воспоминаний, и этот тысячеверстный, тысячедневный путь становится для нас зримым, когда остается позади. Теперь Андрей мог бы связать в нечто целое, логически стройное многозвенчатую, разрозненную цепочку событий и поступков, год назад еще неясных, непонятных.

В тягостном полусонном стоянии на вечерней поверке он услышал однажды свою фамилию, повторенную не в привычном списке роты, а отдельно, с особым значением. Интуитивно воспротивясь, он было напыжился, напустил на себя равнодушие, с каким встречал почти каждое замечание, уверенный, что придираются нарочно, как вдруг сбоку жарким, всполошенным шепотом дохнул Патешонков:

— Слышал! Это тебя же! Во встречный строй!

Но окончательно встряхнул Андрея отчетливый завистливый голос Аврусына:

— Во встречный? Звягина? Да у него карабин болтается, как...

Завидовать было чему. Полным признанием готовности сол-

дата к службе в РПК считалось определение во встречный строй, в тот самый строй, которому от имени всех Вооруженных Сил страны доверено торжественно встречать и провожать на летном поле высоких зарубежных гостей. Но чтобы попасть на аэродром, надо было маршировать на плацу не меньше полугода.

Если встречный строй сравнить с отлаженным механизмом, то каждый прибывший в роту солдат, как новая, поставленная на замену деталь, не должен нарушить четкости работы — наоборот, чем незаметнее он ввинчивался, впаивался, тем выше оценивалась его строевая подготовка. Трудности наладки этого механизма усугублялись тем, что он все время, примерно через каждые полгода, частично заменялся, — одни солдаты увольнялись в запас, другие становились на их место; натренированные «старички» привычно выполняли все приемы, новичкам же все давалось с напряжением, их надо было еще притирать и притирать, и делалось это как бы на ходу — рота продолжала нести свою трудную, почетную службу в любое время года, в любой день, в любой час.

Вот эта железная необходимость замены деталей на ходу и выработало свою методику строевой подготовки. Нельзя сразу заменить, скажем, полроты или даже полвзвода. Поэтому молодых солдат вводили во встречный строй по одному, по два. И в свой ряд их ставили так, что новичок оказывался посередине — между опытными, уже знающими все тонкости службы солдатами.

Андрея поставили во встречный строй на три месяца раньше положенного срока.

Да, это была настоящая сенсация ротного масштаба. В душе гордясь и смущаясь, Андрей желал теперь только одного: поскорее попасть «на встречу» и доказать Аврусину, что назначение не «прихоть и волюнтаризм командира», как втихомолку утверждал тот, а заслуженный итог, естественное течение службы.

Его назначили в ряд, где направляющим ходил сержант Матюшин. Помнит он стычку на плацу или делает вид, что не помнит? К сержанту давно уже был «притерт» медлительный и молчаливый солдат второго года службы Плиткин. За Плиткиным вместо уволенного в запас Миронова стоял теперь Андрей — под придиричивым оком Сарычева — дотошного и, как считалось в роте, самого талантливого равняющего.

Всем своим видом, холодными, слегка выпученными глазами, брезгливым поджатием губ (про себя Андрей сразу прозвал его карасем), Сарычев давал понять, что Андрею еще далеко до настоящего эрпэкашника. Словно самим назначением новичка в

строй обидели, унизили лучшего равняющего. У Сарычева была странная манера перемешивать в разговоре русские и украинские слова, хотя вырос он где-то под Воронежом. И это делало особенно едкими и колючими его замечания.

Он так и сказал:

— Ты что же, Звягин, поперед батьки в пекло? — И сам же себе, пренебрежительно дрогнув уголками губ, ответил: — Ну, нехай. Посмотрим, який ты строевик...

Андрей пришел на первое тренировочное занятие в тот день, когда рота готовилась к встрече великого герцога. Плац не успевал остыть от шагов, оркестр, едва переведя дух, снова гремел маршами. Они повторяли заходы один за другим — командир роты оставался недоволен.

Даже Сарычев, который за полтора года службы успел встретить трех премьер-министров, двух королей, двух президентов, одну королеву и одного архиепископа, заметно нервничал: видеть великого герцога ему еще не приходилось.

В перерыве, не удовлетворенный короткой справкой-биографией, напечатанной в газете, Сарычев обшарил всю библиотеку и ничего достойного, отвечавшего его запросам, не нашел.

— О премьерах — две полки, а о герцогах нема, — сокрушался Сарычев.

«Герцог Бекингемский! — вспомнил Андрей. — Да это же в «Трех мушкетерах»!»

«Три мушкетера» были у него в тумбочке. Чувствуя, что непременно сейчас хочет угодить Сарычеву, Андрей сбегал за книгой.

— Вот, — сказал он преданно, — здесь про герцога.

Сарычев находчивость оценил. Рыбьи глаза его потеплели.

— Читай вслух, — проговорил он на чистом русском.

Андрей сразу нашел нужную страницу.

— «...Поправив свои прекрасные золотистые волосы, — начал он, — несколько примятые мушкетерской шляпой, закрутив усы, преисполненный радости, счастливый и гордый тем, что близок долгожданный миг, он улыбнулся своему отражению, полный гордости и надежды... В эту самую минуту отворилась дверь, скрытая в обивке стены, и в комнату вошла женщина. Герцог увидел ее в зеркале. Он вскрикнул — это была королева!»

— Так то ж про королеву, — разочаровался Плиткин.

— Пригодится. Читай-читай! — закивал Сарычев.

Матюшин, усмехаясь, сидел рядом, прислушивался.

— «...Анне Австрийской было в то время лет двадцать шесть или двадцать семь...» — продолжал Андрей.

— Старуха... — обронил Плиткин.

— «...И она находилась в полном расцвете своей красоты. У нее была походка королевы или богини. Отливавшие изумрудом глаза казались совершенством красоты и были полны нежности и в то же время величия. Маленький ярко-алый рот не портила даже нижняя губа, как у всех отпрысков австрийского королевского дома,— она была прелестна, когда улыбалась, но умела выразить и глубокое пренебрежение...»

— Это все не в ту степь...— опять прервал Плиткин, по-маргивая светлыми, в коротких ресничках глазками и выражая полное пренебрежение к тому, о чем столь вдохновенно читал Андрей.— Во-первых, герцог у тебя французский, а мы едем встречать другого. Во-вторых, когда это было?

— При Людовике Четырнадцатом... нет, Тринадцатом,— запутался Андрей.

— Герцоги остались те же. Герцог — он и есть герцог,— рассудил Матюшин.

Ему, сержанту, конечно, было виднее, какие они есть, эти самые герцоги.

Матюшин знал вопрос. Успел уже, подковался. Не спеша, как кирпич к кирпичу, выложил:

— Что сейчас это герцогство? Конституционная наследственная монархия. Глава государства именуется великим герцогом. У них эта самая... палата депутатов. А герцог утверждает и закрывает ее сессии, он — исполнительная власть. Министры же вроде советников короны. Между прочим, этот герцог считается у них верховным главнокомандующим...— Матюшин помолчал, что-то припоминая, и назидательно поднял палец: — Учтите, согласно конституции особа великого герцога считается священной и за свои действия он ни перед кем не отвечает.

— Вот это права... А сколько за них платят?

Матюшин и это знал:

— Великий герцог ежегодно получает на содержание от государства триста тысяч золотых франков. Эта сумма специально оговорена конституцией. Не считая ассигнования герцогскому двору...

— Во цэ гарна должность! — присвистнул Сарычев.

— Сударь,— раздался вдруг над ними голос,— не угодно ли вам будет взять метлу и подмести окурки?

Лейтенант Гориков — и откуда только появился! — насмешливо смотрел на Андрея.

— А почему, ваше величество, вы думаете, что это я разбросал?

«Ваше величество» — это была, конечно, дерзость. Андрей рисковал, но лейтенант принял юмор.

— Соблаговолите выполнить приказание! — повторил он.

«Ему понравился мой ответ», — с гордостью за свою выходку подумал Андрей и кинулся за метлой.

Делом одной минуты было смахнуть окурки в бачок. Приставив метлу, подобно карабину, к ноге, Андрей отвел ее вправо — по-старинному «на караул» — так стражники приветствовали у входа во дворец королей.

— Ваше величество, ваше приказание выполнено!

— Вы бы лучше с карабином поупражнялись, — нахмурился лейтенант. Но сквозь серые щелочки глаз, как тогда в вагоне, блеснула ирония. — Покажите, Сарычев... Тройной!

Тройной? В уставе Андрей такого приема не помнил. Сарычев с удовольствием взял карабин, примкнул штык и, скомадовав самому себе «На кра-ул!», неуволимым движением перевернул карабин вокруг себя — только молния стальная мелькнула слева-справа — и замер.

— Тройной с обхватом! — выдохнул после паузы Сарычев. Он посмотрел на Плиткина, на Матюшина, на лейтенанта, ища одобрения, и вдруг повернулся к Андрею: — Повтори!

Андрей смутился. Даже и пробовать не стоило личный, изобретенный Сарычевым прием. И тут вспомнил: в школе только он один из всего десятого «Б» мог по всему коридору, балансируя указкой на пальце, пронести на ее кончике кусочек мела.

Андрей огляделся, нашел камешек, положил на мушку карабина и, скомадовав себе «На пле-чо!», пошел по плацу строевым шагом, глядя прямо перед собой. Он нес карабин «свечкой», по всем правилам, так, чтобы тот не касался плеча, и все ждал щелчка об асфальт. Рука пружинила, немела, но камешек каким-то чудом держался. Андрей повернул назад, вплотную подошел к Сарычеву, приставил карабин к ноге и снял с мушки камешек.

— Браво, Звягин! — хлопнул ладонями лейтенант и, взглянув на часы, пошел на середину плаца.

Это панибратское, штатское «браво», прозвучавшее в устах командира как поощрение, Андрея смутило.

— А шо? Притираешься... — обронил Сарычев.

И по грубовато-небрежной фразе этой Андрей понял, что принят в ряд встречного строя окончательно.

— Становись! — разнеслось над плацем.

Тренировка «к встрече» продолжалась. Все повторялось, все начиналось сначала, но в этом надоедливом однообразии уже прояснялась для Андрея какая-то осмысленность, какая-то цель.

Оркестр, как заводной, играл марш, а они ходили и ходили

по плацу, равняясь на воображаемых высоких гостей, — в колонне по четыре, единым, как вдох и выдох, шагом почти двухсот сапог. Взмах рук, секундная задержка на сгибе, у груди, и до отказа — назад. словно и впрямь какой-то особой точности механизм отлаживал командир роты. Или нет, он был еще больше похож на скульптора, который из живой, движущейся массы солдат лепил лишь ему видимое произведение искусства.

— Рыжов, корпус вперед, иначе карабином задираете полу! Смагин, не опускайте подбородок! Лямин, где у вас рука? Чернов, груди!

Командир роты бежал за ними, обгонял, отставал, приглядывался, отступая на шаг-другой, и снова приближался, иногда даже дотрагивался до солдата: ему нужен был тот самый строй, на который с восхищением заглядываются и приезжающие, и отъезжающие зарубежные гости.

— Стой! И не шевелиться!

Никто и не шевелился! Только сердце не останавливалось: бух-бух — в груди, бух-бух — в висках.

— Вольно!

Нет, недоволен был командир, вроде бы даже расстроен.

— Направляющие не равняются в затылок, карабины болтаются. Карабин — это же... Вся красота в карабине. Надо держать «свечкой». Даже чуть-чуть наклонить вперед. Чтобы он парил! И весь строй — не топот, нет! Представьте, вы летите... На взлете... Под марш...

Походил вдоль строя, остановился напротив.

— Звягин! — проговорил командир, как бы извиняясь: не хотелось, как видно, делать замечание. — Звягин, вас касается. Что главное в строевой? Руки, ноги, голова. Три составные. Их надо координировать в движении. Вы же увлекаетесь рукой — забываете про ногу. Потом, подбородок... Палочку, что ли, подставлять? А рот? Не закрывается? Возьмите спичку в зубы...

Сарычев глядел понуро, чувствовал себя виноватым. И Матюшин с Плиткиным стояли, устало опершись на карабины, как на посохи. Вот тебе и новичок!..

Может, они и не об этом думали. Но Андрей так понимал, так расшифровывал их молчание.

«Не возьмут! — холодел он от предчувствия. — Не видать мне встречи! Вот будет радость Аврусину!»

И снова раздавалось на плацу бряцание карабинов, и снова командир шагал старательнее солдата, держа шашку «под эфес». И гремел, задыхался в ликующем марше оркестр.

Не торопясь, с державным достоинством шел к роте высокий гость, сам великий герцог в лице лейтенанта Горикова.

Лейтенант серьезен и глазом не моргнул. Взглянул небрежно на отдавшего рапорт командира роты, кивнул и пошел дальше — вдоль строя.

Андрей чуть не приснул. Лейтенант — герцог... Но почему остальным не смешно? Замерла, сдвинулась плечами рота, только глаза справа налево, справа налево, в лицо, вслед гостю.

И опять: «Разойдись!» И опять: «Становись!»

Нет, они не просто ходили. Строй РПК был занят сейчас очень трудной, кропотливой, непостижимой для Андрея по своему смыслу и результату работой. Печать какой-то тайны лежала на лицах солдат, отсвет чего-то только ими видимого, но скрытого от него. Почему уже тогда, к вечеру, после занятий, Андрей сам понял, что еще не годится для встречного строя?

Лейтенант Гориков сказал то, о чем Андрей уже догадывался:

— Отставить, Звягин, в следующий раз... Понимаете, чуть-чуть... Отмашка...

О, этот торжествующий взгляд Аврусуна, оказавшегося рядом!

После отбоя в синем полумраке дежурного света всплыло лицо Сарычева.

— Трэба шлифовать шаг... — дружески подмигнул он.

Только через два месяца Андрея взяли на первую в его жизни встречу. В Советский Союз с официальным визитом прибывал президент великой державы.

7

— Расслабьтесь, расслабьтесь... — озадаченно хмурился Гориков, прохаживаясь вдоль шеренг, построенных на плацу за два часа до выезда на встречу.

И правда, все как будто застыли, онемели; приклады карабинов не ощущались в деревянных ладонях, колени, словно стянутые обручами, не хотели гнуться. Перетренировались, переходили — всю неделю с утра до вечера маршировали на плацу.

— Это всегда так! — чуть подтолкнул Андрея локтем Матюшин. — Как перед первым раундом, а потом на аэродроме разогреешься — хоть выжимай.

Во время перекура Гориков остановил торопливо пересекавшего плац Патешонкова — до сих пор во встречный строй его еще не поставили, и он, чудак, надулся, даже глаз не поднял, обижался.

— Тащите-ка гитару... Для разрядки, — попросил Гориков, скрывая в голосе вину. В самом деле, почему бы и Руслана не взять на встречу?

И может, мелькнула у парня робкая надежда, обернулся мигом.

Руслан чиркнул пальцами о струны легонько, подражая барабану, пристукивал ладонью о деку, и Андрей сразу узнал песню о встречном строе. Полгода назад в роте этой песни не было и в помине. И хотя Руслан почему-то категорически скрывал свои авторские права, все знали, кто поэт, кто композитор.

Андрей перехватил взгляд лейтенанта — как тогда в вагоне, Гориков влюбленно смотрел на отбивающие такт, как бы живущие сами по себе, хозяйничающие на струнах пальцы Руслана: «Шаг, шаг — шаг, шаг...»

Солдаты страшной той войны
Под обелисками уснули,
И, заучив пароль весны,
Их внуки встали в карауле.

Хотелось подпевать, шагать и разглядеть то, что видел только Руслан своим устремленным мимо, вдаль, поверх окруживших его солдат, взглядом.

Под снегом стой, под ливнем стой!
Бессменной будет должность эта.
На летном поле замер строй,
На теплом полюсе планеты.

Тонкие, но крепкие пальцы снова дробно промаршировали по деке, отбивая ритм припева, грустные глаза Патешонкова осветились изнутри радостью, и теперь не лейтенант Гориков, а он, гитарист, был главным в солдатском кругу, таким главным, как если бы шел впереди роты.

Мы в мир зеленый влюблены,
А если что случится, если...
Смотри: солдаты той весны
В шеренгах юности воскресли.

...Словно спохватившись, вспомнив о чем-то перед самым отбоем, Гориков повел Андрея в канцелярию роты.

«Опять нотация?» — раздраженно поежился Андрей, хотя точно знал, что на встречу президента поедет обязательно: списки почетного караула были утверждены.

В канцелярии Гориков молча достал из шкафа альбом с

красочной, витиеватой надписью «История РПК» и, сразу же раскрыв на нужном месте, положил перед Андреем.

— Посмотрите,— сказал Гориков.— Знаете эту фотографию?

Андрей взглянул на большой, почти во всю страницу, туманный снимок, наверное увеличенный с оригинала: шеренга наших солдат в длиннополых шинелях и шапках-ушанках, какие носили во время Великой Отечественной войны, стояла, держа винтовки в положении «на караул», перед высоким и грузным, чуть сутуловатым человеком в козырькастой морской фуражке. «Адмирал, что ли, какой-то?» — подумал Андрей.

Ничего особенного на снимке не было, но в глаза бросались уж слишком открытые и добродушные лица наших солдат. У одного из них, курного, толстогубого и, наверное, смешливого, как Линьков, вид был такой, словно это его самого встречал с почетом проходящий мимо шеренги гость. Знай, мол, наших! Но нет, гость был высокий не только ростом. Глаза этого человека в морской фуражке не были видны, вернее, виднелся только краешек глаза, но по всей фигуре, наклоненной к строю, чувствовалось, что наших солдат он рассматривает пристально и придиристо.

— Третье февраля сорок пятого года,— сказал Гориков.— Ялтинская конференция. Глава английского правительства Черчилль обходит строй почетного караула...

Теперь что-то бульдожье, цепкое, желающее схватить мертвой хваткой мелькнуло в лице этого человека. И странно-незащищенными показались лица солдат. Особенно вот этот, толстогубый,— сейчас мигнет, не сдержится и улыбнется...

— Обратите внимание, это Черчилль... Прямо забирается, лезет в глаза... Когда его спросили, почему он так внимательно разглядывал наших солдат, он сказал, что хотел разгадать, в чем секрет непобедимости Советской Армии...

Те же самые три автобуса, на которых ездили принимать присягу, нетерпеливо ринулись в распахнутые ворота и, сразу набрав скорость, покатали вслед за манящим синей мигалкой «рафиком». Андрей взгрустнул, вспомнив, как полгода назад вот так же ехали они принимать присягу, и по асфальту змеилась поземка, и деревья серебристо пушились инеем, а сейчас по веткам тополей уже бежали зеленые огоньки листьев. Он вспомнил мать, беспомощно стоявшую в коричневом пальтеце на мраморных ступенях возле Вечного огня, авоську с

нелепо торчавшими из нее бутылками с молоком и отвел глаза, проглотил застрявший в горле соленый комок.

Они опять долго петляли по переулкам, пока не выбрались из душной, уже затянутой сизым маревом Москвы на шоссе. Колеса зашелестели по асфальту приглушеннее, и стало слышно, как отскакивают от шин камешки, дробью ударяясь в пол под ногами. В автобусе было непривычно тихо, запевала-волжанин сидел повернувшись к окну, никто не спорил, как обычно, а ротные острословы словно забыли все байки и анекдоты. Всматриваясь в сумрачные, озабоченные лица, Андрей подумал, что все они чем-то напоминали виденных им однажды в кино сосредоточенных парашютистов-десантников в самолете перед прыжком.

Автобусы остановились во дворе, огороженном низким, почти игрушечным металлическим заборчиком. Было разрешено минут десять — пятнадцать перекурить, но все сразу столпились возле молоденькой, в белоснежной куртке газировщицы. Андрей тоже с удовольствием принял из ее мокрой, порозовевшей от сиропа руки шипучий стакан и отпустил штатный, довольно избитый комплимент.

Не все успели напиться. Знакомая, заставившая тут же бросить в урну недокуренные сигареты, команда снова поставила в строй.

Командир роты, туго перетянутый лоснящимися ремнями, с тяжелой шашкой на боку, в сапогах с негнушимися лакированными голенищами, казался выше ростом, еще большую строгость придавала лицу излишне надвинутая на лоб фуражка, тень от козырька падала на глаза. Острый, ошупывающий его взгляд перебрал каждую пуговицу, пробежал по перчаткам, прочертившим вдоль шеренг белую линию, по носкам сапог, образовавшим на асфальте черную безукоризненную ровную зубчатку.

Он ничего не сказал — все было сказано вчера, на контрольной репетиции, — и только лишь для порядка, а быть может, для того, чтобы размять голос и размягчить скованность, опять овладевшую шеренгами, подал две-три команды.

В небе прогремел самолет. Потом все стихло. И теперь уже турбинный, свистящий звук заматался ниже и ниже...

— Напра-во! Шагом марш! — скомандовал майор тихо, с незнакомой учтивостью, и все поняли: самолет приземлялся тот самый, с президентом.

Они прошли шагов тридцать, и за углом двухэтажного дома открылось летное поле.

Андрей никогда в жизни не бывал на аэродроме и удивился

необычайно широкой, какой-то даже степной его пустынности. Если бы не бетон, тянувшийся почти до горизонта, и не вертолет, устало опустивший лопасти и подреывающий невдалеке, то и впрямь — степь.

Ветер гулял здесь свободно, и двое впереди Андрея сразу же схватились за фуражки, затянули на подбородках ремешки.

Семенящим, сдержанным шагом вышли на бетонную полосу, слева разноцветно полыхнули флажки — за свежевыкрашенным барьерчиком молчаливо колыхались толпы встречающих.

— Стой! — приглушенно скомандовал командир, и Андрей заметил, что рота встала точно поперек взлетной полосы. Невдалеке сверкнул стеклами аэровокзал.

Самолет появился неожиданно. Посвистывая, словно отдуваясь, он серебристо возник рядом, несомо скользнул по бетону и, мелко подрагивая крыльями, подрулил к шеренгам — это они обозначили черту, возле которой ему надлежало остановиться.

Андрей так и не понял, то ли они подошли, подравнялись под крыло, то ли крыло само нависло над ними.

К дверце «боинга» лихо подкатил, принял трап с наброшенной на ступени красной ковровой дорожкой.

Командир роты встал спиной к самолету, лицом к шеренге, скомандовал «Смирно!» и сам замер, ловя звуки приближавшихся от аэровокзала шагов.

«Как же он увидит, когда надо командовать?» — забеспокоился Андрей, заметив группу подходивших к самолету людей.

Советский руководитель приблизился к трапу ровно в тот момент, когда открылась дверца и в ней показался президент великой державы.

Толпа сомкнулась, вспыхнули блицы фотоаппаратов, застрекотали кинокамеры.

Выждавший еще с минуту и угадавший каким-то особым чутьем нужный момент, майор скомандовал:

— На кра-ул! — и одновременно с этими словами, повернувшись кругом, с шашкой «под эфес», строевым шагом, оттягивая носки сапог, пошел навстречу отделившимся от толпы советскому руководителю и зарубежному президенту.

Прогремевший «Встречным маршем» оркестр словно запылулся на полуфразе.

— Господин президент!

«Господин президент!» — откликнулся эхом аэродром.

— Почетный караул от войск Московского гарнизона в честь вашего прибытия в столицу Советского Союза город-герой Москву построен!

«Построен! ...строен!» — восторженно повторили стены аэровокзала.

«Он совсем не волнуется! Спокойно отчеканивает каждое слово», — с чувством внезапного уважения, граничащего с любовью, подумал о майоре Андрей.

Отсалютовав шашкой, майор повернулся влево, уступая президенту дорогу, и Андрею почудилось, будто далеко-далеко прозвенели струны Руслановой гитары.

Президент шел прямо на него...

Плавнo закруглился горизонт, и Андрей почувствовал, что стоит на земном шаре. Рядовой роты почетного караула, солдат первого года службы Андрей Звягин от имени и по поручению Советского Союза встречал президента великой державы. И не струны Руслановой гитары, а фалы, тонкие тросики звенели на высоких мачтах, и флаги двух держав трепетали, плескались на упругом ветру.

И уже не на аэродроме, а во чистом поле стоял богатырь Андрей — в кольчуге и шлеме, с сияющим мечом в руках, — и прямо на него, не сводя ошупывающих, с зеленоватым блеском глаз, шел высокий гость из-за тридевяти земель, из-за тридевяти морей. Андрей держал оружие не в том положении, с каким встречают врага, а «на караул», в жесте дружелюбия и мира, и вся земля советская стояла за ним — и родной поселок с наклоненными над прудом вербами, и Кремль с негаснущими звездами, и мать в своем присыпанном блестками снега пальтеце, и майор, затянутый в сияющие ремни, и даже вот тот, с государственным именем, знакомый по портретам человек, — все стояли за Андреем, надеясь на него, наблюдая, как он поведет себя: дрогнет ли, опустит ли глаза...

Президент подошел совсем близко. «Ну взгляни, взгляни на меня», — задал Андрей и чуть не отпрянул, вспыхнул — президент смотрел на него.

Он смотрел недолго, лишь секунду-другую, но задержалась, отдалась в сердце пристальность его взгляда с затаенным где-то на самом дне зеленоватых глаз любопытством.

Наклонившись к переводчику, президент с улыбкой что-то сказал.

Переводчик, молодой, расторопный парень, повернулся к советскому руководителю:

— Господин президент говорит, что очень доволен выправкой. Отличные парни, превосходный караул.

— Я благодарю гостя, — усмехнулся советский руководитель. — Переведите ему, что было бы очень хорошо, если бы на всей земле остались только роты почетного караула.

— О да! О'кей! — просиял президент и приложил руку к груди.

Они пошли дальше, к толпе, зовущей их трепетом разноцветных флажков.

Остальное Андрей припоминал потом смутно, словно это происходило во сне или с кем-то другим: гулко, в самую душу бил барабан, а рота, перестроясь в колонну по четыре, шла — нет, не шла, летела над бетонными плитами в торжественном марше, и Андрей все опасался, что вдруг у него лопнет ремень или задержется зацепленная карабином пола шинели; но в те несколько секунд, пока белесо мелькнуло лицо президента, ничего не случилось, по команде «Вольно», раздавшейся глухо, как из-под земли, рота глубоко вздохнула, сразу спружинила шаг, и Андрей опомнился уже возле курилки.

— Ну что? С крещеньцем, Андрюха!

Переполненный нахлынувшей благодарностью, чувством необыкновенной праздничности, Андрей только и смог спросить:

— Как?

— А ничего, гарно, як в балете! — засмеялся довольный Сарычев.

«Какие они славные — и Матюшин, и Сарычев, и... командир роты», — подумал Андрей, радуясь этому знакомому и новому чувству только что с успехом сданного экзамена. Он не знал, что главный экзамен ждал его впереди.

8

— А ты везучий, Звягин, — завистливо вздохнул над тарелкой борща Патешонков. — Надо же, встречал президента... На что Аврусин — и то не взяли. Теперь ты эрпэкашник. Огни и воды и медные трубы... Тебе майор не родня, случайно? Или другая протекция?

Матюшин и Сарычев, сидевшие напротив, одним движением («И тут как на плацу!» — усмехнулся Андрей) придвинули тарелки с макаронами и словно по команде нацеленно тюкнули вилками — тирада Руслана не произвела впечатления. Молчал и Андрей, хотя подначка друга польстила.

Сарычев поклевал вилкой по донышку опустевшей тарелки — и когда только успел! — нахмурился, поводил бровями.

— Воды и медные трубы — оно, конечно... А шо до огней, то трэба разжуваты...

Андрей поднял от своей тарелки глаза:

— То есть?..

— Перевожу, — серьезно пояснил Матюшин, и в его мягкий голос прокрался жестковатый, знакомый по занятиям на плацу командирский холодок. — Сарычев имеет в виду Вечный огонь... Вот когда постоишь у могилы Неизвестного солдата, тогда будешь полный солдат РПК...

«И что особенного? — с неприязнью подумал Андрей. — Что они все кичатся этим постом? Ну, час стоять, четыре бодрствовать... Так это же сплошное удовольствие — в центре Москвы, в Александровском саду. Как говорится, на людей посмотреть и себя показать...»

Он вспомнил строгую нарядность площадки возле Вечного огня, серебристо-узорчатые, как на морозном стекле, кружева и иней на гранитных ступенях, жарко струящееся, журчащее пламя над прикопченной бронзовой звездой; от этого пламени подтаивало вокруг, хотя морозец тогда был знатный. Но присягу-то они принимали в декабре, а сейчас май, и там небось как в парке — трава, листья, цветы.

— А кто все-таки там лежит? — осторожно спросил Андрей, опять представив ту площадку, как бы просевший мрамор ниши, черную, в серых блестках, глухую, но совсем не похожую на кладбищенское надгробие плиту. Наоборот, чем-то жизненным, привычно светлым, как в дворцах метро, веяло от этого мрамора. — Кто там, как вы думаете? — повторил Андрей.

— Неизвестный солдат, — сдвинул брови и немигающе глядя куда-то мимо тарелки, проговорил Сарычев. — Неизвестный. Матюшин отложил ложку.

— Его в шестьдесят... по-моему, в шестьдесят шестом похоронили под Кремлевской стеной, — произнес он с таким видом, как будто сам лично присутствовал на похоронах. — На бронетранспортере привезли из-под Крюкова. И наш караул сопровождал...

— В шестьдесят шестом? — переспросил Андрей и вспомнил однажды виденное, но давно забытое.

Кто-то из ребят принес в школу две ржавые, осыпающиеся темной окалиной гильзы, алюминиевый портсигар со слипшейся, будто оплавленной, крышкой и полуистлевший помазок для бритья — каких-то несколько волосинок кисточки, зажатых в почерневшей медной ручке. Принесенное было найдено в обвалившемся старом окне, но больше всего Андрея поразили тогда не разговоры о владельце этих предметов, смутные предположения о его гибели, приглушенно возникшие тут же, а сами гильзы, портсигар и помазок, нелепо и странно, как свидетельства с другой планеты, лежавшие на учительском столе. Даже нет, не гильзы, будто еще источающие острый запах пороха, и не пу-

стой, смятый, как папиросная пачка, портсигар — Андрей не мог отвести глаз от помазка, быть может за час перед боем касавшегося живых щетинистых щек. Что-то необъяснимое, несправедливое, не соответствующее логике заключалось в том, что помазок ну если не жил, то все-таки существовал на этом свете, тускло поблескивал медной кругловатой, как груша, ручкой, из которой выглядывала, словно прорастала, рыжеватая кисточка, а человека, хозяина этой вещи, уже не было на свете...

— Он погиб под Москвой... Понимаешь, погиб.— Сарычев заговорил быстро, горячо, словно в чем-то убеждая и самого себя.— Там же страшные бои были... Восьмая гвардейская Панфилова, танкисты Катюкова, кавалеристы Доватора... Они не пустили врага к Москве...

Матюшин, все это время сидевший задумчиво, твердо произнес:

— В Александровском саду он за всех похоронен... За всех известных и неизвестных... Они помолчали. Почему-то не хотелось притрагиваться к компоту, хотя вот-вот должна была прозвучать команда «Встать». Второе отделение, сдвинув пустые тарелки и кружки на край стола, нетерпеливо поглядывало на дверь.

— У него ведь и мать и отец еще живы...— с грустью проговорил Патешонков, потянувшись за фуражкой.

— Возможно,— согласился Матюшин, и хмурое лицо его разгладилось воспоминанием.— Нам сверхсрочник рассказывал, уже уволился... Он тогда солдатом был в нашей роте, в почетном эскорте шел. Помнишь, Сарычев? (Сарычев помнил, кивнул.) Они же тогда от Белорусского вокзала до Александровского сада сопровождали гроб... Строевым шагом, с карабинами, по улице Горького... Народу — тьма, по тротуарам — оцепление. А напротив «Маяковской» какой-то дед прорвался — и клафету... «Мой,— говорит,— мой сын!» — и все... Ему и так и сяк — ни в какую! Пристроился и шел за лафетом до самой площади...

— А потом какая-то женщина...— напомнил Сарычев.

— Да-да... Многие были в черных платках... Как будто знали, что по улице Горького...

— А вы сами-то стояли у могилы? — спросил Андрей с робким, но уже родившимся в душе решением.

— Я — три раза,— с несвойственной ему горделивостью сказал Матюшин.

— А я — два,— скромно обронил Сарычев.

И тут они словно отдалились, какое-то непонятное отчуж-

дение отодвинуло этих двоих, стоявших на посту у Вечного огня и, значит, знавших нечто такое, что было недоступно Андрею и Патешонкову.

— Помнишь того, с тюльпанами? Ну, который в старой гимнастике приходит?

— Как же... Он сначала обойдет пилоны — и по цветку: Ленинграду, Бресту, Волгограду. А еще, когда мы в паре с тобой стояли, старушка положила кусочек булки и крашеное яйцо...

— Кусочек кулича, — поправил Матюшин.

Матюшин и Сарычев, сидевшие рядом, как будто перенеслись в другое измерение, как бы в иную плоскость бытия, невидимую Андрею и Патешонкову. Вот так в полумраке зрительного зала на лицах, выхваченных голубым лучом и как бы им осеребренных, отражается происходящее на экране.

— А в тот раз, — обращаясь теперь не только к Сарычеву, но и к Андрею, к Патешонкову, все оживляясь, проговорил Матюшин, — подходит мужчина, весь в медалях. Отцепил одну и положил рядом со звездой...

— Это многие делают, — подтвердил Сарычев. — А старушку видел? Как одуванчик, седенькая, при мне минут двадцать на коленях простояла...

— Тяжкое дело, — сказал Матюшин, опять помрачнев. — Самый тяжелый пост...

— Так в чем же все-таки трудность? — недоумевая спросил Андрей.

Матюшин и Сарычев переглянулись, и оба посмотрели на Андрея как на человека, которому битый час объясняли очевидное и понятное.

— Рота! Встать! — раздался голос лейтенанта.

Все оставшееся после обеда время Андрей мучительно раздумывал над услышанным. «Старички», конечно, важничают, задаются. Но тут было и другое, что Андрей давно подметил, но никак не мог себе объяснить. Он ясно видел: солдаты, чей срок службы перевалил за первый год, вели себя так, словно действительно обладали очень важной, зашифрованной от новичков тайной. И правда, для чего бы это они старались — набивали на пятках мозоли, в кровь сбивали прикладами руки, — только для того, чтобы поровнее пройти?

Но самой большой, непонятной, призрачно мерцающей в пламени Вечного огня тайной было окружено гранитное возвышение возле древней Кремлевской стены.

Кто же это говорил? Кто же это говорил, что в двенадцать часов ночи к Вечному огню приходят на проверку все неизвестные солдаты?..

«Я должен там стоять. Должен. Обязательно», — сказал себе Андрей. И спохватился — до Девятого мая оставались считанные дни.

Каждый вечер, в час, отведенный для личных надобностей, уже целое отделение тренировалось возле специального макета могилы Неизвестного солдата. И четыре смены, назначенные в почетный караул, готовил не кто-нибудь, а Матюшин.

Сооружение из фанеры мало чем напоминало гранитные ступени, а Вечного огня и вообще не было, и всякий раз, проходя мимо, Андрей немало дивился, с каким старанием солдаты выполняли строевые приемы.

«Артисты! — восхищался он. — Ну прямо артисты! Это надо же так сыгратся!»

Он долго присматривался к длинному и тощему Лыкову, который заступал в почетный караул впервые, хотя и прослужил в роте больше года, и ничего выдающегося в его движениях и поворотах не обнаружил.

«Пожалуй, и я так смогу!» — подумал Андрей и попросил у Матюшина разрешения встать очередным в следующую пару.

— Попробуйте, — без воодушевления позволил Матюшин.

Все силы, все, чему успел научиться за эти месяцы, Андрей как бы переместил в руки, перебрасывающие карабин, в ноги, шагающие в такт разводящему.

С первого захода по команде «Стой», обозначенной стуком приклада об асфальт, у него не совсем синхронно с напарником получился поворот, и это секундное несовпадение не ускользнуло от Матюшина.

— Резче! — поправил он. — Резче! Вы же у могилы Неизвестного солдата, Звягин...

Он разрешил Андрею еще заход, и, кажется, получилось — замечаний не было.

— Ну как, товарищ сержант? — спросил Андрей.

Матюшин, не оборачиваясь, вцепившись взглядом в другую замершую по его команде пару, сказал:

— Неплохо. Только вы не о том, о чем надо, думаете, когда идете...

— А в принципе? В принципе?

— В принципе подход и отход правильные, — уклончиво ответил Матюшин.

«Я же не артист, чтобы перевоплощаться», — обидевшись на сержанта, подумал Андрей.

С затаенной надеждой вошел он в кабинет командира роты. Гориков тоже еще не ушел, сидел на привычном месте — возле книжного шкафа.

«Поддержка с фланга», — обрадовался Андрей и не успел открыть рта, как майор, встав из-за стола, предупреждающе поднял руку, перебил.

— Я видел, все видел в окно, — сказал он. — Молодец Звягин, отлично...

— Ну так... — забыв, что стоит перед командиром, совсем по-штатски развел руками Андрей и улыбнулся.

— Рано вам еще... — с обесоруживающей ласковостью произнес майор.

— Как рано? — смутился Андрей. — Я уже умею! Вы же видели... — И вытянулся, прижал руки, стараясь казаться выше.

— Не-льзя... — упирая на «не», проговорил командир. — Это высшая честь, Звягин... Понимаете? Высшая.

«Он мстит за письмо министру», — обозленно подумал Андрей и уже повернулся, пошел к выходу, как вдруг на полшаге был остановлен голосом Горикова:

— Минуту, Звягин! Товарищ майор! Может, его под знамена?

Андрей обернулся.

— Хорошо, — сухо согласился майор. — В порядке исключения.

9

На встречу ветеранов прославленной дивизии в почетный караул у боевых знамен командир роты назначил Звягина, Пате-шонкова и Сарычева. Старшим шел Матюшин. Под его сержантским попечением они должны были доехать на метро до Центрального парка культуры и отдыха имени Горького, там найти у входа отставного полковника, одетого в штатский серый костюм. Еще одна отличительная примета — красная повязка на левом рукаве. Полковник и проведет их к месту встречи ветеранов — на летнюю эстрадную площадку возле Зеленого театра.

Народу было — не протолкнуться, но с краю массивной колоннады они сразу увидели того, кто им был нужен; отставной полковник оказался довольно еще молодым на вид, может, оттого, что пострижен был «под бобрик», как боксер, и эта короткая, ершистая прическа словно бы умаляла авторитет его сплошной седины. Он обрадованно, как будто давно

их знал, кинулся навстречу, пожал, крепко потряс руки и топорливо повел за собой по красноватой, посыпанной кирпичным крошечком дорожке в глубь парка.

Всюду — по дорожкам и аллеям — расхаживали, сидели на скамейках пожилые люди, принаряженные, как на праздник; встречались мужчины в старых, застиранных, вылинявших гимнастерках, а кое-кто облачился даже в полную парадную форму времен войны, которая была уже не по плечу — топорщилась, казалась слишком тесной.

То тут, то там раздавался радостный вскрик — и пожилые, солидные люди, позванивая гирляндами орденов и медалей, сверкавшими на пиджаках, бежали навстречу друг другу, кидались в объятия.

Непонятное было ощущение — в этом парке, исхоженном тысячь ног, расчерченном на скверы и газоны, пронизанном аллеями и дорожками, в этой пестрой, раскрашенной круговерти люди искали друг друга, как в дремучем лесу. И чтобы они обязательно встретились, почти на каждом повороте и перекрестке была установлена стрелка-указатель, на ней значились названия армий, дивизий и полков. И в этом тоже было что-то невероятное, словно парк культуры и отдыха вдруг оккупировали несметные воинские части и скрытно в нем расположились.

Одна из таких стрелок с названием гвардейской дивизии привела их на открытую эстрадную площадку. Все лавочки — от первой до последней — уже были заняты точно такими же пожилыми людьми, какие встречались на пути сюда. Они сидели тихо, в ожидании неторопливо и негромко переговариваясь. Отставной полковник завел солдат за эстраду, поманил за собой.

Темно-красное полотнище, кое-где порванное и уже истлевшее, словно подпаленное по краям, тяжело развернулось на отполированном древке, и Матюшин ловко его подхватил, когда отставной полковник, видно не рассчитав силы, чуть было не уронил, высвобождая одной рукой из чехла.

— Сарычев — знаменщиком, Патешонков и Звягин — ассистентами, — тут же распределил обязанности Матюшин, передавая знамя Сарычеву.

Тот привычно взялся за древко, потянул вверх-вниз, попробовал знамя на вес, чтобы угадать, как удобнее нести, и, перекинув полотнище влево, встал, приготовился, ожидая глянув на отставного полковника.

— Пора! — сказал полковник и помахал кому-то в глубине эстрады; тут же щелкнуло, зашипело в репродукторе, и сверху

обрушилась, загремела песня: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой...»

Сарычев отлично знал весь порядок, весь ритуал. Выйдя из-за ограды, он не стал подниматься кратчайшим путем на сцену, а обошел сначала всю площадку — до последних рядов — и только потом по проходу начал возвращаться назад. Андрей шел слева от него, изо всех сил стараясь попадать в ногу, стиснув зубы — почему-то дрожал, отвисая, подбородок. Идти было неудобно — слишком узок оказался проход, да к тому же все встали, близко толпились, мешали идти.

Сцена тоже была полна. За накрытым красным столом стояли люди в штатском и военном, и, хотя лица сливались, Андрей почувствовал, что все смотрят на них, несущих знамя. Он почти не слушал команд, которые отрывистым шепотом подавал Сарычев. Стараясь попадать в ногу, они поднялись по ступенькам и встали за столом президиума в глубине сцены.

Андрей вгляделся. Народу собралось уже много — все места были заняты, кое-кто даже стоял, прислонившись к ограде. Но больше всего Андрей удивился как бы исходящему из передних рядов металлическому мерцанию — никогда он еще не видел так много орденов и медалей.

От зрительного зала Андрея отделял президиум — в двух шагах теснились, горбились спины, и невольно бросалось в глаза, как много собралось вместе седых людей. И было что-то трогательно-смешное в том, что люди эти, с одышкой одолевавшие ступени, грузно занимавшие стулья, называли друг друга Петями, Вовами, Сережами. Словно они по-своему, по-стариковски дурачились, вспоминая давнишнюю, детских лет, озорную игру.

Но вот со своего, как видно, председательского места поднялся тощий, узкоплечий мужчина, сутуловато, вопросительным знаком наклонился над столом, пощелкал пальцем по микрофону, что-то сказал. На худой шее розовато проступили пятна. В микрофоне скрипнуло, зашуршало, и голос стал слышнее, отчетливее.

— Вот посмотрю я вперед, — покашливая, сказал тощий мужчина и повел перед собой рукой, — посмотрю в зал, и кажется: как было нас много, так и осталось. А ведь это не нас, не нас... Незнакомые все лица. Зрителей, значит, больше...

Забулькал графин. Тощий мужчина отпил глоток и обернулся к президиуму. На какие-то секунды обернулся, и Андрей сразу заметил: на стареньком кителе — орден Ленина, три ордена Красного Знамени и медалей — сплошной слиток.

— А посмотрю назад, — осевшим голосом продолжал муж-

чина, — посмотрю назад — ребят наших все меньше и меньше. На первой встрече, в пятьдесят пятом, восемнадцать человек сидели в президиуме, а сейчас — десять. Только за этот год троих потеряли. А ведь придет день, когда кто-нибудь из нас и в зале-то останется один...

— Когда-нибудь вообще никого не останется! — заворочался на стуле прямо перед Андреем полный, с блестящей лысиной мужчина.

— Вообще ни одного участника войны, — уточнил профессорского вида старик в очках.

— Участник войны — понятие растяжимое. Всем досталось. А рабочий — не участник, по-вашему? Ну-ка, постой полсуток у станка с пустым животом... Да еще под бомбами...

— Правильно. Вот я и говорю, все военное поколение сходит на нет...

— А как же иначе — диалектика...

— Диалектика — оно верно, а вам не кажется, что вместе с человеком умирает и его время? Что самое главное в нашей биографии? Война...

— Вы хотите сказать, что вместе с последним участником войны умрет и память о войне?

— В какой-то степени — да. То, что останется в книгах и фильмах, — это уже вторичное, так сказать, отраженный свет. Одно дело — смотреть по телевизору фильм о блокадном голоде и попивать чаек с пирожным, а другое — самому делить на шестерых стограммовый кусочек хлеба. Одно дело — лежать под бомбами, а другое — читать про бомбежку под уютным торшером...

— Так затем и страдали, чтобы детям жизнь досталась посветлее и потеплее...

— Не спорю. А все же спасибо хотелось бы услышать и от правнуков. Будущая-то жизнь... рождена вчерашней смертью...

Председательствующий постучал по графину карандашиком — услышал спор этих двоих, — и они замолчали и сидели, насупившись, делая вид, что слушают выступавших, но, наверное, что-то мучило их обоих, потому что мужчина профессорского вида, не выдержав, опять заговорил:

— Вам не приходило в голову, что память поколений работает, как трансформатор? Главным образом понижающий напряжение. А хотелось бы с повышением.

— Но ток-то все равно бьет... — Лысый усмехнулся. — Вы же помните гражданскую войну, хотя родились в год ее окончания.

«Нет, пожалуй, лысый больше похож на профессора», — подумал Андрей.

— Так мы договоримся до того, что помним Бородинское сражение, — хитровато блеснул очками второй мужчина.

— А что? Помним! Люди уходят вроде бы поодиночке, а получается — целыми поколениями. Поротно и побатальонно, выполнив на этом свете свою боевую задачу... А знамена... — Лысый поискал глазами, повертел головой и вдруг обернулся к Андрею: — А знамена оставляем вот этим...

Андрей залился краской, опустил глаза.

Коренастый мужчина, едва выглядывающий из-за трибуны, рассказывал о каких-то пэтэрах, стрелявших по танкам, о том, как, переправившись через реку всем батальоном, они остались в живых на том берегу лишь втроем — и тут выяснилось, что третий не кто-нибудь, а вот этот самый лысый, минуту назад доказывавший свою причастность к Бородинской битве. Трудно было поверить, что эти люди, отяжеленные возрастом, бросались под танки, переплывали ледяные реки, бежали к рейхстагу по смертоносной площади. Андрею казалось, будто они рассказывали не о пережитом, а о прочитанном или виденном в кино.

Его взгляд намагниченно соприкоснулся со встречным из зрительного зала. Подавшись вперед, похожая на старенькую учительницу женщина во втором ряду с двумя блеснувшими на кофточке медалями долго не сводила с него глаз, но, приглядевшись, Андрей понял, что она смотрит как бы чуть-чуть мимо, и догадался, что ее интересует знамя. Она словно прошупывала, перебирала каждую складку и даже как будто шевелила губами, пыталась прочесть вышитую на знамени надпись; наверное, это было очень трудно — женщина щурилась и все больше высовывалась над плечами сидевших в первом ряду.

«Что это она?» — удивленно подумал Андрей.

А женщина, вдруг вскрикнув, вскочила с места и бегом бросилась к сцене. Споткнувшись, перескочив две ступеньки, она кинулась к знамени и, с глухим стуком упав на колени, схватила бахромистый край полотнища, прижалась к нему губами. Андрей услышал рыдание. Он хотел наклониться, помочь встать и уже было нагнулся, но что-то остановило его, и, цепенея от неловкости, от несуразности положения, в котором оказался, Андрей остался стоять как было положено по инструкции, по стойке «смирно».

Зал оледенело молчал. Молчал и сбитый с толку очередной оратор. Председательствующий подошел к женщине, взял ее под локоть, помог встать и, с неловкой улыбкой о чем-то спросив, усадил рядом.

— Товарищи! — сказал он, постучав по графину карандашиком. — Продолжим заседание. Ничего особенного. Просто человек узнал свое знамя...

Андрей вспомнил то, что по пути сюда замечал лишь мимолетно. Указатели воинских частей, расставленные в парке, вели не просто к полкам и дивизиям, а к знаменам. Ну да, к знаменам. Он же видел, как они вспыхивали, рдяно светились среди деревьев. Люди искали свои знамена.

И еще Андрей подумал о том, почему эти взрослые, пожилые люди, почти уже совсем старики, не стеснялись своих чувств. Почему им не стыдно слез... И почему эта встреча, такая внешне радостная встреча ветеранов дивизии, чем-то очень похожа на прощание... Да-да... Встречаясь, они и прощаются. Вот не пришли трое, сидевшие за этим столом в прошлом году... А эта женщина?! Что значит — узнала знамя? Когда и где она видела его последний раз? А поколения действительно уходят поротно, побатальонно?

— Продолжим!.. — опять постучал карандашиком председательствующий.

10

Задание командира роты было выполнено, и, прежде чем вернуться в роту, раздобывший Матюшин своей сержантской властью разрешил погулять, поразвлечься полчаса — не каждый день и даже не каждое увольнение удастся попасть в парк культуры и отдыха.

Народу в парке прибавлялось. Толпы, несметные, как после футбольного матча, вливались в арку и, бурля, растекались по дорожкам. Воинские части, расквартированные на эстрадных площадках, в читальных павильонах и просто на зеленых лужайках, с каждым часом получали подкрепление, и уже не один, а несколько оркестров перекликались трубами, и то тут, то там возникающие песни перебивали одна другую.

Немного отстав, Андрей перешел ажурный мостик и влился в толпу, которая в странном, безмолвном любопытстве разглядывала что-то возле прицепленного на куст боярышника указателя стрелковой дивизии.

Андрей протиснулся дальше и увидел посреди толпы девушку. Она стояла, потупив глаза, словно чего-то смущаясь, а когда подняла их, очутившийся совсем близко Андрей успел перехватить ее темный, как ему показалось, с золотистыми искорками взгляд. «Глаза с веснушками», — сразу подумал Андрей, но в этих глазах держалась какая-то очень взрослая дума, не соответствующая скуластенькому, со вздернутым но-

сиком личику. Что-то девчоночье и одновременно мальчишечье было в ней, может, потому, что и пострижена она была «под мальчика» — светлые завитушки, наверное непослушные гребню, проявляли полную непокорную самостоятельность.

Глаза с веснушками словно бы вспыхнули от соприкосновения с человеком, нарушившим неподвижность толпы, и Андрей заметил, как, оживясь, они скользнули по необычной его форме, на мгновение задержались на аксельбантах и тут же словно погасли, потеряли всякую заинтересованность.

И только сейчас Андрей обратил внимание на то, что разглядывала толпа. Девушка прижимала к груди лист ватмана с приклеенной к нему фотографией. Наискось лист пересекала надпись, выведенная синим фломастером.

«Кто помнит?» — прочитал Андрей.

С фотографии, как бы через залитое дождем стекло, смотрел парень в гимнастерке и фуражке, чуть сдвинутой набекрень. Черты лица были размыты, только глаза остались черными, словно проникающими сквозь лист, и с них не слиняла та смешливость, которую много лет назад секундно перехватил и запечатлел объектив аппарата. Парень был примерно того же возраста, что и Андрей, и, если бы не военных времен форма, — солдат из соседнего взвода.

«Кто помнит? — было старательно выведено круглым девичьим почерком. — Рядовой отдельного лыжного батальона 20-й армии Сорокин Николай Иванович. Пропал без вести в декабре 1941 года, под Москвой».

Кто помнит?

Было что-то непонятное, неправдоподобное в этой девчонке, державшей фотографию бойца почти у груди, на ладонях, как держат икону. Было странно видеть девчонку в лакированных, снежно белевших на зеленой шелковистой траве, здесь, в парке, под искрящимся полуденным майским небом. При чем тут фотография? Кто он ей, Сорокин Николай, пропавший без вести где-то под Москвой? Почему спустя тридцать с лишним лет они очутились вместе?

«Наверное, отец, — предположил Андрей и тут же усомнился — не могло быть у этой восемнадцати-двадцатилетней девочки отца, воевавшего в ту войну. Она была, наверное, как и он, пятьдесят шестого, ну, пятьдесят седьмого года рождения.

Андрей хотел спросить ее, но почему-то оробел, смутился, отступил в толпу и стал прислушиваться к разговорам. Толпа приглядывалась, толпа вспоминала.

Рябоватый, в оспинках, как в горошинах, мужчина отставил прямую, негнущуюся ногу, склонил голову, всматривался:

— Сорокин... Сорокин... Был у нас во взводе один — Ванька Сорокин. Ох и наяривал на гармони! Особливо в тот вечер, как будто знал, что последний раз. Под Салтыковкой похоронили. Я потом к его матери заезжал...

Стоявший рядом мужчина в шляпе прищурился близоруко, пыхнул сигаретой:

— Сорокиных-то — их как Ивановых да Петровых. Поди-ка вспомни. А всяко могло быть. Я вот получил пополнение за полчаса до боя и списка-то написать не успел... Какое мне было дело — Сорокин он или Смирнов? Численный состав определил, рассчитал по порядку номеров и — в атаку. А потом восьмерых недосчитался...

И он замолчал, опять глубоко затянулся сигаретой, закашлялся, заморгал: то ли дым глаза ел, то ли никак не мог он простить себя за тот бесфамильный список.

Девушка вздрагивала ресницами, чутко ловила эти слова, и темно-карие, — теперь Андрей отчетливо видел, что темно-карие, — с золотыми веснушками глаза ее то освещались внутренним светом, то гасли, осторожно перебегая с лица на лицо. Да, она была очень мила и даже, может быть, красива, с хорохористыми, какими-то взбалмошными завитками мальчишеской прически. Интересно, долго она еще будет здесь стоять? С этой непонятной фотографией?

Андрей подвинулся вперед, рука сама потянулась к фотографии, и он тихо, чтобы не слышали другие, спросил:

— И вы Сорокина, да?

Он шагнул непроизвольно, неосознанно и тут же об этом пожалел. Девушка медленно обернулась на его слова, с тем выражением раздражения, уже знакомым Андрею, когда любой вопрос воспринимается лишь как желание завязать разговор; ее глаза подернулись холодком. Девушка отвернулась.

— Вы меня не так поняли, — покраснев, пробормотал Андрей. — Я просто хочу вам помочь. Я могу...

Зачем он это сказал?

Любопытство и надежда мелькнули в ее глазах, и, неприступные за минуту до этого, они широко раскрылись и впустили Андрея. Девушка свернула ватманский лист в трубку и медленно, как бы приглашая Андрея, пошла по дорожке, ведущей к выходу из парка.

— Он вам кто? Дед? — спросил Андрей, пристраиваясь рядом.

— Нет, — с недоверчивой улыбкой приглядываясь к Андрею, сказала она.

— Тогда... дядя...

Теперь засмеялись ее глаза. Ей, наверное, нравилась эта загадка. Завитушки на лбу подпрыгнули, она кокетливо покачала головой:

— А вот угадайте!

— Зачем гадать? — деловито проговорил Андрей. — Нужны данные, и все...

— Данных почти нет... Это же последний его адрес: лыжный батальон. А вы что, — резко обернулась она, — имеете к этому отношение? Вы где служите? Эти аксельбанты... Кто носит такую... — она поискала слово и рассмеялась, — гусарскую форму?..

Андрей вспыхнул, но не подал виду, что оскорбился.

— Я служу в роте почетного караула, — неожиданно прямо сказал он. — И мы имеем возможность... Разрешите, спешу данные...

— Это что же за рота? Ах да! — Поджав губы и нарочито нахмутив брови, но не скрывая насмешки, она всплеснула руками: — Встречаете королей и герцогов? — И сразу же посерьезнела: — Пишите!

Андрей с готовностью достал записную книжку, отлистал страничку с буквой «С».

— Почему вы решили, что я на «С»? — спросила она с удивлением.

— Я не вас, я его... — пробормотал уличный Андрей, показывая на ватманскую трубку.

— А я так и поняла, — кивнула она, дрогнув завитушками.

— Так как? — настороженно, боясь, что его стратегический замысел, уже разгаданный, сорвется, спросил Андрей.

— Вот, — сказала девушка, — Настя... Можете позвонить... — и назвала номер телефона.

— Спасибо, — проговорил Андрей. За что он сказал спасибо?

К ним гуськом подходили Матюшин, Сарычев и Патешонков.

— Вы куда провалились, Звягин? — начальственно спросил Матюшин, но, взглянув на девушку, осекся и сказал мягче: — Пора ехать в роту!

— До свидания, — произнес Андрей, желая сейчас одного: чтобы Настя осталась, чтобы не пошла с ними — все-таки у Матюшина вид был параднее да и сам он куда симпатичнее.

— Жду, — подала легкую руку Настя. — До свидания...

До конца аллеи они молчали. Первым не выдержал Матюшин:

— За такие штучки два наряда дают... Мы всесоюзный розыск хотели объявлять.

Андрей не ответил, все ощупывал в кармане записную книжку.

— И когда успел закадрить? От хлопец!.. Поделится бы опытом! — с одобрением посетовал Сарычев...

Поздним вечером, выбрав момент, когда опустел кабинет командира роты, Андрей тенью проскользнул в дверь, подскочил к телефону и набрал уже заученный наизусть номер.

Два гудка он ждал. Нет, два с половиной. Кто-то снял трубку там, далеко-далеко, в сверкающем огнями городе, и ее, да-да, ее голос приглушенно вымолвил:

— Алло!..

Андрей затаил дыхание, боясь потревожить микрофон, выдать себя.

— Алло!.. — с беспокойством повторил голос.

Это была она.

11

В казарме ты все равно как на рентгене. Глаза друзей просвечивают насквозь. Линьков шмыгнул носом хитровато:

— Послушай, Звягин, ты, никак, в спортлото выиграл?

И сам себя Андрей чуть с головой не выдал. Однажды на вечерней прогулке он, не обладавший особым музыкальным слухом, без команды, опередив запевалу, вдруг затянул: «Не плачь, девчонка, пройдут дожди». Рота, растерявшись на минуту от такой инициативы, нестройно подхватила, и, когда, выдохнув припев, снова прислушалась, лейтенант Гориков неожиданно подбодрил новоявленного запевалу:

— Продолжайте, Звягин!

Андрей осмелел, взял увереннее, тоном пониже, и эхом ударилось в забор, заметалось в такт вечерним усталым шагам: «Солдат вернется, ты только жди...»

Откуда роте было знать, что Андрей пел о Насте и что, заглядывая в уютные огни «гражданских» окон, сиявших над забором, он мыслями был уже в увольнении, рядом с ней.

Они встретились возле метро «Университет» без двух минут одиннадцать. Андрей выскочил в стеклянные двери и сразу увидел Настю: ожидая его, она стояла напротив дверей в синем брючном костюме — похожая и непохожая, совсем другая, чем тогда, в парке. Что-то незнакомое появилось в ней, и в то же время она стала словно бы проще, доступнее. Андрей уловил почему — Настя не держала в руке ватманского листа с фотографией солдата, и они как будто освободились от кого-то

лишнего, мешавшего им нормально разговаривать. Почему тогда он так обрадовался, что с ней нет фотографии?

Она, наверное, забыла, подумал Андрей, и очень хорошо, что забыла, потому что и он тоже совсем забыл, ничего не успел узнать. Да и что он мог сделать...

— Вы первый раз на Ленинских горах? — просто спросила Настя.

— Я в Москве-то, можно сказать, впервые, — признался, смутясь, Андрей.

Они молча пошли вдоль прямого, похожего на огромную аллею проспекта — на тротуаре лежал опавший яблоневый цвет, его, наверное, не успевали подметать дворники. Цвет был густой, пушистый и такой свежий и белый, что от него, казалось, веяло острым холодком первого снега. «Как хорошо тут! — думал Андрей. — Лишь бы она не спросила...»

— Мы идем на мое любимое место, — проговорила Настя. — Вы лес любите?

Он не понял, почему она спросила именно о лесе. Может быть, потому, что в это время они проходили мимо молодых, с зеленоватыми стволами, уже подстриженных тополей, сладко пахнувших первой листвой. У тротуара стояла шеренга голубых елей, таких нарядно-торжественных, словно они сами только что притопали сюда из-под Кремлевской стены.

— Вот мы и пришли, — сказала наконец Настя.

Прямо перед Андреем из темно-зеленого, островерхого хоровода елей устремилось к небу, ввинчиваясь в синеву шпилем, знакомое и непривычно близко увиденное здание. Квадратики бесчисленных окон, уменьшаясь, убегали вверх, как точки на светящейся рекламе.

— Узнаете? — загадочно спросила Настя.

— Университет!

— А вот и не угадали, — засмеялась она. — Это же настоящий орган! Правда? Вот те колонны, карнизы, как трубы... разных регистров. А музыку слышите? — Настя приложила палец к губам, помолчала и, не выдержав, рассмеялась: — Вот вам моя тайна. Правда, интересно? Только отсюда, с этого места, можно увидеть университет вот таким...

По аллее из незнакомых, южных, похожих на кипарисы деревьев они вышли к гранитному парапету, возле которого толпилось множество людей, наверное приехавших сюда на автобусах, что с распахнутыми дверцами поджидали рядом.

— Смотрите, — проговорила Настя, отступив, пропуская его вперед, как бы на лучшее место.

Внизу, за сбегаящими с крутого обрыва липами, макушки

которых густо обволокло зеленым дымом листвы, голубела, чешуйчато поблескивала в привольном изгибе Москва-река. Она была здесь широкой, берега перехватил легкий, воздушный полумесяц моста.

Деревья ветвились свободно, не по-городскому, многие из них были уже старыми, но даже самые высокие покачивали верхушками далеко-далеко вниз. От деревьев, от реки Андрей перевел взгляд дальше, и ему почудилось, что он слышит музыку. Как в огромной чаше, окаймленной лентой реки, тысячами, а может быть, миллионами окон сверкал на солнце город. Как будто звездное небо упало и вдребезги разбилось о дома. И Андрей с Настей стояли не на смотровой площадке, а на крыле гигантского самолета, что упруго парил над великим городом.

Над Москвой великой, златоглавою,
Над стеной кремлевской белокаменной...
Из-за дальних лесов, из-за синих гор,
По тесовым кровелькам играючи,
Тучки серые разгоняючи,
Заря алая подымается;
Разметала кудри золотистые,
Умывается снегами рассыпчатыми,
Как красавица, глядя в зеркальце,
В небо чистое смотрит, улыбается.

В сизой дымке Андрей едва различил маковку колокольни.
— А это правда, будто фашисты хотели затопить Москву? — спросила Настя.

Андрей ничего об этом не знал, и сам вопрос показался ему нелепым: как это можно — затопить такой огромный город? Это же целое море воды надо... И зачем?

— Представляете? — не дожидаясь ответа, зябко передернула плечами Настя. — Только бы маковка торчала... Жуть... И весь Кремль под водой...

— А я там присягу принимал...

— Где — там? — не поняла Настя.

— Возле Вечного огня...

Настя резко повернулась.

— В самом деле? У могилы Неизвестного солдата? Ваша рота? Вы стояли там на посту?

— Два раза, — почему-то соврал Андрей. — У нас по очереди...

— Как здорово! — прошептала Настя восторженно. — Вы даже не представляете, как это здорово...

«Сейчас спросит, — смутился Андрей, — о том солдате, а мне совершенно нечего сказать».

— Поехали! — вдруг сказала Настя, схватив его за руку. — Поехали немедленно, тут недалеко. Вы очень нужны одному человеку...

Андрей ничего не понимал. Кому, для чего он понадобился? На гранитном, пригретом солнцем парапете снова встал между ними кто-то третий, и Андрей увидел размытое, словно за мокрым, перевитым струями дождя окном, лицо солдата, чью фотографию держала тогда у груди Настя.

...Они вышли из троллейбуса на Мосфильмовской, и Настя повела Андрея по тропке напрямик — через палисадник, заросший акациями, через детскую площадку с разноцветными скворечнями домиков. Минут через пять они очутились возле длинного, как барак, дома.

Настя уверенно нажала на кнопку звонка и, не услышав ответа, достала из сумки ключ, открыла дверь.

— Вот моя деревня, вот мой дом родной! — весело продекламировала она, пропуская Андрея вперед, и он сразу же споткнулся о приступок — в коридоре, пахнущем свежевывмытыми полами, было сумрачно.

«Коммуналка», — сразу определил Андрей, проходя мимо кухни: вдоль стены теснились три стола, накрытые клеенками и газетами. И чистота в коридоре была коммунальная, подчеркнуто оберегаемая и поддерживаемая, возле каждой двери пестрели разнокалиберные тапочки.

Настя бегло на них взглянула и по ей только известным признакам определила, что тот, к кому они пришли, должен вот-вот вернуться.

— Подождем, не под дождем! — улынулась она извинительно и, пригласив Андрея на кухню, смахнула тряпкой с табурета, усадила возле стола, накрытого новой, еще не запятнанной клеенкой с желтыми ромашками.

«Это ее стол», — догадался Андрей, хотя Насте была бы вроде ни к чему старая, отбитая по краям пластмассовая пепельница в виде охотничьей собаки, устало положившей морду на передние лапы.

Настя поставила на плиту чайник, достала чашки с блюдцами. Голубые подвинула: одну — Андрею, другую — себе, а третью, с еле поблескивающим золотым ободком, старенькую, оставила на середине стола, наверное, для того, кого они ожидали с минуты на минуту.

— Это ведь его сын, — проговорила Настя безо всякой связи. — Помните? На той фотографии... Он-то меня и послал в парк. Сам уже еле ходит... «Неси, — сказал, — покажи... Может, кто признает».

— А он вам... кто? — спросил Андрей.

Настя ответила не сразу. Налила в две чашки чай, села рядом и сказала не очень охотно:

— Длинная история. У меня родители в вечных командировках. Что мать, что отец. У отца любимая поговорка: «Не жизнь, а день приезда, день отъезда». А он... Просто сосед. А теперь вроде за деда...

«Странно,— подумал Андрей.— Совсем одна. Дед, фотография... А при чем тут Настя? И при чем я?» И он опять со жгучим стыдом вспомнил о невыполненном обещании.

— Понимаете, какое дело... Он почти уверен, что его сын лежит в могиле Неизвестного солдата... Погиб где-то недалеко от Крюкова... Или в Красной Поляне... В общем, неизвестно где, но там... И вот Кузьмич внушил себе, что именно его сын под Вечным огнем... Больше двадцати лет искал могилу. И — ничего, ни следа. Многие считают его чудачком, смеются. А мне его жаль. Ну кто, скажите, кто докажет, что под Вечным огнем не его сын? Каждое утро Девятого мая я вожу его туда... Раньше ходил сам... Каждый день...

Хлопнула дверь, в прихожей раздались шаги. Андрей обернулся.

Прислонясь к дверному косяку, щурясь от встречного света, на них смотрел, поблескивая очками, щуплый, небольшого роста старик в поношенном, с коротковатыми рукавами пиджаке. Зеленая байковая рубашка опрятно застегнута на верхнюю пуговичку. Он уже успел переобуться и стоял в растоптанных суконных тапочках, слегка косолапо отставив ногу. Старик долго приглядывался — с улицы слепило, наверное, как ранней весной.

— Здравствуйте, молодой человек, — с доброй усмешкой проговорил наконец старик, и Андрей с неловкостью ощутил на себе любопытно-придирчивый, изучающий его взгляд.

— Это тот самый Андрей, — привстала Настя. — А это Кузьмич, — повернулась она к Андрею, и в ее голосе послышалось желание, чтобы они сразу же подружились, понравились друг другу. Настя торопливо налила чаю старику.

Пригладив редющие волосы, старик неторопливо присел рядом, взял чашку, подержал в ладонях, как бы согреваясь.

Очки блеснули совсем близко, и Андрей увидел в упор глянувшие на него из глубокой, родниковой прозрачности стекол увеличенные, расширенные голубоватые глаза.

Старик как будто смотрел на него со дна чистой реки.

— Так, значит, в роте служите, в этой самой?

— В роте почетного караула, — с удовольствием подтвердил

Андрей. Но ему чем-то уже не нравился этот старик, вкрадчивым взглядом рассматривающий каждую пуговицу, каждую складку на его мундире.

— Он, оказывается, стоял у Вечного огня! — с гордостью за Андрея, за нового своего знакомого, сказала Настя.

— Как? У самой могилы Неизвестного солдата? — не поверил старик, и голубоватые глаза его под стеклами очков расширились еще больше.

Он опять тем же цепким, но теперь обрадованным взглядом пробежал по Андрею — от погон до сапог, — улыбнулся, нахмурился, снова улыбнулся и обмяк.

— Ах ты, раскудря моя рябина... Да что ж вы раньше-то молчали?

Перелил чай из чашки в блюдечко, подержал немного, остужая, и вылил обратно в чашку — не давали ему руки покоя, не знал он, куда их девать.

— Значит, в роте почетного караула... — как бы с новым удивлением пробормотал Кузьмич. — Видел я, видел, как стоите... Ладно, красиво. И форма опять же...

Он хотел что-то добавить, но, наверное, не нашел слова, только крикнул, махнул рукой и взглянул на Андрея с еще большим уважением и интересом.

— Сколько ж смена?

— Час, — небрежно ответил Андрей.

— И в жару, и в холод?

— И в жару, и в холод. В зависимости от метеоусловий могут быть изменения...

— Так-так. — Старик отхлебнул чаю, закашлялся.

И было заметно — о чем-то другом, очень важном хотел он спросить Андрея, но почему-то не решался.

Настя смотрела на обоих с ожиданием.

— Вот что мне скажи, — проговорил старик, осторожно и, очевидно, для доверительности перейдя на «ты». — Как там у вас, в роте, полагают... Кто в могиле-то?

Из-под сведенных, как от боли, бровей, в каком-то мучительно неразрешимом вопросе на Андрея опять глянули, как будто со дна реки, глаза. Он смутился, заворочался на стуле.

Но старик не дал ответить.

— Я, конечно, понимаю, — тихо, сожалеюще произнес он. — Как не понимать... Неизвестный солдат — это, так сказать, памятник всем погибшим — известным и неизвестным («И Матюшин то же говорил!»). И огонь зажгли, чтоб наши души греть... Ну а все-таки... Ведь там... — И старик отодвинул чашку, сдвигая пальцами небритые щеки и снова пронзил Анд-

рея тем же немигающим взглядом. — Там ведь не вообще солдат лежит, а конкретный... И имя у него есть, и фамилия...

И тут стало слышно, как тикает будильник на подоконнике.

— А я вот все думаю, — убежденно, словно боясь, что ему не поверят, проговорил Кузьмич, — я думаю, уж не мой ли Колюшка там лежит... А, солдат?

Андрей растерянно молчал. «Что сказать? Неужели этот старик...»

— Там неизвестный, — пробормотал Андрей. — Неизвестно... Понимаете, неизвестно кто...

Глаза Кузьмича подернулись холодноватым отчуждением.

— Как это неизвестно? — незнакомо-скрипучим голосом отозвался он. — Это вам неизвестно... А нам известно все!

— Я не знаю... Что я? — пожал плечами Андрей, повернувшись к Насте и ища у нее сочувствия.

— И напрасно не знаете! Надо бы знать! — раздраженно подхватил Кузьмич. — Надо бы знать, товарищ рядовой роты почетного караула, по какому случаю и возле кого стоите на часах! А вы небось красуетесь, любуетесь собой, своими этими, как их... аксельбантами...

— Кузьмич! — с укором перебила Настя.

— Я семьдесят лет Кузьмич, — тотчас сердито отозвался он. И, уже не скрывая неприязни, с усмешкой кивнул в сторону Андрея: — И этот... гусар обещал помочь?

Андрей залился краской.

Чувство стыда, обиды, злости переполнило его. Андрей словно бы потерял дар речи, а когда обрел способность говорить, не нашел подходящих слов.

— Как вы смеете?! — запинаясь, выкрикнул он. — И вообще!.. Еще неизвестно, где ваш!.. Он же без вести!..

Брошенные в горячке эти последние фразы уже было не вернуть, хотя Андрей тут же пожалел о сказанном...

Настя стояла бледная. Она в растерянности переводила взгляд с одного на другого.

— Вот так, спасибо, объяснили, дети мои!.. — нервно засмеялся старик и, схватившись за грудь, закашлявшись так, что на землистом лбу его проступили синие жилы, вышел из кухни.

— Ну зачем вы? — рассерженно прошептала Настя. — Сейчас опять вызывать «неотложку»... А он так хотел вас видеть!..

Андрей, не проронив ни слова, надвинул фуражку и, не попрощавшись, выскользнул за дверь.

От сизого, мелкого дождя, что нудно сеялся по плацу, как нарочно, заряжаясь с утра, набухла шинель, сырой холодной тяжестью наливались сапоги. Но распорядка дня никто не менял, занятия продолжались, рота готовилась к встрече нового именитого гостя. Глядя на мокрые листья клена, прилипшие к асфальту оранжевыми кляксами, Андрей с тоской вспоминал солнечный, удивительно прозрачный в голубизне майский день, когда в парке культуры встретил Настю. Из промозглого серого дня осени все это казалось похожим на сон — и лавочка возле пруда, где они тогда на минутку присели, и сумеречная кухонька на Мосфильмовской, и чашка чаю на клеенке в желтую ромашку. Вслед за этим всплыло сердитое, раздраженное лицо Кузьмича, пронизывающий его взгляд сквозь толстые стекла очков, и снова отдавался в ушах его хриловатый, надрывистый голос.

После глупой, досадной ссоры Андрей с неделю Насте не звонил. Но что-то словно застряло в душе комом, хотелось с кем-то поделиться, он не выдержал, рассказал все Матюшину. Почему Матюшину? Почему не Патешонкову, с которым теперь даже сигареты делили пополам? Да нет же, он не был откровенным с сержантом, просто так спросил: «Мог ли быть тем самым стариком, прорвавшим оцепление на улице Горького, когда хоронили Неизвестного, старик, с которым познакомила меня Настя?»

— Вряд ли, — сказал Матюшин и тут же поправился: — А впрочем, чего не может быть... Вон уже сколько лет перед Девятым мая в роту приходит неизвестно от кого денежный перевод с просьбой купить цветы и возложить к могиле Неизвестного солдата. Ты Настю не проморгай, — похлопал он по плечу. — Такие девчата даже в Москве на дороге не валяются.

Андрей позвонил Насте в пятницу.

— Я слушаю... — настороженно, как бы угадав, кто звонит, произнесла она, и тут же, как только Андрей назвал себя, голос в трубке увял.

— Я очень хочу тебя видеть! — чуть ли не крикнул Андрей, боясь, что она вот-вот положит трубку.

— Зачем? — спросил голос однотонно, равнодушно.

И Андрей осекся, замолчал.

— Не звони, — проговорила она, и частая, прощальная морщинка гудков запульсировала в трубке.

«Не буду больше звонить. В самом деле, зачем? — злился Андрей. — И надо было ввязаться этому старику? Другие, как

люди, запросто знакомятся с девчонками — и никаких тебе обязательств».

Но после отбоя, едва Андрей смежил веки, она опять выплывала из голубого, солнечного того дня, брала его под руку и садилась с ним на лавочку. Зажмурившись крепче, он видел ее глаза с золотыми крапинками и губы, чуть тронутые смущением.

В следующую пятницу он позвонил снова, но телефон ответил редкими, отозвавшимися эхом безлюдности гудками. Потом две недели подряд отменяли увольнение, а дни продолжали маршировать своим стремительным, безостановочным маршем, и Андрей не заметил, как почернели стволами и ветвями сброшившие листья тополя, как всю роту облачили в шинели и на плацу прибавилось работы дневальным — командир не позволял упасть на асфальт даже листику.

Накануне очередного увольнения в город, не дождавшись, когда офицеры отправятся домой, он вошел к командиру роты и попросил разрешения позвонить.

— Кому? — настороженно спросил майор.

— Девушке, — признался Андрей.

Командир на секунду смешался, удивленно пожал плечами и подвинул ближе к Андрею аппарат.

— Только не бросай трубку, не бросай! Я очень хочу тебя видеть! Мне нужно сказать тебе очень важное, очень! — быстро проговорил Андрей.

Трубка молчала.

— Я тут не один, звоню от командира, — пояснил он.

— Хорошо, — ответила Настя. — На Ленинских горах... В четыре часа...

Андрей чуть не сбил с ног дневального.

...Он ее не узнал. В голубом пальто с белым пушистым воротничком — какой-то счастливый зверек уютно прикорнул у нее на плечах! — стройная девушка стояла к нему спиной. Девушка обернулась и оказалась Настей.

«Она простила меня!» — обрадовался Андрей, видя, как за слабым налетом отчужденности уже просвечивают, оживают в глазах золотинки веснушек.

— Куда пойдем? — спросил он как ни в чем не бывало и взял ее под руку, стараясь казаться непринужденнее.

К его удивлению, Настя не отстранилась.

— Ко мне! — пряча улыбку, сказала она.

— Опять к старику?

— Кузьмич уехал в деревню... — И, тряхнув головой, Настя повторила, повеселев: — Поехали, поехали!

В квартире действительно никого не было, знакомо пахнувшие сырой свежестью полы глянцево белели в сумрачности прихожей. Андрей скинул сапоги, остался в носках.

— Вот Кузьмичевы. — Бросила Настя стоптанные шлепанцы.

— Они мне только на мизинец, — отшутился Андрей, не пожелав их надевать.

Настя осталась в коротком платьице, со всеми подробностями очертившем фигуру. Сунула ноги в зеленые остроносые тапочки и сразу стала такой домашней и притягательно нежной, что Андрей едва удержался, чтобы не обнять ее, когда она, освобождая вешалку, коснулась его плечом.

— Будь как дома, но не забывай, что в гостях!.. — засмеялась Настя.

Андрей освоился окончательно — отцепил галстук и, закатав на рубашке рукава, полез за сигаретами: вдруг сильно захотелось курить.

— На кухню, на кухню! — погрозила Настя пальцем и наклонилась к холодильнику, переставляя в нем какие-то банки. — Будем готовить обед!

Она держала в руках пакет с картошкой и стояла вся покрасневшая, вроде бы даже чего-то застеснявшись. Андрей тоже смутился.

— Я не хочу, Настя, честное слово, — зардевшись, проговорил он. — Только что в роте пообедали...

— В роте одно, а дома другое, — возразила Настя.

Она ловким движением откинула волосы, и Андрея колюче, с чуть уловимым запахом не то черемухи, не то сирени задело по щеке — Настино лицо было на расстоянии дыхания. На какое-то мгновение что-то жаркое, пылающее, как от костра, соединило их лица. Настя качнулась смутным пятном, отпрянула, словно испугавшись, дрогнувшим голосом проговорила:

— Иди-ка сюда, я тебе что-то покажу...

Под вешалкой она опустила на колени, выдвинула фанерный ящик и извлекла оттуда пожелтевший газетный сверток. Из свертка показалась тетрадь в темном коленкоровом переплете.

— Вот, читай! — вскинув голову, отбросила прядь волос Настя. — Это Кузьмичева...

— А что тут? — спросил Андрей.

— Садись на кухне и читай, — повторила Настя тоном, каким приказывают детям. — А я буду готовить. Я быстренько...

Андрей машинально раскрыл тетрадь, думая совсем о другом, о том, что сейчас, именно сейчас он обнимет ее. Только сейчас или никогда...

«Начато 1 января 1941 года. Окончено...» За словом «окончено» стояло многоточие.

«Что еще там накатал старик? Вот писатель!» Андрей согнул тетрадь вдвое, вышел и сунул ее в боковой карман шинели.

— Знаешь что,— сказал он, снова протиснувшись в кухню и подходя к Насте,— я потом прочту, в роте, с чувством, с расстановкой...

— Ни в коем случае! — испуганно перебила Настя. — Только здесь... Это же Кузьмичева... его, ну, как тебе сказать...

Андрей подошел к Насте так близко, что она сразу вроде бы онемела и стояла теперь, прислонясь к стене, удивительно беззащитная, доступная.

Кровь ударила Андрею в голову.

«Смелее, смелее!» — приказал он себе и чужими, неподчиняющимися руками обнял Настю за плечи, прижался к ней и уже было потянулся к приоткрытому, такому близкому, незащищенному рту, как тут же отшатнулся, увидев перед собой ставшие вдруг некрасивыми широко раскрытые, изумленные глаза. Задыхающийся от возмущения, неузнаваемо резкий голос пронзил тишину:

— Ты что? Отпусти, слышишь? Так вот ты какой!.. Гуса-а-р-р!

Андрей отступил, попятился. Настя тотчас же перед самым носом захлопнула дверь, еще что-то крикнула, и стало так тихо, как будто за минуту вымер весь дом.

Торопливо, дрожащими руками надвинул Андрей фуражку, схватил шинель и вышел.

«Заколдованный какой-то дом!» — зло усмехаясь, подумал он и решительно зашагал к троллейбусу.

Лишь в казарме Андрей обнаружил в кармане шинели злосчастную тетрадь. Хотел тут же вернуться, но, вспомнив гневное, с изломанными бровями Настино лицо, решил, что перешлет тетрадь бандеролью.

— А ты раненько сегодня! — обрадовался скучающий Патешонков.

— Отстань! — в сердцах отрезал Андрей и пошел в «курилку».

Прижигая одну от другой, он выкурил подряд две «Примы». Тетрадь мешала в кармане, и он вынул ее. Она была такой старой, потертой, как будто ее все время носили с собой. Листы по

краям разлохматились, наверное, выскакивали, и в одном месте кто-то прихватил их черной ниткой. «Ну и что же тут интересного?» — подумал Андрей, небрежно открывая первую страницу.

Сверху крупно лиловыми, удивительно четко сохранившимися чернилами было выведено: «1 января 1941 года» — и подчеркнуто волнистой линией.

«...Все новое, даже снег... Интересно, каким будет этот год? Январь, февраль, март, апрель, май, июнь — шесть месяцев! А там — прощай школа и да здравствует новая жизнь! Нет, он будет прекрасным — год, который так счастливо начался.

Пять минут первого мы с Юркой выбежали на улицу и решили позвонить Ей. Мы решили спросить, кто же все-таки: он или я? Юрка, мой друг, чудесный парень. И ему Она нравится тоже. Но как поделить дружбу и любовь? Юрка сказал: «Давай позвоним!» Как у него все просто — кого выберет! А если не меня? Мы спустились вниз, и в последнюю минуту я струсил, сказал, что звонить не буду. Тогда трубку снял Юрка и попросил к телефону Ее. «Я и Николай — мы любим тебя! — прямо сказал он. — Но ты не можешь любить двоих — выбирай: он или я». Голос в мембране засмеялся, а Юрка сник. «Ты», — сказал он и бросил трубку. «Почему я?» — «Я уверен, — сказал он, — иначе она назвала бы меня». Как я теперь пойду в школу? Как посмотрю ей в глаза?»

«Изобретательные парни», — одобрил Андрей.

Следующая запись от 10 января не остановила его внимания: какие-то заумные, философские рассуждения о смысле жизни, о прочитанной книге. А что же с Ней? Ага, вот!

«18 января. Учился с Ней танцевать фокстрот. В школе открыли кружок танцев. Она пришла как на бал — в голубом платье с белой хризантемой у ворота. У меня левая рука онемела, а правой до талии боялся дотронуться...»

«Ну, это уж он перегибает, — усмехнулся Андрей. — Тоже мне, скромник...»

«А тут, как на грех, кончились патефонные иголки. Все затупились, а я все точил и точил их о батарею и подряд заводил одну и ту же пластинку. «Да хватит вам «Рио-Риту» крутить!» — возмутились остальные. И она до сих пор в ушах: та-ра, ра-ра, ра-ра!.. И кастаньеты».

«1 февраля. В третий раз смотрели с Ней «Веселых ребят». «Как много девушек хороших, как много ласковых имен...» Луч киноаппарата чиркнул ей по макушке, а мне показалось — золотом вспыхнули волосы. «Ты что, с артисткой сравниваешь?» — спросила Она. Чудачка, ты в тысячу раз лучше!»

Дальше строчки были смазаны, размыты, вся страница в лиловых разводах — ничего не разобрать. Две страницы склеились, Андрей осторожно отогнул одну.

«...Сегодня Пал Иванович сказал: «Ну-ка выкладывайте свои планы и мечты». Все опустили глаза, как будто он собирается вызывать к доске.

Первым Пал Иванович спросил Юрку. Тот встал, хлопнул крышкой парты: «Я — в летное. Летчиком буду!» И все на него посмотрели с восхищением, словно Юрка уже слетал через Северный полюс. Но самое ужасное — Она до конца урока не сводила с него глаз.

«Ну а ты, Сорокин?» — спросил меня Пал Иванович. Зачем он спросил, он же знает! И тут кто-то с «камчатки» насмешливо хихикнул: «Лесником!» И Она почему-то покраснела».

«20 февраля. Опять Юрка. Его теперь все зовут Юрка-Чкалов. На вечере мы стояли с Ней, и тут заиграли «Рио-Риту». Я только хотел ее пригласить, вдруг подходит Юрка, кивнул, и Она подала ему руку — на какую-то секунду я опоздал. Говорят, Юрка уже прошел медицинскую комиссию и оказался годным к летной службе».

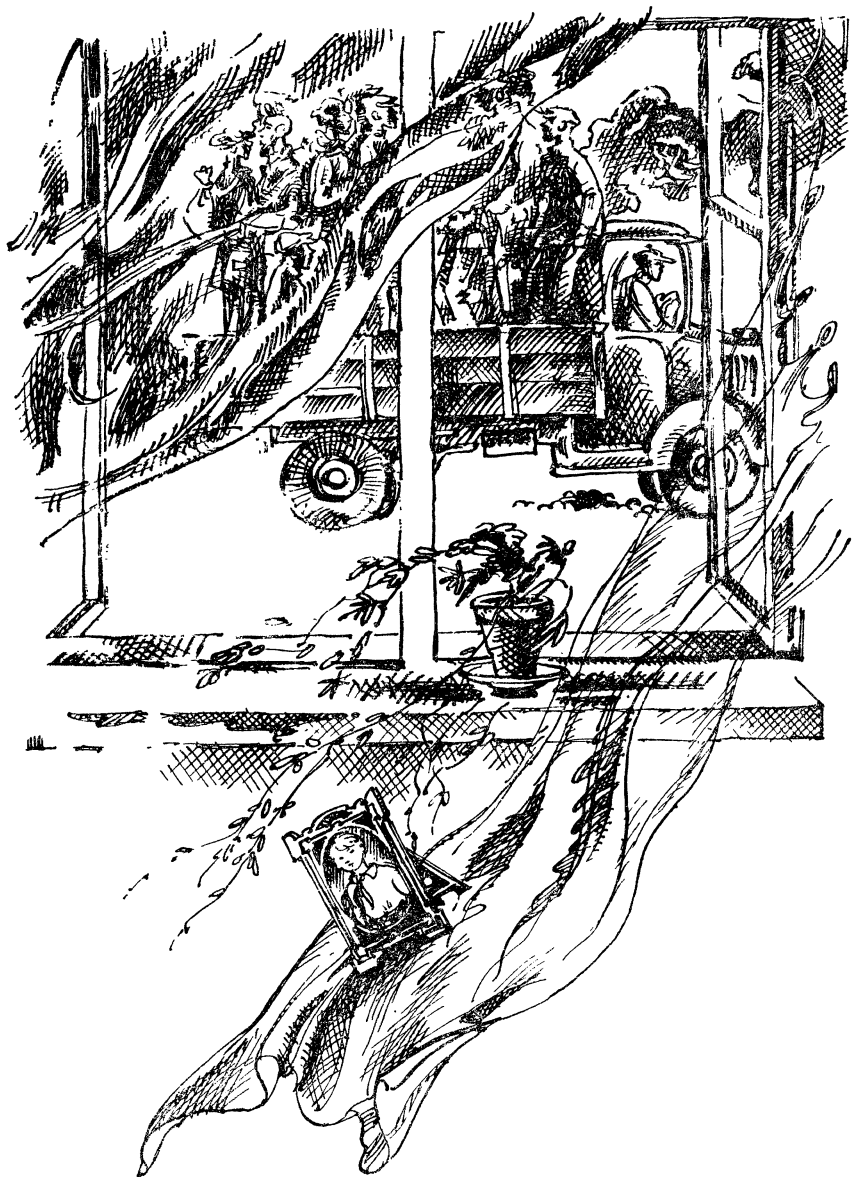
«10 марта. Всем классом ездили за город на лыжах. Сошли с поезда — и куда глаза глядят. Снег хрупкий, рассыпчатый. Последний лыжный снег. Шли, шли, а конца тропы все нет. Заблудились. И тут я узнал то место, где весной еще, кажется в шестом классе, помогали высаживать сеянцы сосны. Они тогда были сантиметров по восемь, не больше — пушистые зеленые цыплята. А теперь, на третий год, не узнать: из почек верхнего побега вырос еще побег, который стал стволом, и еще мутовка веток. Верхушечный побег за весну отрастает на 20—30 сантиметров! Здравствуйте, малышки, как вы подросли! Я сказал ребятам, что рядом Красная Поляна. Все так и ахнули: «Ну и лесник!» А Она и говорит: «Давайте декламировать про лес, кто что знает!» Все знали только одно: «Плакала Саша, как лес вырубали...» А я прочел свое любимое из Тургенева: «Внутренность рощи, влажной от дождя...»

Я прочитал наизусть весь отрывок, до «и украдкой лукаво начинал сеяться и шептать по лесу мельчайший дождь...», и все как будто языки проглотили. Так молча мы и вышли на дорогу».

Андрей отлистал несколько было пропущенных страничек обратно.

«...Я пойду в лесотехнический! Все удивляются, все грезят небесами и морями, а я, по их мнению, хочу сидеть под березами и слушать птичек. Спрашивают, удивляются, откуда, мол,





это у меня. А я и сам не знаю. Только стоит перед глазами, вернее, лежит спиленная береза. И кто-то говорил отцу: «Вот Кузьмич, спилили, а взять не взяли, даже на дрова не понравились. Ну не изверги?» А отец мне: «Смотри, Коля, ветки, как руки, раскинуты по земле. И завянуть еще не успели, видишь, пьют росу и не знают, что уже умерли, что отрублены от корня». Мы стоим, а по вершине березы, по самым мелким и нежным веткам, которые еще вчера доставали до неба и купались в синеве, недоступные грубым рукам, по этой вершине проезжают грязные колеса автомобиля. А отец опять вздыхает: «Если каждый человек убьет по дереву, по одному только дереву...»

«14 апреля. Это непостижимо! Еще вчера мы ходили в кино и потом долго гуляли по набережной. А сегодня... Я никогда не видел Ее такой спокойной и никогда не слышал такого ледяного голоса: «Повтори то, что ты три дня назад сказал Юрию». О чем? Я сначала не понял. «Повтори, что ты сказал Юрию насчет тетки!» Ах да! Я же сказал ему просто так, чтобы он отлип, что мы ночевали с Ней у Ее тетки. От дурного предчувствия у меня подкосились ноги, я завилял: «А что? Ничего такого...» — «Это же подлость, — сказала Она. — Даже если ты только подумал об этом!» И ушла. Я бросился за Ней и начал объясняться, что это я просто так, чтобы больше не приставал Юрий, только из-за этого. Но Она как заледенела. «Все, — сказала Она. — Больше не звони и не приходи!»

«Настя, — с удивлением подумал Андрей. — Вылитая Настя. Она ведь тоже...»

«1 мая. Я позвонил Ей. «Скажи, что я должен сделать! Не веришь? Неужели ты думаешь, что я такой?» Она бросила трубку».

Опять в тетради было что-то перечеркнуто, замазано чернилами. Потом наискось одно и то же слово: «Экзамены. Экзамены». И без числа:

«...Грибов много, ранние, — все говорят, к войне. Мы набрали летних опять, отец их называет говорушками. Где-то возле Красной Поляны разложили скатерть-самобранку, перекусывали, сидели под березой. Вдруг над нами — странный звук, точно кто провел смычком по струнам. Что за чудеса — ни зверь, ни птица... Встали, присмотрелись. А это береза и дуб — словно из одного корня выросли. Береза помоложе, протиснулась меж дубовых ветвей, а когда в толщину раздаваться стала, прислонилась, прижалась к могучему стволу, и дуб вроде бы ее обнял. Ветер дунет, качнет ветвями, и возникает этот звук. Нежный, будто скрипка поет... Мы с отцом так и называли эту пару — «поющие деревья» и решили: будем их проведывать, пока по грибы ездим».

«22 июня. Война! Все рухнуло, все-все. В один час. Мы, не сговариваясь, пришли в школу по привычке. Учителя все должны знать. Ее почему-то не было. Кто-то спросил: «Пал Иванович, а если до сентября война не окончится, как же в институт? Как вы думаете, прогонят их до сентября?» — «Надо прогнать», — сказал Пал Иванович. А мы и не знали, что у него в кармане уже лежала повестка на фронт».

«28 июня. Отца не взяли. Дали бронь. Сказали: «Вы нужны тылу». А мы с Юркой уже пятый день с утра до вечера околачиваемся в военкомате. Какими ничтожными кажутся вчерашние ссоры и обиды! А нас все не берут. И чего медлят? Чем раньше уйдем на фронт, тем раньше вернемся. И до начала учебного года, как в песне, разгромим, уничтожим врага!

Звонил Ей, никто не проходит к телефону».

«2 июля. Ну, вот и прощай, мой дневник. Жалко маму — глаза не просыхают. Отец на полчаса заскочил, обнял: «Береги себя, на рожон не лезь, и нам, и фронту ты живой нужен!» — и опять уехал на завод.

А у меня камень на душе — если б провожала Она! Хотя бы до поворота, до трамвайной остановки! Странно, там все еще стоит мороженщица в белой-белой, мирной, как тысячу лет назад, куртке.

Вчера я дозвонился. «Да-да, я слушаю», — сказала Она. Я сказал, что ухожу на фронт и что люблю Ее еще сильнее и прошу прощения за все. «Ладно», — сказала Она, но, по-моему, не простила».

На этом записи кончались. Дальше шли чистые, тронутые желтизной листы. Андрей перевернул несколько страничек, и на пол выпал конверт — необычный, треугольный.

Треугольник оказался старым письмом, написанным химическим карандашом. Некоторые строки можно было различить лишь по царапинам, оставленным на бумаге. Письмо, видно, много раз читали — складывали и развертывали, — на сгибах бумага уже кое-где осыпалась. Почерк был все тот же.

«Дорогие мои! Извините, что долго не писал. Не было времени, жарко тут у нас, прут, гады. Отец! Сегодня мы уже в тех местах, где наши «поющие деревья». Представляешь?

Ходят слухи, что немцы установили большие пушки, чтоб стрелять по Москве. Будто бы ее хотят разрушить и затопить. Но вы слухам не верьте. Стрелять по Москве прямой наводкой мы не дадим. Писать кончаю. Шофер торопит. Целую вас, мои дорогие, за меня не беспокойтесь. Ваш сын Николай. 4 декабря 1941 года».

«Поющие деревья»... «Поющие деревья», — задумался Андрей, отлистывая страницы. — Ну да, это же возле Красной Поляны. Они же туда по грибы ездили! Где это Красная Поляна? Там его надо искать! Неужели не могли догадаться?»

И тут в самом конце тетради он увидел другой листок, отпечатанный на машинке. Этот листок был свежим, несмятым и незахвачанным, наверное, его очень берегли, как берегут важный документ.

«На Ваше письмо сообщаю, что, по данным отдела учета персональных потерь солдат и сержантов Советской Армии за период Отечественной войны 1941—1945 гг., значится:

Красноармеец Сорокин Николай Иванович, 1922 года рождения, уроженец г. Москвы, призванный в июле 1941 года, пропал без вести в декабре 1941 года...

Основание: вх. № 59935 с-41 г.».

«Они не там искали, — огорчился Андрей. — Это же проще простого: узнать, какие части воевали возле Красной Поляны...» Он вложил письмо и листок в тетрадь и только тут заметил на внутренней стороне обложки довольно свежую надпись, сделанную шариковой авторучкой, другим почерком.

«Она» — Сазикова Люба, Рублевский пер., д. 5, кв. 4». Кто это — Она? Та, с хризантемой? И кто записал ее адрес?

14

Острый луч светился на полу, пересекая коридор. Это из непритворенной двери командира роты. Значит, майор не ушел.

Стараясь не скрипеть кроватью, Андрей встал, натянул брюки, рубашку, нащупал ногами сапоги. В проходе все же задел табурет.

— Вы напугаете мне роту, Звягин, — сонно прогудел дневальный.

Андрей приложил палец к губам и повернул направо, к двери кабинета, приоткрыл ее.

Склонившийся над тетрадями майор повел плечами — наверное, потянуло в распахнутую форточку сквозняком, — поднял голову и непонимающе устремил на Андрея воспаленный от долгого чтения взгляд.

— Что случилось, Звягин? Посреди ночи, без стука...

— Извините, товарищ майор, я знаю... Но до утра не могу, не засну...

В глазах майора мелькнуло удивление:

— Так уж?.. Да в чем дело, наконец?

— У вас про операцию «Тайфун» ничего нет?

Майор откинулся на стул.

— А вам сочинений Фейербаха сейчас не требуется? Идите спать, Звягин. Завтра.

— Мне сейчас нужно, товарищ майор. Я видел, у вас есть... Мы тут уборку делали. Вон в том шкафу...

— Да вы что, в самом деле, Звягин? — с раздражением перебил майор, но что-то в лице Андрея смутило его, он потянулся за сигаретой, мягче спросил: — Зачем вам?

— Мне только на полчаса, я в «курилке» прочитаю и верну, — уклоняясь от ответа, уже смелее попросил Андрей.

Майор, окончательно сбитый с толку, подошел к шкафу, порылся в книгах.

— Берите, ровно на двадцать минут. А то еще всыплет нам с вами дежурный по роте за нарушение распорядка...

Схватив книгу, Андрей пошел было к выходу, но майор остановил:

— Ладно, сидите здесь. — Опять нахмурился: — Нельзя же, в самом деле, нарушать. — И уткнулся в конспекты.

Андрей присел на краешек стула и торопливо начал листать книгу, пробегая по строчкам, отыскивая единственное слово «Тайфун». «Тайфун», «Тайфун»... Вот:

«Девятнадцатого сентября операции было присвоено условное наименование «Тайфун». Сперва генерал Бок, которому Гитлер поручил штурмовать Москву, хотел назвать ее «Октябрьский праздник»...

У Адольфа Гитлера были совершенно определенные планы, касавшиеся двух советских городов — Москвы и Ленинграда. Этим двум городам, которые являлись в глазах Гитлера воплощением всего большевистского, этим двум городам было уготовано нечто особенное. О н и д о л ж н ы б ы л и б ы т ь к а з н е н ы ».

— Нашли, что искали? — теперь уже с некоторым даже участием спросил майор, краем глаза наблюдавший за Андреем.

— Нашел, — не отрываясь, ответил Андрей.

Запись в дневнике генерала Гальдера, 8 июня 1941 года:

«Фюрер исполнен решимости сровнять Москву и Ленинград с землей, чтобы там не оставалось людей, которых мы должны были бы кормить зимой. Оба города должны быть уничтожены авиацией. Танков на это не тратить. Это должна быть мировая катастрофа, которая лишит центров не только большевизм, но и москвитизм».

16 июля 1941 года во время совещания у Гитлера, на

котором обсуждалось, как делить «русский пирог», фюрер снова напомнил о том, что «Ленинград он хочет стереть с лица земли».

А Москва? Что Москва?

Совершенно секретное распоряжение № 44 1675/41 от 7 октября 1941 года, штаб оперативного руководства ОКВ:

«Фюрер вновь решил, что капитуляция Ленинграда, а позже Москвы не должна быть принята, даже если она будет предложена противником... Ни один немецкий солдат не должен вступать в эти города. Всякий, кто попытается оставить город и пройти через наши позиции, должен быть обстрелян и отогнан обратно. Небольшие незакрытые проходы, предоставляющие возможность для массового ухода населения во внутреннюю Россию, можно лишь приветствовать. И для других городов должно действовать правило, что до захвата их следует громить артиллерийским обстрелом и воздушными налетами, а население обращать в бегство.

Это указание фюрера должно быть доведено до сведения всех командиров».

Андрей покосился на майора, на пачку сигарет, заманчиво лежавшую на столе.

— Разрешите закурить, товарищ майор, — неуверенно попросил он.

— Курите, — тяжело вздохнув, совсем удрученный такой назойливостью, разрешил майор.

Андрей жадно затаился, перевернул следующую страницу:

«Итак, по плану фон Бока войска не должны были входить в город. Они лишь должны были создать плотное кольцо окружения, которое проходило бы примерно по линии Окружной железной дороги. Из Москвы решено было оставить три выхода, на которых предполагалось создать контрольно-пропускные пункты... Чины СД должны были контролировать «выход» гражданского населения из Москвы, и на этот счет уже имелось соответствующее указание. Всех женщин, стариков и детей предполагалось «переправлять в транзитные (читай — концентрационные) лагеря». Процедура уничтожения города была готова лишь вчерне: как полагал Гитлер, удобнее всего было Москву затопить, используя водохранилища канала Москва — Волга. С этой целью мастер диверсионных дел штурмбанфюрер СС Отто Скорцени получил специальную задачу: со своим отрядом выйти к шлюзам и захватить их.

9 октября 1941 года один из эсэсовских чинов записал в своем дневнике:

«Фюрер распорядился, чтобы ни один немецкий солдат не вступал в Москву. Город будет затоплен и стерт с лица земли...»

Если учесть, что план затопления рассматривался уже осенью, и если бы все шло так, как намечалось в операции «Тайфун», то весной 1942 года остатки разрушенной и разграбленной Москвы скрылись бы под водой...»

«Так вот о чем спрашивала Настя!» И Андрей совсем отчетливо, как тогда, со смотровой площадки на Ленинских горах, увидел сверкающий розовыми закатными огнями город, похожие на огромные соты дома, малиновый наперсток колокольни Ивана Великого... И это все скрылось бы под водой?

— Товарищ майор, — вкрадчиво, опасаясь рассердить командира роты, проговорил Андрей, — это правда, что в районе Красной Поляны в декабре сорок первого года немцы установили тяжелую артиллерию для обстрела Москвы?

— Да, было... — кивнул майор, внимательно поглядев на книгу, которую раскрытой держал на коленях Андрей. — Для чего это вам: «Тайфун», Красная Поляна... Политбеседу поручили?

— Нет, что вы! — смутился Андрей. — Понимаете, мой знакомый один, вернее, сын моего знакомого, отбивал эти пушки у немцев...

— Так пусть он и расскажет, как отбивал....

— А его уже нет, он без вести пропал, — дрогнувшим голосом произнес Андрей. — Вот вы, наверное, воевали... Объясните, пожалуйста, как это — без вести?

— Я не воевал, — покраснел майор и опустил глаза, как будто был виноват, что не воевал. — Мне шесть лет было, когда началась война...

— До Красной Поляны сколько километров? — догадливо переменял тему Андрей.

— Кажется, двадцать семь, — неуверенно сказал майор. — Что-то около тридцати. — В репродукторе, приглушенном не до отказа, куранты отбили двенадцать ударов, и майор, взглянув на часы, устало потер глаза: — Спать, Звягин, спать. И мне пора, а то на метро опоздаю. За книгой зайдите завтра. В личное время...

Майор встал. Прикрыв дверь, Андрей бесшумно начал пробираться между кроватями. Рота давно спала.

За окном, в его правом углу, роились золотистые звездочки. Это еще не спал, светился редкими окнами дом, который недавно справил новоселье. Это была Москва. Город Москва... Москва — река... Москва — море...

...Что это? Только задремал... Боевая тревога! Андрей натрено- нированно потянулся к брюкам, рука сама нашла ремень... И вот уже ходуном заходила казарма. «Боевая тревога! Боевая тревога!» Не открывая глаз, схватил карабин, столкнулся с кем-то у выхода, нырнул в дохнувшую холодом дверь. «Становись! Бегом, марш!» Куда они побежали? Это что? Ленин- градское шоссе?

По багрово-красному снегу в Москву въезжали солдаты. Фашисты? Да, они, на танках, на мотоциклах, на грузовиках!

«Товарищи! — хочется крикнуть ему. — Как же так? Почему мы не стреляем, не бросаемся с гранатами под танки?»

Но слова застревали в горле, и Андрей стоял молча, вобрав голову в плечи, стараясь не встречаться со взглядами, сверлившими из-под касок толпу. На мгновение в этой страшной толпе мелькнули бледные лица Турбанова, Горикова. Андрей опять безголосо крикнул, потерял их и увидел Настю. Она была опять в синем брючном костюме, нарядная, красивая, и Андрей испугался до дрожи в коленях, что ее сейчас непременно заметят фашисты.

И едва он об этом подумал, как несколько здоровенных солдат, хохоча и повизгивая от восторга, кинулись к Насе, заломили ей за спину руки и на виду у всей толпы начали расстегивать пуговички, крохотные пуговички возле шеи. Настя! Да нет же, это не она... Но кто? В голубом платье с белой хризантемой?!

Кто-то тронул Андрея за плечо, он оглянулся и увидел Кузьмича — необыкновенно спокойного и даже торжественного.

«Стоишь? — насмешливо прищурились за огромными очками его глаза. — Тебе только красоваться в аксельбантах, а мой Николай — вот кто солдат, он им сейчас устроит...»

Андрей кинулся вниз по улице Горького — Красная площадь была мертвенно пуста. Вся Москва вдруг обезлюдела.

Мрачные стены улиц вздымались уродливыми скалистыми ущельями, глазницы выбитых окон смотрели мрачно и угрожающе — Андрей шел по Москве и не узнавал ни одной улицы, ни одного дома.

«Что же это я один? А где рота?» — спохватился Андрей.

Он очутился на набережной, и новая ужасная догадка приковала его к граниту. Вода вспучивалась, крутилась бурунами и, взбухая, медленно вползала по стенке набережной.

Чувствуя спиной холодный, все сметающий вал, задыхаясь, Андрей долго куда-то бежал, пока не понял, что стоит на смотровой площадке, на Ленинских горах.

От края до края, куда только доставал глаз, колыхалась, успокаиваясь, вода. Кое-где плавали бревна, доски и сорванные потоком крыши старых домов. Но они казались щепками в мутном и жутком своей необъятностью море.

Далеко-далеко в грязной дымке торчали из воды два последних, до боли знакомых силуэта — верхушка Останкинской телебашни и золотистый наперсток колокольни Ивана Великого — все, что осталось от Москвы.

Андрей прижался лбом к холодному граниту парапета, замирая от ужаса и боясь поднять глаза на мертвое море, катившее угрюмые волны над погребенной под ним Москвой...

— Рота, подъем! — услышал он голос яви и открыл глаза.

Сердце стучало, колотилось, все еще пребывая во власти сновидения.

Не различая резкой грани между сном и явью, Андрей вскочил с кровати, моментально облачился в мундир и, пока, толкаясь и разминая голоса, рота строилась к зарядке, юркнул в кабинет командира роты.

Начатая вчера книга лежала там же, где он ее оставил. Андрей пролистал знакомые страницы. «Красная Поляна... Красная Поляна». Она...

Он вернулся к своей тумбочке, открыл дверцу и пощупал сверху, над книгами.

Тетрадь неизвестного Николая Сорокина тоже была на своем месте.

15

Мало кто знает, что, кроме плаца, знакомого солдатским сапогам до каждой трещинки, до каждой выбоинки на асфальте, есть в распоряжении роты почетного караула, как и всякой боевой стрелковой роты, овеванное сизоватой дымкой пороха, не знающее тишины и птичьих голосов поле, которое зовется стрельбищем.

Взвод лейтенанта Горикова сдавал зачетные стрельбы. Принимая положение для стрельбы лежа, Андрей замешкался, засомневался, правильно ли делает, задумался на секунду-другую, а лейтенант сразу определил заминку:

— Отставить, Звягин! Повторить сначала. Инструкция дана не для того, чтобы ее обдумывать, а чтобы выполнять... В бою вас бы уже ухлопали...

«А сам-то воевал?» — усмехнулся Андрей.

Прижимаясь животом к земле, вдавливая автомат в плечо,

он почувствовал, как в левой руке потеплело, нагрелось цевье, от напряжения засадило прижатую к прикладу щеку. «Главное — локоть, локоть... Найди для него место — и попадешь», — вспомнил он дружеские наставления Матюшина. «Ты як насадка над цыплаком кудыхтаешь...» — подколот Сарычев. На что сержант серьезно, необидчиво ответил: «Взаимозаменяемость, Сарычев, взаимозаменяемость».

Андрей ждал команды «Огонь».

Впиваясь прищуренным глазом в мушку, как бы весь обратясь в зрение, Андрей смотрел в темнеющий, вздрагивающий былинками сухой травы конец поляны, где всего на пятнадцать секунд дважды должны были появиться две грудные фигуры. Словно оживший от легкого, но чуткого прикосновения спусковой крючок ловил приказание пальца.

«Они лежали, может, на этом же месте, в такой же день... — подумал Андрей, вдруг ощутив проникающую сквозь полу шинели сырую, леденящую стылость земли, захотелось подуть на пальцы. Только сейчас он почувствовал, как по лицу, вышибая слезу, жгуче сечет снежная крупка. — Да, правильно. Когда ехали на стрельбище, Гориков говорил, что где-то здесь проходила линия фронта. На каком километре свернули с шоссе? На тридцать шестом?»

Мишени возникли неожиданно — как будто двое высунулись из траншеи по грудь, — и Андрею почудилось, явно увиделись каски, хищно блеснувшие сталью над седой, клочковатой травой.

— Огонь! — послышалось сзади. — Огонь!

Притиснувшись щекой к прикладу, пытаясь соединить в одно целое, слитное дрожащую прорезь прицела и мушку, Андрей надавил было на спусковой крючок, но тут же отвел палец — мишени исчезли. Снова пустынное, в морозной мертвенности поле стелилось перед ним, а там, где секунду назад темнели мишени, как бы выдавая залегших, готовящихся к новой атаке врагов, едва шевелились, трепетали былинки. Андрей с ужасом понял, что прозевал. Теперь оставалось ждать второго появления — через десять — двадцать секунд. Через восемь... шесть... пять... четыре...

Как обрадовался он этим двум силуэтам, возникшим, воскресшим на кончике мушки! Он не услышал, не ощутил выстрела — жарко полыхнул, выдохнул ствол, в ноздри резко пахнуло сернистой гарью. Переводя мушку слева направо, он нажал на крючок еще и еще и, физически ощущая тугую, прочерченную пулями тетиву траектории, услышал звонкое шлепанье отстрелянных гильз, затих, прижался к горячему при-

кладу щекой, обмяк, увидев, как не спрятались, а упали сраженные его, Андреевым, огнем два силуэта...

— Молодец, Звягин, — сказал Гориков. — Так стрелять. А почему первый раз прозевали?

— Экономил патроны, товарищ лейтенант, — тут же нашелся Андрей, и Гориков отозвался сдержанной усмешкой:

— За отличную стрельбу — двухчасовое увольнение в город...

— Ну и везучий же ты, Звягин, — завистливо вздохнул Патешонков.

Только очутившись за воротами КПП, Андрей спохватился: «Два часа — ни к селу ни к городу. Неужели Гориков знает, что за это время я могу сделать лишь одно-единственное?»

Троллейбус помчал его к Мосфильмовской.

Ему показалось, что он забыл дорогу. Нет, палисадник с пикообразным штакетником и когда-то ярко раскрашенные, а теперь обшарпанные, вылинявшие под дождями скворечники детсадовских домиков на игровой площадке были те же. Вот за этим пятиэтажным с намалеванным номером на стене домом должен стоять ее одноэтажный, похожий на барак «особняк», как пошутила в этот раз Настя.

Андрей завернул за пятиэтажный дом и остановился пораженный — холодным светом пустоши ударило в глаза. Настоящего дома не было...

Груда старых бревен с приставшими к ним грязными кусками штукатурки лежала на прикопченном, тоже сваленном в кучу кирпиче. Обрывки бумажных обоев грустными разноцветными флажками трепетали на полусгнивших досках. Над этим истоптанным, искореженным бульдозером хламом, как над брошенным, остывающим костром, еще витало тепло человеческого жилья. Андрею показалось, что из-под бревен высывается оборванный уголок клеенки со знакомыми желтыми ромашками.

«Как же так! — спохватился он. — Снесли дом. Когда? Я не знаю ни адреса, ни фамилий».

Только тропинка к порогу еще жила. Кто-то ходил сюда, рубчатые следы — не то галош, не то туфель — петляли вокруг развалин, примяли утренний снежок возле скребка, о который когда-то счищали с подошв грязь.

И с ощущением невозвратимости, навсегдашней потери вспомнил он уютную кухню с шепеляво ворчавшим на плите чайником, Настю, такую милую и трогательно доверчивую со

всеми ее вопросами и хлопотами вокруг стола. И даже Кузьмич представлялся отсюда, с порога развалин, совсем не сердитым, а простодушным, наивным, чудным стариканом.

«Я обидел их ни за что,— с досадой подумал Андрей.— Я найду их обязательно. В следующий выходной».

Он нащупал в боковом кармане тетрадь, которую напрасно сюда принес, и вдруг вспомнил об адресе, мельком замеченном на обложке.

«Рублевский переулок... Сазикова Люба... Да, это Она, та самая, с хризантемой...» Он думал об этом, думал, но только сейчас, при виде развалин старого дома, схватился, как за спасительную ариаднину нить, за догадку: ведь та, Она, о которой солдат писал в дневнике, могла быть жива, могла знать то, чего не знали ни Кузьмич, ни Настя. Может быть, с фронта от того парня она получила самое последнее письмо, с самым последним адресом?!

«Но они же рассорились перед самым уходом Николая на фронт. Она живет, даже не подозревая, что произошло, и не знает, что его давно нет в живых...— сам себе возразил Андрей.— В самом деле, она не могла читать дневника».

Словно притянутый невидимым магнитом, он шел обратно, наискосок, через детскую площадку — где-то рядом, совсем рядом он видел, проходя мимо, и взглядом зафиксировал, отпечатал в памяти: «Рублевский переулок».

Поразительно... То, что казалось далеким и недостижимым, как на другой планете, мир, в котором жил незнакомый парень, его любовь, тот новый, сорок первый год, Она в голубом платье с белой хризантемой у ворота, — все это вдруг очутилось рядом, через квартал, во дворе мрачного кирпичного дома с одичавшими, продрогшими тополями, с хлопающим на веревках бельем, которое устало развешивала пожилая, сухошавая женщина в коротких стоптанных сапожках, надетых на босу ногу.

Во дворе сквозил ветер, сухая, жесткая поземка завивалась на асфальте, сугробами приметаясь к тротуару.

Андрей подошел к ближнему подъезду и спросил мальчишку, который гонял самодельной клюшкой синий кружок от детской пирамиды, не знает ли тот, где живут Сазиковы.

— А вот тетя Люба, белье вешает! — показал клюшкой мальчишка, ни на минуту не прерывая своего занятия.

«Неужели это она?» — поразился Андрей.

Женщина была в каких-то десяти — пятнадцати шагах и, увлеченная своим занятием, наверное, их не слышала.

«Я подожду, — решил он, стараясь успокоиться. — Сейчас она закончит — и подойду». И к недоумению мальчишки,

вместо того чтобы направиться к тете Любе, сел на лавочку.

Женщина наклонилась над тазом, что-то взяла, выпрямилась, набросила на веревку черное платье в горошек, бережно расправила беленький воротничок, разгладила его и отвела рукой со лба выпавшую из-под платка прядь, белую, со следами краски на кончиках волос.

«Седая. Сколько же ей лет? И это Она? Не может быть! — удивлялся Андрей. — В голубом платье, с белой хризантемой...»

Ее лицо было видно ему только с одной стороны, и смутный, едва различимый профиль, мелькнувший на фоне кофточки в мелкую клетку, показался красивым, утонченным, но только на мгновение — женщина повернулась, и Андрей заметил, как дрябло колыхнулась кожа под ее подбородком.

На веревке рядом с коричневыми чулками «в резиночку» болтались белые, ручной вязки шерстяные носки, хлопали на ветру полы байкового халатика, ближе к стойке облачком клубился белый платочек.

«Вещи-то, видно, все ее. Неужели никого нет? Одна? Совсем одна?» — с горечью, с прихлынувшей жалостью к этой женщине подумал Андрей. И ему вдруг показалось неуместным, нетактичным подходить и спрашивать — о чем угодно. И тут же другая догадка поразила его, он подумал о том, о чем никогда не думал.

«А ведь и Николай был бы сейчас таким же старым! Не может быть! И почему это никогда не приходило в голову?»

Наверное почувствовав на себе чей-то пристальный взгляд, женщина обернулась, и Андрей поспешно поднялся с лавочки. Спустив голову, чувствуя за собой какую-то неосознанную вину, боясь, что его окликнут, позовут, он зашагал к арке, ведущей к выходу.

Только на улице Андрей отдышался. Зачем его так тянуло в этот двор? Ему здесь нечего было делать. И снова вернулось ощущение утери чего-то дорогого, что оставалось теперь лишь на пожелтевших, тоже старых страницах дневника.

«То, что было, прошло, — думал Андрей, торопясь к троллейбусу. — Зачем ей дневник какого-то мальчишки из довоенного, почти доисторического времени? И зачем Насте этот неоконченный рукописный роман? Даже Кузьмичу не все ли равно, в конце концов, где погиб и где похоронен сын? Все поросло быльем...»

...В казарме звенела, отбивая радостные ритмы, Русланова гитара.

«Пришлет адрес — отправлю», — решил Андрей, засовывая подалеже в тумбочку, под стопку уставов, принесшую столько ненужных хлопот тетрадь.

Почему это вспомнилось тогда? Почему?

Он вдруг явственно ощутил ногами горячую хрустящую гальку железнодорожной насыпи, от шпал густо запахло разогретым мазутом, голубые рельсы манили в несбыточную для детства мечту. Они учились тогда, кажется, в пятом классе, в их речных краях даже школьникам было модно дарить ко дню рождения спиннинги, и трое дружков — Атос, Портос и Арамис, — зажимая их под мышками, как шпаги, шли на рыбалку.

Они проходили мимо поезда дальнего следования и уже почти миновали последний вагон, как чей-то голос заставил их обернуться — с последней подножки уже тронувшегося состава им махал солдат. В память врезалось его лицо: смешливые глаза из-под надвинутой на лоб пилотки, ослепительные зубы; их руки неловко столкнулись, а когда разъединились, в руке Андрея осталось письмо. «Опусти, мальчик! Слышишь? Сегодня же!» — успел крикнуть солдат и еще долго махал им с подножки, все уменьшаясь и уменьшаясь.

Возвращаясь к почтовому ящику не хотелось, и, решив, что опустит письмо на обратном пути, Андрей сунул конверт под лопухи, кустисто заполнившие старую насыпь.

Он вспомнил о нем уже дома, посреди ночи, когда в дремотном забытии перед зажмуренными глазами подпрыгивали на зеркальной воде поплавки, а рука все еще тянула напружиненную живой, бьющейся тяжестью лесу. Кажется, он спал, и разбудил его толчок памяти. «Письмо, — покрываясь холодной испариной, спохватился Андрей, — я же забыл опустить письмо!»

От их дома до станции было километра два с половиной, и, представив это расстояние в кромешной темени, в зловещих перебежках бродячих собак да мало ли еще каких полуночных страхах и неприятностях, Андрей натянул до подбородка убаюкивающе теплое одеяло, но тут же вскочил и, подрагивая в ознобе, начал одеваться. Кто знает, что таилось в том письме, которое нужно было отправить именно сегодня.

До станции он почти бежал, неотрывно глядя на спасительно брезжущие вдали фонари, он боялся оглянуться, сердце замирало при малейшем шорохе, а когда наконец вскарабкался на осыпающуюся, гремющую галькой насыпь и сунул руки в мок-

рые от росы лопухи, заledenел и облился жаром — под лопухами было пусто. Андрей опустился на колени и, до боли их обдирая, начал елозить, шарить по осклизлой траве, прощупывая каждый листик, каждый камешек. Рука инстинктивно отпрянула, ткнувшись во что-то студенисто-липкое («Лягушка!»), но, переборов страх и отвращение, он снова и снова отползал на коленях назад, кружил на месте, все еще надеясь и уже отчаявшись. Конверт нашелся метрах в десяти от того места, где он его искал, — просто плохо заметил, куда положил, — и, с бьющимся сердцем ощупывая сыроватый бумажный пакетик, Андрей испытал в ту минуту чувство, которого так остро не испытывал потом никогда. Чувство потерянного и вновь счастливо обретенного. А может быть, это было чувство очищенной совести?

О неотправленном и чуть было не потерянном в детстве письме ему долго и настойчиво напоминала тетрадь в темном коленкоровом переплете, спрятанная в дальнем углу тумбочки под аккуратной стопкой уставов и наставлений. От Насти не было ни письма, ни открытки. Чего он ждал?

...Андрей медленно, с наслаждением водил кистью по шершавому, изборозжденному морщинами стволу, когда высунувшийся из окна дневальный позвал его к командиру роты. Он не придал значения этому вызову и, тщательно вымыв руки, смахнув с сапог капли известки, вошел в кабинет.

— Проходите, — сказал командир, не приглашая садиться. Он выдвинул ящик стола, достал конверт с мелькнувшей четким шрифтом ведомственной надписью и протянул Андрею: — Поезжайте. Вот разрешение...

Андрей оторопел. Все сместилось, сдвинулось в мгновенной догадке: «Куда? Какое разрешение? От министра? В ВДВ?» Он не сразу сообразил, вспомнил, что это то самое разрешение, о котором командир роты обещал похлопотать три месяца назад. Из Генерального штаба пришел наконец допуск на посещение архива Министерства обороны СССР.

Снова среди крошечной, сырой, озвученной лаем бродячих собак ночи Андрей бежал по пустынной, безлюдной дороге к спасительно маячившим вдалеке теплым огням железнодорожной станции.

Уже сидя в душной электричке и рассеянно поглядывая в окно, он подумал о том, что слишком опрометчиво поехал в Подольск. Эту неуверенность он почувствовал еще в разговоре с командиром роты. Андрей догадывался: получить допуск в архив помог генерал, солдатам попасть туда было непросто.

— Слишком мало данных, — сказал майор. — Очень шаткая у вас привязка. Красную Поляну освобождали многие ча-

сти — и стрелковые, и танковые... Найти бойца — все равно что дерево в лесу. Но разрешение есть. Поезжайте.

Чем ближе Андрей подъезжал к Подольску, тем больше сомневался. В самом деле, какие у него данные? Единственное доказательство — последнее письмо Николая. Но почему именно Красная Поляна? Потому, что «поющие деревья»?

Проходная архива, стиснутая с двух сторон высоким каменным забором, охватившим большую, как парк, территорию, напоминала контрольно-пропускной пункт воинской части.

Андрею выписали пропуск, и, переступив порог, он подумал, что, в сущности, оно так и есть: в молчаливых, похожих на казармы домах, выстроившихся вдоль асфальтированной и по-гарнизонному чистой дорожки, разместилась не одна часть, а все Вооруженные Силы, принимавшие участие в Великой Отечественной войне. Только эти дивизии и армии волшебным сейчас уменьшились и успокоились в тесных нестерпимых сейфах.

Его встретила строгая, молчаливая женщина. Холодно посмотрела сквозь очки, проверила документы. «Теперь она командует здесь дивизиями», — подумал Андрей, и эта мысль его развеселила.

— Все ищут, — вздохнула женщина, — все надеются...

Наверное, он был не первый по такому делу, — не задавая лишних вопросов, женщина помогла заполнить какие-то карточки, подписала какие-то бумажки и все с той же сухой вежливостью направила в другую комнату для получения документов.

«Как все просто!» — удивился Андрей.

Небольшая комната с зарешеченным окном напоминала камеру хранения — все стены были в стеллажах, на которых ровными рядами стояли удивительно одинаковые черные чемоданчики.

«И тут шеренги...» — подумал Андрей.

За перегородкой от телефона к телефону металась полная, но быстрая и ловкая женщина в темном халате, и Андрей отметил в ее ответах ту же сдержанность и официальность военного человека, — в самом деле, чем не штаб этот архив! Трое посетителей — генерал в поношенном, старого покроя мундире, парень в клетчатом пиджаке и быстроглазая, в пионерском галстуке девушка — терпеливо ожидали очереди.

— Что у вас? Это вы от Валентины Александровны? — бросив трубку, спросила Андрея полная женщина.

Андрей протянул бумажку и по смягчившемуся взгляду, которым женщина по ней пробежала, понял, что строгая Валентина Александровна сделала там какие-то особые пометки, способные поторопить сотрудников, — на удовлетворение своей

заявки по правилам архива, висевшим у входа, он мог рассчитывать только на следующий день.

— Погодите минутку,— совсем уже по-свойски сказала женщина и сняла телефонную трубку: — Девочки! Сделайте мне триста тридцать первую дивизию... И двадцать восьмую бригаду, пожалуйста.— Помолчала, поморщилась, выслушивая, очевидно, возражения.— Знаю, знаю, что много заявок. Но в виде исключения... Уж больно симпатичный солдатик...— И, ободряюще улыбнувшись, кивнула Андрею: — Погуляйте полчаса, ваша дивизия уже на марше.

Андрей вышел.

Здесь и курили, как в расположении части, не где придется, а в специально отведенном месте, в «курилке».

На лавочке под деревом сидел майор. «Пожалуй, постарше нашего»,— определил Андрей и, спросив разрешения, присел рядом.

Офицеру, наверное, хотелось поговорить, и он спросил первым:

— По истории части приехали?

— Нет, не по истории,— сдержанно ответил Андрей.— По личному вопросу.— Он подумал, что нехорошо скрытничать перед офицером, и добавил: — Солдата ищу, неизвестного...

— Трудное дело,— сказал офицер.— По оперсводкам смотрите... Подробнейшая картина.

В читальном зале сидело за столиками несколько человек, Андрей узнал генерала и пионервожатую.

Он сел за свободный стол, открыл чемоданчик и достал кипу толстых тетрадей, изрядно потрепанных, похожих на инвентарные книги. Все они были сшиты, пронумерованы и скреплены печатями. Прочитав чью-то затейливую подпись, удостоверяющую число страниц и помеченную сорок первым годом, Андрей с неожиданной грустью подумал о том, что обладателя этой подписи, возможно, уже нет и в живых. Он мог погибнуть через час после того, как расписался в тетради.

В первой книге были подшиты оперативные сводки, написанные на листочках, вырванных откуда попало — из школьных тетрадей, из блокнотов, и просто обрывки бумаг. Донесения набрасывались второпях — то ручкой, то карандашом. Больше всего карандашом. И правда, откуда там быть чернилам?

Перелистывая бумажки, исписанные разными почерками, захватанные, надорванные, вглядываясь в цифры, обозначающие части и наименования населенных пунктов, Андрей окончательно осознал правоту майора: найти фамилию солдата было бы чудом.

«Надо искать по названию», — решил он, и глаза его, как бы запрограммировав, ловили теперь в пестроте строк только два слова: «Красная Поляна».

На девятнадцатом листе они словно споткнулись: «Начштадиву 331 штабриг 28 Чашниково 13.15; 5.12.41 г.; карта 100 000.

С 14.00 3 батальон с северной окраины Катюшки будет переведен на исходное положение для атаки на опушку леса (примыкает к Красная Поляна Юго-Запада)».

На следующем листке, вырванном из блокнота, была торопливо набросана другая сводка:

«Боевое донесение № 14 к 6.00 6.12.41 г.

3 сб в течение проведенных операций за Катюшки, имея большие потери (до 365 ч), нуждается в пополнении личным составом».

Больше всего Андрея поразило то, что печальная эта (погибло 365 человек!) оперсводка была написана спокойным, остро отточенным карандашом. А глаза продолжали искать Красную Поляну. Стоп!

«Оперсводка № 16. 12.00 6.12.41 г.

...11.35. 6.12.41 г. 3 сб под прикрытием артогня и танков ворвался в южн. окр. Красная Поляна, ведет уличный бой с противником, засевшими в зданиях Красная Поляна.

12.35. 6.12.41 г. 2 сб вышел на юг.-зап. окр. Красная Поляна, ведет уличный бой, развивает наступление с 3 сб.

13.25 2 и 3 сб ведут бой с ОТ пр-ка, засевшим в школе и больнице, продолжается очищение отдельных домов от пр-ка на юж. и юг.-зап. окр. Красная Поляна... Группа разведчиков с автоматчиками 28 стр б-ды ведут разведку леса зап. Красная Поляна... Сведения о потерях будут представлены в очередной сводке...»

«Разведку леса?.. Разведку леса... Уж не того ли, где «поющие деревья»?»

Андрей перелистал еще несколько страниц...

«Боевое донесение № 17 к 18.00. 6.12.41 г.

Части 28 сб., выполняя боевую задачу, в 12.10 6.12.41 г. с боем заняли Красную Поляну...»

«Части, части, группы, сб, сбр, а где же солдаты? Где Сорокин?» С отчаянием листал тетрадь Андрей — картина боя менялась буквально по минутам.

— Ну как успехи? — услышал он голос над собой и увидел строгую женщину, которая выписывала документы.

Андрей пожал плечами, в бессилии глядя на кипу тетрадей.

— Вы посмотрите «Книгу безвозвратных потерь», — посо-

ветовала женщина. — Эти списки обновляются... Все время кого-то находят...

«Книга безвозвратных потерь» — объемистая и тяжелая — была начата 1 декабря 1941 года. Она сплошь состояла из фамилий, и, прежде чем заняться поиском, Андрей невольно произвел простое вычисление. На каждом развороте книги — слева и справа — помещалось ровно по восемь фамилий убитых — очевидно, для удобства подсчетов. Андрей насчитал две-сти тридцать семь таких разворотов, помножил это число на восемь, получилось тысяча восемьсот девяносто шесть человек — убитые только за год и четыре месяца...

Перед глазами замелькали фамилии, и, растерявшись перед безмолвным строем погибших, таким огромным, что, если бы проводить вечернюю поверку, понадобилось бы, наверное, не одни сутки, он решил искать по старому, уже найденному им самим способу — по названию населенного пункта. Андрей медленно повел пальцем левой руки вниз по графе «Где убит, когда», а правой — «Где похоронен».

Он начал по алфавиту — с буквы «А».

Анчарук Петр Васильевич, умер от ранения, похоронен в д. Соснино. Домашнего адреса не значилось, и, выходит, некому было сообщить о гибели. Если кто-то из родственников остался в живых, они не знают, где их Петя, или Петр Васильевич. Не было «обратных», домашних адресов у помощника командира отделения Виноградова Ивана Васильевича и у подносчика патронов Волкова Ивана Евлампиевича...

Почему не было?

Все-таки ему надо было опять приучать глаза к словосочетанию «Красная Поляна», и он читал теперь только графу «Где похоронен». По восемь раз на каждой странице мелькало: «Убит, убит, убит...», «Похоронен...», «Западная окраина 20 м от деревни Борисовка», «Братская могила. У опушки леса, юго-восточнее деревни Шелонки», «Лес. Юго-восточнее деревни Леушино».

«А ведь эти могилы могли и не сохраниться... Столько похороненных, а многие так и не найдены...» — подумал Андрей и опять наконец-то набрел взглядом на Красную Поляну.

Похороненными в Красной Поляне значились трое подряд, чьи фамилии начинались на букву «С». Скворцов Илья Иванович из Горьковской области (под графой «Когда и по какой причине выбыл» значилось: «Убит 4.12.41 г.»), Смирнов Василий Ильич из Йошкар-Олы, Смирнов Иван Федорович, призванный из Иванова, — под их фамилиями сносками было написано: «Там же». Сорокин Николай здесь не значился.

Где то возле Красной Поляны, у лесной сторожки, между деревнями Антипино и Никитская, лежал стрелок Бабанов Илья Иванович; Грачев Александр Петрович — «у дороги, за рощей, одинокая могила...»

Андрей обратил внимание на то, как изменился цвет бумаги и формат, — значит, одной тетради не хватило и к ней суровыми нитками пришили другую, потолще.

Возле лесной сторожки между деревнями Антипино и Никитская было похоронено еще трое... Только вот «сторожка» или «дорожка»? В двух местах это слово читалось по-разному.

Нет, найти нужную фамилию оказалось не так-то просто, как он думал. Его блуждание по страницам «Книги безвозвратных потерь» было похоже на блуждание по лесу. Андрей понял, что окончательно запутался, — фамилии, как деревья, мелькали слева, справа и впереди. И из этого молчаливого леса людей не было выхода.

Он сложил тетради — в голове шумело, как после бессонной ночи дневальства. Каким тяжелым показался ему чемодан!

Краснощекая пионервожатая стрельнула в его сторону глазами, когда он вставал. Андрей, никак не отреагировав, прошел мимо.

— Приходите еще, — улыбнулась полная женщина, водворяя на полку его черный чемоданчик.

— Приду, спасибо, — машинально ответил Андрей, думая о том, что вряд ли еще сюда придет.

Переступая порог проходной, он обернулся, и ему показалось, будто в темных окнах архива мелькнули солдатские лица.

«Сколько их там, сколько же их там! — испытывая вдруг навалившуюся на грудь тяжесть, подумал он. — Роты... Дивизии... Армии... И одинокая могила где-нибудь у дороги, на опушке...»

Майор просил вернуться к двадцати ноль-ноль. На часах было двенадцать.

«Успею, — решил Андрей. — Только вот с какого вокзала Красная Поляна?»

Странно: места эти показались Андрею знакомыми, хотя он никогда здесь не был. Словно бы уже виденное однажды всколыхнулось на миг со дна памяти — и допотопная, рыжеватая от ржавчины колонка, возле которой с визгом и хохотом озорничали босоногие мальчишки, подставляясь под ледяную струю; и чуть скособоченные от старости бревенчатые дачные

дома с еще по-молодому ясными окнами, отражавшими ветки лип и тополей; и потрескавшийся асфальт улочки, выведшей его на пыльную, давно уже, видно, заброшенную дворниками площадь. Судя по тесно столпившимся ларькам и палаткам, это был центр городка, и через незащищенный деревьями, собравший, как в линзе, раннюю жару пятачок спасительно тянулась к белой цистерне с квасом молчаливая, изнывающая от жажды, давно уже уставшая препираться очередь.

Андрей пристроился последним, снял фуражку, горячим обручем сдавившую лоб, и, расстегнув верхнюю пуговицу воротника, благо поблизости не было офицеров, ослабил галстук. Зачем он приехал? У кого спросит то, о чем хотел спросить? Вот у этого белотелого, в майке-сетке дачника, уткнувшегося в газету? Или вот у этой, в общем-то, симпатичной девицы, что парится в желтом шерстяном брючном костюме?

Но именно потому, что Андрей осознавал нелепость подобного вопроса в очереди за квасом, именно поэтому вопреки его собственному желанию кто-то словно подтолкнул обратиться к девушке.

— Извините, — как можно учтивее произнес Андрей. — Вы, случайно, не знаете, где здесь стояли пушки, из которых немцы собирались стрелять по Москве?

— Пушки? Стреляли по Москве? Отсюда? Не знаю...

Белотелый дачник аккуратно сложил газету и неожиданно подтвердил:

— Стояли, стояли пушки... Талызин их выбил отсюда танками. Как шибанули — из немцев дух вон... Не успели по Москве стрельнуть. — И дачник обтер смятым и мокрым носовым платком шею.

— Не Талызин, — осторожно поправил Андрей, — а Ремизов. И еще дивизия генерала Короля и двадцать восьмая бригада полковника Гриценко... Это же здесь сержант Новиков сжал зубами концы провода — связь держал. А руками стрелял...

— Поди-ка, — всколыхнулся животом дачник, — все знает. Так сказать, идем по дорогам славы отцов. Не угадал?

— У меня тут родственник погиб, — неожиданно для себя сказал Андрей. Чем-то он должен был объяснить свой интерес к незнакомому городку, к пушкам, о которых здесь все уже забыли.

— Ясное дело, — без всякого сочувствия кивнул дачник. — А вы наливайте, наливайте! — заторопил он продащицу.

И очередь опять затеснилась к цистерне, живительной струйке, что скудела с каждой кружкой, с каждым бидоном.

— Иди-ка, сынок, напейся,— позвала продавщица.— А то не дожدهшься этих окрошечников.

— Правильно! — поддержал дачник.— Отпустить солдату кваса без очереди.

— Ничего, я постою,— застеснялся Андрей.

— Подходи, подходи, солдат, сами знаем — минутки-то в увольнительной золотые! — выкрикнул из толпы старичок в холщовой косоворотке и в изрядно поношенной соломенной шляпе. Поводил-поводил головой: — А пушки твои, они вон возле сто пятого дома стояли, за проулочком налево. Самый высокий взгорок. Да и не узнать — лес был, а теперь понастроили... Салют оттуда видно, в самый раз...

Андрей залпом опорожнил кружку и, поблагодарив, пошел по улице.

О каком сто пятом доме говорил старик? За проулочком налево теснились большие новые дома. Может, вот этот, кирпичный? Но здесь негде стоять пушкам... И от деревьев, от леса — тоже ни следа. Разве что вот эта ложбинка, поросшая мохнатой ромашкой? Старый окоп или траншея?.. Вряд ли...

На забытом людьми, поросшем быльем месте стоял Андрей, все больше и больше убеждаясь в своей наивности, в тщетности поисков.

«Но если отсюда смотрят московский салют, значит, могли немцы видеть город... Тогда, в сорок первом...»

Андрей постоял еще с минуту, подставив лицо свежему ветерку, надвинул фуражку и зашагал, теперь уже увереннее, к синющему вдаль лесу.

В лесу было прохладно, как будто зеленый дождь окропил все — и деревья, и кусты, и поляны; пахло свежестью молодой листвы, оттаявшей землей, и казалось, вот-вот зазвенят солнечные струны, протянутые сквозь деревья к ласково-нежной, похожей на озимь траве.

Лес справлял новоселье весны. И каждая ветка тянулась к свету, к простору. В розовых клювиках почек держали сморщенные листки пригревшиеся липы. Застенчиво трепетали осины. Клен поднимал свои светло-зеленые, еще свернутые флажки. А на соснах, будто перекочевавшие с новогодних елок, вот-вот должны были загореться розоватые свечки. И оттого еще угрюмее казались ели, которые почему-то не торопились менять зимние, изрядно потрепанные вьюгами одежды. «Как давно я не был в лесу!» — подумал Андрей, вспомнив серый асфальт плаца.

Тропинка потерялась, и Андрей пошел напрямик, через щекочущие пушистыми сережками кусты орешника, задевая



фуражкой о сучья, с козырька прозрачно свисала, налипала на лоб паутина. Он снял фуражку, распахнул мундир — стало душно.

«Куда я иду и зачем?» — подумал Андрей, продолжая идти. Позади остался чистый, дрожащий осинник, впереди светился березнячок. Он на минуту остановился, и деревья как бы остановились вместе с ним; он пошел, и, дрогнув, точно боясь отстать, сбоку двинулись деревья. Что-то притягивало, что-то манило его в мельтешащей этой чащобе.

Сколько Андрей прошел? С километр, не больше. Он сел на пенек и огляделся.

Только что шевеливший каждой былинкой, каждой веткой лес приумолк, притаился, словно тоже переводил дух. Андрей закурил, но, затянувшись, тут же придавил сапогом окурочек — в пахучей свежести воздуха не хотелось дымить.

Андрей встал, обогнул куст орешника и остановился, замерев, — ему показалось, будто сверху раздался тугой, как от скрипки, звук.

Но лес опять молчал, словно сам прислушивался к шагам Андрея.

Неосознанное, какое бывает в лесу, чувство страха, чувство, как будто за тобой кто-то наблюдает, охватило Андрея, заставило прибавить шаг.

И снова протяжно что-то скрипнуло наверху, по макушкам пробежал шумок.

«Да это же ветер, — догадался Андрей, успокаиваясь. — Это ветер тронул деревья...»

«Поющие», — словно подсказал ему кто-то.

«Поющие деревья!» — повторил про себя Андрей, и горячая волна догадки окатила сердце.

Он задрал голову и стал шарить взглядом по переплетенным сучьям и ветвям, ожидая нового порыва ветра.

Теперь пропело справа, он повернулся и сразу увидел их рядом — молодую березку и дуб.

Это были они, те самые «поющие деревья», — даже отсюда, шагов с десяти, виднелась как бы чуть стесанная ветвь дуба. Касаясь березового ствола, она издавала под ветром тугой, как у скрипки, звук.

Дуб казался постарше, береза едва доставала ему до середины. Зеленая и острая, как озимь, трава пробивалась под ними бурый, дотлевающий покров осенней листвы. И, вглядываясь в еле заметные, неровные очертания бугорка, Андрей опять вспомнил прочитанные в архиве записи о затерянных на опушках и лесных тропках безымянных солдатских могилах.

Да, это был лесной бугорок, нанесенный весенними ручьями, даже было видно, как корни корявились из-под листьев, выступали их завитки, но, еще раз взглянув на холмик, Андрей сразу подумал о Кузьмиче и о Насте. Где-то здесь навсегда остался их Николай.

«Я скажу Кузьмичу... И ей... Я скажу про деревья — точно!» — с радостью, с ощущением внезапной легкости решил Андрей, лихорадочно присматриваясь, запоминая место.

Он не знал, что этим «поющим деревьям» всего лишь по тридцать — сорок лет.

Когда Андрей вернулся в казарму, командира роты уже не было.

— Тебя включили в почетный караул, — округлив глаза, как будто что-то стряслось, чуть ли не крикнул Патешонков, стоявший у тумбочки дневального.

— В какой? — спросил Андрей.

— К могиле Неизвестного солдата.

18

...От безмолвного потока людей, медленно плывущего мимо Вечного огня, его отделяла ниша, в которой стелилось по звезде пламя, и гряда цветов, положенных вдоль мраморного уступа, — каких-то десять шагов, не больше. Но, прикованный вниманием к самому себе — ему все казалось, что слабо надраил пуговицы, что завернулись, перепутались аксельбанты, что уже не очень свежи перчатки, — Андрей замечал лишь шевеление толпы, беслесую, сплошную череду лиц и цветы, цветы — по одному, букетами, в целлофановых обертках и в корзинах, какие выносят на сцену. И каждый, кто подходил к могиле, смотрел сначала на Вечный огонь, а затем на него, Андрея Звягина.

Андрей старался не шевелиться, а когда налетевший ветерок пахнул в лицо гарью, неимоверным усилием переборол желание кашлянуть и не качнулся, не дрогнул, оставаясь в неподвижности. Ставшие чужими ноги наливались горячей, расплавленной тяжестью, а ворот рубашки так сдавил шею, что захотелось хоть на секунду отпустить галстук.

Интересно, сколько он уже стоит? Этого Андрей не знал, потому что не мог даже взглянуть на часы. Время для него остановилось. И он жил сейчас как бы весь растворенный в ожидании, в тревожной горечи несостоявшейся встречи: шествие к могиле уже началось, а ни Кузьмича, ни Насти до сих пор не было.

Еще венки, за ним другой, потом третий колыхнулся атласными лентами. Весь мрамор возле могилы уже был закрыт цветами, как будто они проросли прямо из камня, образовав невиданный по узорам ковер. А букетов все прибавлялось и прибавлялось, и пожилая женщина в синем рабочем халате, наверное смотрительница, бережно сдвигала их в сторону, освобождая место другим. Если бы она этого не делала, к могиле из-за цветов невозможно уже было бы подойти.

Венкам, увесистым гирляндам, свитым из еловых веток, тоже не хватало места, и их относили, прислоняли к стене, которая теперь цвела и зеленела из конца в конец, от Арсенальной до Троицкой башни. И все новые венки вставляли перед Андреем.

Очередь к могиле росла, двигалась, и уже невозможно было разглядеть, где она начинается и где кончается. Но что-то единое двигало этой молчаливой толпой. И позванивающие медалями мужчины, и принарядившиеся женщины, и благочинные старушки, и неторопливые старики, и даже притихшие ребяташки будто видели кого-то, стоявшего рядом с Андреем, шли к этому, ими видимому, на поклон.

— Красавцы... Спасибо... Вот молодцы... — услышал Андрей сбоку и покраснел, поняв, что слова эти были обращены в их, часовых, адрес.

Нет, он не чувствовал времени. Потому и не сразу догадался, кто пустил невидимые часы, когда слева, со стороны Боровицких ворот, до него донесся как бы стук метронома.

Шаг в шаг, шаг в шаг...

Из-за поворота показались трое с карабинами «на плечо».

— Смена идет! — восхищенно вырвалось из толпы.

И все подались вперед, к этим трем, как бы желая лично, воочию убедиться, что смена идет, и идет достойно, как подобает.

Метроном стучал уже совсем рядом, и его удары совпадали с ударами сердца.

Шаг в шаг, шаг в шаг...

Впечатываясь сапогами в гранит, солдаты единым, маятниковым взмахом скидывали руки в белых перчатках.

Шаг в шаг, шаг в шаг...

Карабины почти не касались плеч, а как бы опирались о воздух, и в той бережности, с какой часовые их несли, чувствовалось священнодействие особого ритуала.

Шаг в шаг... Стоп! Бряцнули у ног приклады, трое одним движением повернулись направо, замерли, и с новым командным ударом приклада о мрамор двое начали входить по ступеням.

Андрей резко повернул голову влево и увидел широко раскрытые глаза Патешонкова, словно этим горячечным своим взглядом сменщик секундно что-то у него выпытывал.

Обратный путь в караульное помещение он не помнил...

19

Наряд, назначенный к могиле Неизвестного солдата, размещался в сводчатой, похожей на келью комнате. Может, вот в это, когда-то слюдяное, оконце поглядывал на Русь сам летописец Пимен. Но лейтенант Гориков, не пропустивший, наверное, ни одной книги по истории Кремля, утверждал категорически, что помещение, занимаемое почетным караулом, некогда принадлежало стрельцам. Тем самым, усато-бородатым, с бердышами и копьями, а потом с пищальями. Стрельцов все помнили по картине «Утро стрелецкой казни».

Лейтенант Гориков, постучав слегка шашкой по массивной, обитой железом двери, заводил рассказ о вступлении в Москву французов и о взятии ими приступом вот этих самых Троицких ворот.

С лица майора сходили остатки напускной строгости, как только он прислушивался к тому, о чем с видом завязтого экскурсовода говорил Гориков.

— А что, двери те же самые? — недоверчиво, но уже заинтересованно спросил кто-то.

— Те же! — без тени сомнения отвечал Гориков. — Историю надо знать, товарищ Плиткин, историю... А вы все детektivчиками пробавляетесь и фантастикой. Знаю, не отпирайтесь! Станислав Лем из вашей тумбочки не вылезает. А книг Льва Николаевича Толстого там и не бывало... А между тем, товарищ Плиткин, вам надлежало бы знать, что после того, как затихли здесь выстрелы, странный звук послышался над головами французов. Огромная стая галок поднялась над стенами и, каркая и шумя тысячами крыл, закрутилась в воздухе. — Лейтенант замолчал и, пригнувшись к узкому оконцу, показал на видневшуюся вдали Арсенальную башню: — Во-он, видите птицу? Черный комок на карнизе? Та самая галка... Из тех...

Плиткин встрепнулся:

— Не может быть!.. Галка сколько живет?..

— Сто — сто пятьдесят лет! — не моргнув глазом, ответил Гориков.

Тут не выдержал, рассмеялся майор, хлопнул ладонью по столу:

— Хватит, Гориков! Вы бы лучше напомнили о несении службы у Вечного огня. Есть же совсем новички...

И сразу будто подменили Горикова, снова не весельчак-балагур, а серьезный командир, товарищ лейтенант.

— Есть, товарищ майор. Это я для разрядки...

— «Для разрядки»... — повторил майор насмешливо.

Но Гориков, казалось, уже его не слышал. Встал, выпрямился, натянув перчатки, тщательно их разглаживая, как хирург. Придирчиво оглядел очередную смену. Разводящий Матюшин стоял уже наготове и с лета перехватил взгляд лейтенанта.

— Третья смена, приготовиться...

Что-то еще хотел сказать Гориков, но было видно — сдержал в себе несказанное. Потопавшись на месте, как бы разминаясь, он долго смотрел на выщербленный, быть может, стрелецкими пищалями и секирами каменный пол, вздохнул и обернулся к майору:

— Разрешите начать развод караула?

— Разрешаю, — сухо ответил майор.

...Он думал сейчас о том, какая же непростая служба досталась ему и его солдатам.

Однокашники по училищу уже давно командовали батальонами — при встречах от них веяло порохом учебных батальонов, сталью бронетранспортеров, а главное — неукротимой бодростью и весельем, пусть даже чуть напускным, которое характерно для командиров «полевой службы». В чем-то он прав был, теперь уже повзрослевший училищный остряк в подполковничьих погонах, лицом к лицу столкнувшийся в коридоре академии с однокашником. «Хорошо там, где нас нет! — сказал он. — А в чистом поле звезды ближе к плечам».

Валентину Ивановичу Турбанову обижаться на судьбу не приходилось — звание у него шло год в год, но не мог же он, в самом деле, всю жизнь оставаться командиром роты, пусть даже роты почетного караула. В чем-то завидовал он обветренным своим однокашникам. А те в открытую завидовали ему, считая, что парню просто повезло: во-первых, служит в самой столице, во-вторых, командует такой, можно сказать, образцово-показательной ротой и, в-третьих, всегда на виду у самого что ни на есть высокого начальства.

Но мало кто из них представлял, что вот это последнее обстоятельство — в ином, чем принято думать, смысле — и было самым трудным, неимоверно тяжким и ответственным бременем, что ложилось на плечи командира роты и командиров взводов. Ну куда б ни шло, если б только на виду у самого что

ни на есть высокого начальства. На виду у всей планеты, от имени и по поручению всех Советских Вооруженных Сил, вскинув в приветствии карабины, стоит на асфальтовой глади летного поля рота почетного караула. Когда из небесных лайнеров спускаются по трапу высокие гости из-за рубежа, первые лица, которые они видят на советской земле, — симпатичные, открытые лица стройных, подтянутых парней, исполняющих священный ритуал гостеприимства.

Нынешним пополнением Валентин Иванович был, пожалуй, доволен. Давно ли он собирал у себя в кабинете, как сострил один из лейтенантов, «ассамблею» — распределяли пополнение по взводам?

Взводные — лейтенанты — перетаскивали из списка в список фамилии, еще ни о чем не говорящие. Однако каждый старался записать себе, хотя бы только по анкетным данным, паренька получше. И только лейтенант Гориков помалкивал, высматривая из-под руки, как из засады, голубыми пронзительными глазами что-то свое. Он смотрел на эти немые пока для других списки как бы свысока — из всех офицеров, сидящих в кабинете командира роты, он знал солдат пополнения лучше всех, ибо прошел вместе с ними месячный испытательный срок. Единственно, за кого он попросил, чтобы попал именно в его взвод, — за рядового Звягина, того самого, что на плацу притворился, будто не умеет ходить строевым. Характер у этого Звягина — не сахар. Но именно таких, с задоринкой, лейтенант Гориков уважал, потому как сам был не из тихонь, а годы службы — он ходил в шинели, как часто любил повторять, со скамьи суворовского училища, — годы службы приучили его ценить в первую очередь людей неординарных.

Позволяя лейтенантам повольничать, как старший относиться к шалостям младших, майор внутренне посмеивался тогда над препираниями взводных.

«А они и впрямь мальчишки. Какие же все-таки мальчишки! — думал он. — В самом деле, всего каких-то четыре года назад были школьниками. Кем успели покомандовать? Пионерским звеном, ну, в крайнем случае, дружиной. А может, и того не было. И вот теперь в их подчинении солдаты, такие же молодые парни, как и они... Ах, лейтенанты вы, лейтенанты...»

Майор Турбанов часто в последнее время ловил себя на подобных сентиментальных рассуждениях — он и сам недалеко ушел от этих лейтенантов — ну на десять, может быть, лет или чуть больше. «Старею, потому и миндальничаю, потому и пускаю лирическую слезу! — сердился он на себя. — Сам-то? Может быть, товарищ майор, вы вставали над бруствером окна

и, выхватив из тугой кобуры ТТ, кричали «В атаку!» своему обессиленному, пригнувшемуся под свинцовым ветром взводу? Нет, не было такого. Может быть, вы, дорогой товарищ Турбанов, расписывались, стараясь забраться повыше, на опаленной порохом колонне рейхстага куском щебенки? Нет, не вы...

То-то... Вы даже в глаза не видели боя и стали командиром в безмятежно мирное время. Нет, сначала вы были удостоены просто офицерского звания — тоже лейтенант — и только потом, спустя годы, стали командиром, как, собственно, и предсказывал когда-то начальник училища, вручивший погоны и диплом. Помните, он сказал тогда всем вам, новоиспеченным лейтенантам в новеньком офицерском обмундировании, с обжигающими плечи погонами: «Погоны на плечах, а командирство в сердце. Вот когда застучит сердце по-командирски, считайте, что вы — лейтенанты. И тогда командировать вам всю жизнь. И запомните, дорогие мои мальчишки (генерал имел право назвать их так), запомните: нет человека более подчиненного, чем командир. Да-да, подчиненного! — повторил он. — Подчиненного букве устава, собственной воле и железной необходимости каждый день, каждый час ждать боя и быть готовым к нему. В атаке все проще...»

Славный был генерал. И правда, Турбанов до сих пор не переставал удивляться доверительно-уважительному отношению солдат к человеку в офицерских погонах. Не только от устава это шло, нет... Погоны с двумя звездочками были как бы талисманом, переданным от других, общей приметой командирского звания. Солдатам, почти твоим ровесникам, и в голову не могло прийти, что, когда началась война, ты, двухлетний карапуз, еще не умел самостоятельно снять в критические моменты штанишек. Для них ты сейчас был командиром, и все. Помнишь, солдат, оформлявший стенгазету, спросил: «Товарищ лейтенант, а на фашистских самолетах что было — свастика или кресты? И какого цвета?»

Что-то такое ты ему ответил — не очень убедительное, а сам спохватился, что ничего не знаешь о войне, что смутно и туманно, если напрячь память, можно вызвать весенний, но почему-то очень холодный, ветреный день — в рубашонке было зябко, и мать тащит тебя за руку, чуть ли не бегом бежит к проходной завода, возле которой толпятся люди, веселые и счастливые, как на Первое мая. И какой-то мужчина, совсем незнакомый, поднял тебя над головой, больно стиснул и крикнул: «Победа! Да понимаешь ли ты, чертенок, что такое победа? Жить будешь, дурачок! И мамка твоя будет жить, и папка, и все мы!» Самое памятное ощущение того дня сплетается с

обещанием матери, что теперь-то обязательно придет, вернется отец. И непременно с гостинцами.

Нет, тогда ты не мог понять, что такое победа. Это потом, спустя долгие годы, все узнанное и понятое ты как бы отправлял в тот далекий майский день к тому себе — шестилетнему мальчишке. И потому начинал верить, что прекрасно помнишь необыкновенную, всечеловеческую радость того дня, ибо видел, ну конечно же видел, как за четыре года перед этим натужно, смертельным гудом гудели во все небо черные птицы с желтыми крестами на крыльях. И то, что твоей биографии чуть-чуть — всего лишь четырех начальных лет жизни — коснулась война, давало тебе хоть какое-то моральное право говорить и судить о ней от имени тех, для кого эти годы биографии оказались последними.

«А эти мои лейтенанты, — с некоторым даже гордым возрастным превосходством подумал сейчас майор Турбанов, — они от войны еще дальше. А погоны все те же...»

Однажды, как всегда, уже довольно поздним часом, отдав лейтенанту Горикову необходимые распоряжения — тот еще оставался в роте, — майор ушел домой. Но у КПП вдруг спохватился, что забыл конспект, и вернулся в казарму. Турбанова несколько удивил растерянный вид дневального. И уж слишком неестественно, слишком громко — на всю казарму, с очевидным желанием, чтобы его услышали в дальнем углу, — солдат кашлянул. Кашель его был, конечно, сигналом тем, кто столпился в узком проходе между койками. Майор это понял сразу, жестом остановил дневального, неслышным шагом подошел к толпе и встал позади никем не замеченный. Посреди круга стоял лейтенант Гориков без мундира, в одной рубашке. Напротив Горикова, выше его на целую голову и вдвое шире в плечах, стоял рядовой Аврусин.

— Ну, давай начинай! Наступай, наступай! — голосом мальчишки-забияки словно бы упраскивал солдата лейтенант.

Аврусин смущенно топтался на месте, с той, однако, нерешительностью, с какой заранее уверенный в своей победе сильный не хочет обидеть слабого. Чего уж тут начинать — и так исход ясен.

Зрители не шевелились — ситуация была необычной. С одной стороны, не каждый офицер позволит себе вот так, за просто, побороться с солдатом, а с другой — как поступит Аврусин: будет валять лейтенанта или сыграет в поддавки.

— Аврусин! Наступайте! — уже командирским голосом, как на плацу, приказал лейтенант и сам сделал шаг вперед, напружинив, изготовив для встречи тонкие руки.

Эти властные нотки в голосе командира действовали на солдата, он подался как бы в сторону и, без усилий отведя плечом сопротивляющиеся локти, перехватил лейтенанта за поясницу, заломил его руки, прижал, придавил к груди и приподнял над полом.

Шумок пробежал по толпе и стих — участь лейтенанта была решена.

Однако каким-то невероятным усилием Гориков все же дотянулся ногами до пола и, обрета опору, сумел выскользнуть из железных объятий, пригнулся и, ухватив солдата за руку, потянул его через себя, упав на колени.

Ему бы еще одно, ну два мгновения этого превосходства, еще полмускула силы в руках и ногах — и Аврусин распластался бы на полу. Но этого-то и не хватило лейтенанту. Более того, секундное превосходство Горикова рассердило Аврусина, который, сбросив с себя оцепенение, крикнул вдруг облегченно, вновь почувствовав в себе спортсмена, и неуловимым движением, как бы поддев двумя рычагами, не повалил, а опустил лейтенанта, все же чуть придавив для убедительности лопатками к полу.

Задержавшись в поверженном положении на полу, лейтенант, словно отдыхая, с улыбкой повел вокруг взглядом и, заметив командира роты, вскочил, отряхиваясь, заправляясь:

— Извините, товарищ майор. Это мы так...

В тот вечер Турбанову опять пришлось задержаться допоздна.

— Вы же не себя, а свой авторитет подорвали сегодня, — сказал он лейтенанту сурово, осуждающе, и впрямь раздосадованный ребячеством офицера, этим сеансом борьбы.

— Вы уверены? — возразил Гориков, и в его синих глазах мелькнула знакомая усмешка. — Я не уверен. Я ведь знал, что он меня поборет, и солдаты знали. Но ему этой победой надо было побороть себя. Вы хорошо знаете Аврусина? Солдат как солдат. Но вот это его... подобострастие, эта его боязнь погон, командирского голоса!.. А он должен во мне видеть не только командира, но и человека...

Именно Гориков, а не кто другой задал майору задачу про рядового Звягина.

Письмо, написанное этим солдатом министру обороны чуть ли не в первую же неделю после прибытия пополнения в роту, сильно озадачило Турбанова. По наивности, а скорее, по незнанию Звягин вряд ли мог предполагать, что о письме, конечно же, узнает командир роты. Насчет ответа надо было подумать. И вот ответ...

...— Как, Звягин, первая смена? — спокойно, как можно обыденнее спросил майор. — Как первый час?

— Целая вечность, товарищ майор... — тихо проговорил Андрей.

«Это хорошо, что не бодрится... Бодрячки на этот пост не нужны», — подумал Турбанов и пошел к выходу проверять караул.

Андрей вытянул занемевшие ноги, которые покалывало тысячами иголок, тяжело облокотился на стол, прикрыл глаза: оранжевые круги перекатывались, перемещались, меняли очертания и превращались в венки, нескончаемо выплывавшие из бесконечной и крошечной, как пропасть, темноты.

Тюльпаны, незабудки, подснежники, ветки сирени переплетались в гирлянды, и среди этого фантастического соцветья проглядывали руки — морщинистые, узловатые, в прожилках, тонкие и изящные, со стрельчатыми ноготками маникюра, маленькие, пухлые, словно перетянутые в запястье ниткой, — руки бережно кладущие и поправляющие цветы, парящие, снующие над ними.

Из множества лиц, как в наведенном до полной резкости объективе, вдруг выявлялось лицо с таким выражением боли, со стиснутыми, сдавившими вскрик губами, что начинало казаться, будто человек этот видел нечто страшное, роковое, совершенно недоступное, невидимое тебе.

Сотни, тысячи крохотных Вечных огней отраженно светились в сотнях, тысячах глаз.

Немыслимо далеким представлялся ему теперь день Девятого мая, когда он встретил в парке Настю с портретом солдата на ватманском листе, — таким далеким, словно до сегодняшнего Девятого мая прошло много-много лет. Но странно — то прошлогоднее и нынешнее утро как бы слились, вобрали в себя пространство времени, и Андрею начинало казаться, будто в караул у Вечного огня он поставлен с тех пор, как помнит себя солдатом. Значит, вот какую тайну хранили, не могли передать на словах Матюшин и Сарычев!..

«Может быть, она в парке, опять с портретом?» — начал рассуждать он, теряясь в догадках. Но Кузьмич-то должен прийти обязательно.

И тут Андрей подумал о том, что Настя могла появиться здесь с Кузьмичом не в первую, а во вторую смену караула. В самом деле, почему с утра, а не позже, не после обеда, не к вечеру? «Значит, я могу их вообще не увидеть?» — совсем потерялся он.

В дверях бряцнули карабины — это вернулась с поста вто-

рая смена. В комнату, пригнувшись, ввалился Патешонков, тяжело опустился на табурет, снял фуражку, вытер платком лоб. Почему он такой бледный? В лице ни кровинки, влажные волосы перепутались на лбу.

— Послушай, Андрей, я, кажется, видел твоих,— сказал он, все еще куда-то вглядываясь, прищурив утратившие былую лукавость глаза.

— Не может быть! Когда?

— По-моему, они,— устало прикрывая веки, проговорил Патешонков.— Вышли из ворот... наперерез делегации. Старик в помятом пиджачке... Такого вокзального вида. В кепке. Ветром качает, но ничего еще, держится, молодец. Он нес подснежники... Нет, кажется, незабудки... В общем, наверно, твой. И девушка с ним...

Будто кипятком плеснуло в лицо Андрею.

— Да брось ты...

— Чего брось... В длинной такой юбке... Как королева. И огромный букет тюльпанов...

— Длинной? — переспросил Андрей.

— Да причем тут юбка? — возмутился Патешонков.— Представляешь, ситуация? Им бы пять минут переждать, пока пройдет делегация, а они — напрямик. А им наперерез, как торпеда, милиционер: «Как вы смеее? Вы что, не видите?» И девушку берет так — за локоть... А она — ноль внимания. Спокойно отвела руку — и на ступеньки. Мы, говорит, не к вам пришли, а к нему. И показывает на Вечный огонь... И старика за собой. Пока венок не поднесли, они все стояли. Они ведь?

— Нет, не они, — совершенно уверенный в том, что это были не Настя и не Кузьмич, — ответил Андрей.

— Пойдем подышим! — предложил Патешонков.

Спросив у лейтенанта разрешения, они вышли на пять минут из караулки.

Весь Александровский сад обтекала говорливая человеческая река. Она начиналась у Кутафьей башни, водопадом перекатывалась вниз, по ступеням каменной лестницы, изгибаясь, текла по липовой аллее к Боровицким воротам, затем круто поворачивала обратно и уже медленнее шевелилась под высоким и отвесным берегом — Кремлевской стеной. К Вечному огню шли, наверное, тысячи, а может, миллионы людей. То двигаясь, то замирая, новая приливная волна могла достичь устья — там, возле могилы Неизвестного солдата, — не раньше чем через три-четыре часа. Три-четыре часа нужно было простоять в очереди к Вечному огню.

И все терпеливо ждали, и еще сотни людей, кому не удалось

пристроиться в очередь, впились руками в железную решетку ограды.

«Где же Кузьмич? Где Настя?» — все сильнее охватываемый беспокойством, поглядывал на толпу Андрей. Заметить, узнать их в этой бесконечной человеческой реке было невозможно.

20

А Кузьмич в это время лежал в сумрачной, затененной што-рами больничной палате; только-только, как он любил подшучивать сам над собой, «была отбита очередная атака противника» — разбитые ампулы валялись на столе, как отстрелянные пулеметные гильзы, противник отступал, вместе с ним отступала от сердца боль. Только надолго ли? Перебирая в памяти подробности последнего часа: суматошное мелькание белых халатов, резкий нашатырный запах лекарств, ватную слабость во всем теле, растерянно склоненное над ним жаркое лицо Насти, — Кузьмич мучительно припоминал что-то важное, о чем нельзя было забыть. Ах да, ему привиделось — к чему бы это? — девятистолетняя Кривая Авдотья, как ее по-уличному звали в деревне. Вот тебе раз, и не что-нибудь, а похороны. Да-да! Она ж всего два дня хворала, а потом попросила себя обрядить. Сыновей, дочерей, внуков понаехало — уж больно они любили старуху, видать, каждому из них успела сделать добро.

«Не плачьте, дети вы мои! — сказала им Дуня. — Лучше почаще на могилку приходите. Вот когда ходить ко мне перестанете, тогда я совсем умру. А так — вон сколько мне еще жить: дети будут приходить, потом внуки, а за внуками, глядишь, и правнуки наведаются, свои цветочки посадят... Ходите, ходите на могилку мою...»

Много родных вокруг Дуни стояло, так много, что и сейчас Кузьмич видел — между взрослыми, как опята на пнях, уже правнучата светлыми головками отовсюду выглядывали... А у Кузьмича вон как обернулось — ни сын его, ни он сына.

Он давно покорился беде, смирился с тем, что война убила Николая, — она убила многих, и чужие, незнакомые люди, обладатели таких же похоронок, словно делили с ним заочно его несчастье, но чем ближе подступала старость, тем больше тревожило Кузьмича другое — он не видел могилы сына, не знал точно, как и где тот погиб, и от этой неизвестности страдал тем сильнее, чем дальше отступал по времени от даты, обозначенной на похоронке.

Теперь и не помнил Кузьмич, какие житейские дела-заботы

привели его на улицу Горького. Только остановила его непролазная, во всю длину тротуара — куда ни ткнись — толпа. Похоже, так здесь бывало, когда героев встречали — то папанинцев, то чкаловцев... Космонавтов приветствовали и чествовали теперь на другом, новом пути в столицу — на Ленинском проспекте. А улица Горького осталась в стороне, как старая дорога.

Но странным показался Кузьмичу народ, терпеливо кого-то поджидавший. Ни песен, ни флагов, ни привычного веселья. Мрачный стоял народ и молчаливый, как на похоронах.

Кузьмич втиснулся в толпу, и ему стало не по себе: «Что такое?» И вправду хоронили кого-то. Женщины утирали глаза, и вся темная, сумрачная толпа мелькала платками. Мужчины стояли хмурые, насупленные.

И тут Кузьмич услышал, как со стороны Белорусского вокзала медленной волной потекла музыка.

Он протиснулся ближе к тротуару, глянул влево и застыл: по живому людскому ущелью плыл, не ехал, а именно плыл бронетранспортер с прицепленным к нему артиллерийским лафетом, затянутым в кумач и креп. На лафете стоял красный гроб, увитый оранжево-черной гвардейской лентой.

— Это кого же хоронят? — спросил Кузьмич соседа, снявшего шапку.

— Солдата, — глухо произнес мужчина.

— Генералы за ним... Это что ж за солдат? — удивился Кузьмич.

— Тише вы!.. — укоризненно покачала головой женщина в черном платке.

А бронетранспортер приближался, и теперь, казалось, не музыка, а рыдания и стоны сопровождают эту невиданную процессию.

— Фамилия-то его как? — опять обернулся Кузьмич к соседу, но тот не слышал, ничего нельзя было услышать в том рыдающем марше.

— Он совсем неизвестный! — объяснил парень в плащике. — Неизвестный солдат... Его под Крюковым из могилы подняли... Везут к Кремлевской стене.

— Под Крюковым? — переспросил Кузьмич. — И совсем не знают фамилии?

Неясная догадка обожгла его.

«Под Крюковым... Под Крюковым...» — застучало в висках, и толчками крови, прихлынувшей к голове, стала возвращать память в тот страшный день известия о Николае, когда невидящими глазами Кузьмич читал-перечитывал последнее письмо, где смутно, намеками были очерчены координаты последнего место-

нахождения сына: «поющие деревья», береза и дуб — только они с Николаем знали, где растет их тайна. «Поющие деревья» — это же под Крюковым. Между Красной Поляной и Крюковым.

Вот тогда-то, на улице Горького, он подумал о невозможном, о том, что в красном гробу на лафете везут его Николая. А почему бы и нет! Эх, жаль, что не дожила до этого часа мать!..

Кузьмич шагнул с тротуара на мостовую.

Смутным, как закатное солнце, багровым пятном проплыл перед ним гроб, мелькнули мальчишеские лица солдат почетного караула... Кто-то осторожно тронул за локоть, потянул в сторону.

— Нельзя, папаша, вернитесь на тротуар...

Кузьмич на мгновение оробел и уже было попятился, но взял себя в руки, возразил твердо:

— Я пойду за гробом, вы не имеете права... Мой сын тоже погиб под Москвой...

Рука отпустила.

Примеривая к остальным шаг, Кузьмич успокоенно пристроился сзади колонны — сердцу было так больно, словно оно лежало между оглушительно бьющими медными тарелками оркестра.

...Опять почувствовав сбивчивые, возбужденные лекарством толчки в груди («Ишь ты, сердце водит, как рыба на берегу жабрами!»), Кузьмич повернулся на правый бок и, глядя в голубеющую между шторами щель, заставил себя представить этот день с самого начала таким, каким бы он был, не оказавшись Кузьмич в больнице.

Это утро наступало раз в году, и, утомленный долгим, тягостным его ожиданием, довольный, что снова перехитрил костлявую с косою на плече и дотянул-таки до заветного срока, не сдался, Кузьмич, еще лежа в постели, ловил, подкарауливал в синеем окне первый проблеск солнца, а потом, сбросив одеяло и сунув озябшие ноги в стоптанные шлепанцы, смаковал каждую минуту, каждый час новой, опять подаренной благо-склонной судьбою майской зари.

Вглядываясь в мутное, треснутое посредине круглое зеркальце, он подмигивал сам себе, хмуро щупал щеки и старательно брился припасенным для такого случая непременно новым лезвием, ставил на плиту чайник, бросал в стакан щепотку чаю, пару кусков сахара и из деревянного ящичка, приделанного к подоконнику со стороны улицы, — он называл этот ящичек торбой — доставал хлеб и масло. Завтрак был обычный, буднич-ный, но, сметая с клеенки на ладонь крошки, Кузьмич думал о том, что обед устроит, пожалуй, повеселее. Из потертого, раз-лохмаченного по краям очечника он высыпал на стол мелочь и прикидывал свой бюджет — все, что скопил к желанному дню,

урывая от пенсии. Эти сложенные один с другим рубли и скудной чешуей блестящие на клеенке гривенники никаких пиршеств не обещали, и Кузьмич уже точно, по опыту прошлых лет, знал, сколько отпустит на сегодняшний день средств из весьма скромного своего бюджета. Если не подорожали цветы — пятьдесят копеек на букетик подснежников. Рубль с мелочью — на чекушку. А вот это — Насте на шоколадку.

Вполне удовлетворенный немудреными своими расчетами, Кузьмич натягивал пиджак, брал щетку и выходил на лестничную площадку почиститься. Он помнил выходной бостонский костюм еще совсем новым, темно-синим.

«Да и я, пожалуй, не новее, по Сеньке и шапка», — думал Кузьмич, тщетно пытаюсь оттереть застарелые рыжие пятна. В химичку нести костюм давно уже стеснялся.

Странно, Кузьмич не помнил, чтобы когда-нибудь в это утро шел дождь. На зеленых и влажных от распивавшего их сока тополях невидимо вызванивали воробьи. Он помнил точно: деревья дружно выбрасывали первые листья именно к этому дню. Значит, все повторялось. И Кузьмич начинал сомневаться, действительно ли прошел год, может быть, всего лишь ночь мелькнула между двумя схожими, как близнецы, рассветами?

В такие минуты Кузьмич предавался философским рассуждениям о времени. Что же это — время, как его пощупать? Нет, это не подрагивающий бег часовой стрелки — хитрую игрушку человек придумал для собственного обмана. Часы — они и есть часы: износились или стукнул ты их — глядь, и перестали тикать. А времени что до этого? Время дальше идет. Да и что значит идет? Оно живет. Живет вот в тополе, который, кажется, еще вчера был хилым в одну ветку подростком, а сейчас вымахал чуть ли не до третьего этажа. Живет в самом человеке, иначе почему бы ему помнить то, что давным-давно прошло. Нет, стрелка на циферблате — как белка в колесе. А время, истинное время показывает жизнь — в росте ли дерева, в судьбе ли человека. Жизнь — вот что такое время. И если жизнь — пустота, значит, никакого в тебе времени, даже если выпало тебе увидеть на веку сто зим и сто весен...

В это утро первым делом Кузьмич отправлялся на рынок. Он неторопливо проходил между прилавками, приценивался, хотя знал, что ничего не купит. Просто любопытно было, что почем. И опять удивлялся ощущению, что видел все это будто вчера: и зеленые вороха ранней петрушки, и пыльные увесистые клубни картофеля, и надтреснутые гранаты с ядреными, как шарикоподшипники, зернами, и пряно-ароматные желтые пирамиды нездешних груш и яблок. С грустью ощупывая в

кармане свой старый очечник с «бюджетом», Кузьмич круто сворачивал в сторону, к тому, за чем пришел.

Весь этот угол рынка благоухал, как сад. Соперничая в красоте, здесь отовсюду глядели цветы. Они тянулись изо всех сил, стараясь броситься в глаза, — пионы, тюльпаны, гвоздики и еще какие-то причудливые, в завитушках, названия которых Кузьмич не знал.

Кузьмич досадливо пощупывал очечник и все ходил по рядам, искал свои любимые подснежники.

В прошлый раз нежные-нежные и хрупкие, вот-вот растают, букетики он увидел в самом конце прилавка и встал за высоким парнем.

Очередь подвигалась быстро, но так же быстро исчезали из корзины голубые букетики. Кузьмич с тревогой прикинул, что ему уже не достанется.

— Я забираю остальное! — пробасил парень и сгреб оставшиеся подснежники в портфель.

— Послушай, сынок, — заискивающе попросил Кузьмич, протягивая зажатую в кулаке мелочь. — Уступи букетик...

Парень обернулся, с усмешкой глянул сверху вниз:

— А тебе-то зачем цветы? Глянь на себя, ты же сам как одуванчик!

И, хлопнув Кузьмича по плечу, расхохотался.

Кузьмич еще с полчаса побродил по рынку — подснежников больше нигде не было — и вернулся к тюльпанам, хотя бюджет не позволял такую роскошь — до очередной пенсии ждать еще было долго. Но и явиться туда без цветов он не мог.

Держа цветы в вытянутой руке, как свечи, словно прикрывая их от ветра, Кузьмич торопился к выходу.

...До Александровского сада можно было ехать двумя путями. Но он привык к троллейбусу, который довозил до Большого театра. Даже в ранний час здесь всегда было многолюдно, и больше всего народу толпилось в скверике, буйно поросшем сиренью. Кузьмич останавливался в сторонке, доставал сигарету — здесь особенно остро чувствовалось повторение прошлогоднего утра.

«Ишь ты, где война назначила свидания!» — всякий раз не переставал удивляться Кузьмич.

Постояв на «своей остановке», покурив, как бы приготовившись к главному, Кузьмич сворачивал на проспект Маркса.

За узорной решеткой чугунной ограды, словно составленной из древних копий, зеленел, распускаясь цветами Александровский сад. Но с некоторых пор ничто его так не оживляло, как сияющий и днем и ночью над мраморным уступом огонек. Это зыбкое, дрожащее даже в безветрие пламя Кузьмич замечал,

выхватывая взглядом, еще шагов за сто и шел на него, ничего уже не видя вокруг, как загнинотизированный. Он шел на огонь, который его притягивал, радужно мельтешил в глазах, озаряя самые дальние закоулки памяти.

Снова ладонь Кузьмича теплела от маленькой ручонки, как будто он держал в ладони копошащегося острыми коготками птенчика. Да, он вновь шел со своим маленьким семилетним Колькой. Куда, зачем? Кажется, на демонстрацию.

Почему чаще всего он вспоминает сына именно маленьким — в матроске и бескозырке с лентой «Герой»? Почему Колька является Кузьмичу ощущением теплой ладошки, зажатой в руке, словно птенчик?

Так, словно бы вместе с сыном, Кузьмич поднимался по ступеням, не замечая, не считая их, пока взгляд не обжигался о пламя, которое металось возле ног, билось, всплескивалось над раскаленной бронзовой звездой. Кузьмич наклонялся и опускал на мрамор свой букетик. Его цветы, такие свежесиние на рынке, казались ему увядшими, измученными. Быть может, потому, что рядом уже пламенели огнисто-пурпурные тюльпаны.

А может, и правда он лежал под этой мраморной плитой, его Колька?

Когда он его увидел? Тогда или сейчас? Колька, его Колька стоял перед ним.

Он возник из пламени и как будто брезжил — в сером парадном мундире, в хромовых, до блеска начищенных сапогах. С краснопогонного плеча свисали серебряные аксельбанты, из-под козырька под смоляными бровями смородинно чернели родные глаза. Острый Колькин подбородок был чуть приподнят над ослепительно белым воротником рубашки с галстуком, правая рука, затянута в перчатку, придерживала карабин с лучисто сияющим штыком.

— Коля, — позвал Кузьмич, — Коля...

Но солдат, стоявший все так же неподвижно, не выказывал никакого желания отозваться, он не повел и бровью, и тут Кузьмич увидел, что это совсем не Колька, а тот парень, что год назад приходил к Насте, когда они жили в старом доме.

Зеленый дым за клубился над мраморной нишей, обволакивая огонь... Чем-то расплавленным обожгло сердце.

— Врача! Дежурного врача, скорее! — испуганным голосом позвал кто-то.

В последнюю назначенную в почетный караул у могилы Неизвестного солдата смену Андрей заступил ровно в двадцать ноль-ноль. Солнце еще переливалось через крыши самых высоких домов, золотисто оплавляя окна, но в низине Александровского сада от деревьев и кустов уже ложились на асфальт густые сиреневые тени. Вечерело быстро, и с каждой минутой, казалось, все ярче разгоралось пламя над бронзовой звездой, все резче обозначался круг багрового, вздрагивающего света, и в этот священный, как бы очерченный безымянной славой и безымянным подвигом круг вступали все новые и новые люди.

Андрей уже не ждал ни Кузьмича, ни Насти. Но, совсем отчаявшись их увидеть, он все же ловил беспокойным взглядом незнакомые лица, чувствуя, как незримым током что-то начинает соединять его с бесконечной, медленно текущей мимо Вечного огня людской рекой.

Теперь он отчетливо различал почти каждого, кто подходил к могиле, он словно бы очнулся от оглушительного потрясения первой смены и, неотрывно вглядываясь в живой молчаливый поток, пытался понять, пробовал угадать, кто к кому пришел.

Вот эта старушка в черном платке... Загородилась рукой от света и словно переломилась — с поклоном положила ветку сирени, перекрестилась. Кого она видит застывшим взглядом в прокаленном свечении пламени? Сына? Мужа? Кто воскрес перед ней сейчас, в эту минуту?

Но, как бы ни напрягал воображение, как бы ни возбуждал фантазию, Андрей не мог видеть то, что видела старая женщина.

А затухающая ее память вдруг вызвала сейчас мальчишку — худого, узкоплечего, стриженного. Лямка вещевого мешка так сдавила, сдвинула воротник рубашки, что ей самой сделалось больно. «До свидания, мама... Ну что ты, мам! Они же только в кино страшные». И все улыбался, и все махал в окно теплушки. И с вокзала шла успокоенно, пока не остановил плакат: наш солдат — в каске, в шинели, огромный, во весь лист, — замахивается гранатой на фашистский танк. «А как же мой-то, худенький, совсем мальчонка, против такой громадины?» Так и не видела его в военном...

— Сынок! — промолвила старушка. — Сынок...

Ее подтолкнуло, увлекло потоком...

...А эта не совсем еще старая. Волосы красит. Зачем? Все равно видно, что седые... Как снег весной — сверху уже пыльный, темный, а внизу еще белый. Распахнула пальто, как будто от Вечного огня жарко... Вот это тюльпаны! Где она только выбрала такие?! Сочные, красные, целая охапка... Кому эти цветы?

Андрей не мог знать, что она сейчас была далеко отсюда и виделся ей тот далекий, довоенный день. Почему они оказались за городом всем классом? В голубых сумерках сидели у костра и пели только что слетевшую с пластинки «Катюшу». И вдруг он первым заметил: «Смотрите, смотрите, воздушный шар!» Высоко в розоватом небе висел неподвижно круглый и светлый, как луна, рядом с настоящей луной, воздушный шар. И они побежали под ним, думали, что опустился. Потом шар исчез, и они очутились в сирени. В такой пахучей, что кружилась голова. И он нежно, руками пахнущими сиренью, взял ее за плечи... А потом — это уже, кажется, предпоследний год войны... Да, предпоследний. Но тогда еще никто не знал, что предпоследний. В новеньких, золотых лейтенантских погонах, он заехал из госпиталя всего на полсуток. И они пошли на новый фильм «В шесть часов вечера после войны». Там после победы все встречались на мосту возле Кремля. «Давай и мы,— сказал он,— в шесть часов вечера после войны, на этом мосту!..»

Кто этот, коренастый, в сером обвисшем пиджаке? Сдернул кепку, наклонился как-то странно, будто под одной брючиной не гнется нога. На протезе? Положил ветку черемухи. И еще что-то... Не то значок, не то медаль. А у самого два ордена Славы. Наверно, к товарищу... Может, из одного с ним взвода...

— Эх, ребята, ребята...

Андрей не видел того, что видел старый солдат, который вспомнил сейчас своих однополчан. Один из них, чернявый — не то татарин, не то узбек, — свою пайку воды отдал, когда ранили. Старый солдат и сейчас слышал стук капли о дно котелка и ощущал во рту ржавый привкус воды — самодельный колодец выкопали. А второй — его лица уже не помнил — шапку свою подарил, когда выписывали из госпиталя. Самые морозы, а он в пилотке остался. Вот душа человек! После и того и другого — одним снарядом...

И еще старый солдат вспоминал сейчас взрытую взрывами рассветную гладь Днепра и колючую проволоку по-над водой у смертоносного берега, за который надо было зацепиться хоть руками, хоть зубами...

— Эх, ребята, ребята...

...Это кто же? Генерал? Без цветов. В сторонке остановился. Орденов — вся грудь как будто в кольчуге. Снял фуражку... Неужели плачет? Генерал! А он к кому? Вспоминает свои полки и дивизии?

Но генерал видел другое. Из десятков тысяч людей, которыми командовал во время войны, он вспомнил сейчас только одного солдата. Хотя, если посчитать на всем пути могилы даobeliski... Но сейчас он видел только его. Морозным декабрьским днем он встретился с ним на дороге — колонна солдат, заиндевшая до бровей, будто колонна дедов-морозов, шла вперевалку к исходному рубежу. Страшное предстояло сражение, страшное по неисчислимости техники с той и другой стороны. Мучимый сомнениями, он вышел из машины и пошел по обочине рядом с колонной. Он и сейчас слышал скрип снега под валенками. «Как вы считаете, — спросил он, пристроившись к солдату, который казался старше других, — они нас или мы их? У них столько техники!..»

«Техники много, — шевельнулись белые дедморозовские усы. — Броня у них толстая, это точно. А вот кишка тонковата...»

Почему же запомнились эти дрогнувшие в усмешке, запущенные инеем усы? И веселое жвыканье снега? Впереди было еще три года войны... Но три года спустя, держа в мутных окулярах такие близкие, словно в трех шагах, уже обреченные колонны рейхстага, он вспомнил того солдата... Вряд ли он был жив, вряд ли... После того боя...

...В багровый дрожащий круг, теперь уже совсем резко очерченный возле Вечного огня, будто к костру, разведенному в ночи, вступали все новые и новые люди.

«Сколько же родственников у Известного? — подумал Андрей. — Нет... Сколько же Неизвестных, если так много у них родственников?» И новая догадка осенила его: этого солдата никто не видел, никто не знал убитым, значит, шли как бы к живому. Где же это он читал, что мертвые продолжают жить и не переходят в обитель окончательной смерти до тех пор, пока их будут помнить живые?

Значит, с каждым из этих живых незримо подступал сейчас к Вечному огню погибший. И если б нашелся чудотворный способ просветить души людей, оживить, поставить рядом тех, о ком они вспоминали, вглядываясь в беспокойное трепетание пламени!..

Плечистый парень в выгоревшей на солнце фуражке с зеленым пограничным околышем — это он выцарапал штыком на стене казармы в Брестской крепости: «Я умираю, но не

сдаюсь! Прощай, Родина. 20.VII.41. г.» — о чем-то горячо, то и дело утирая закопченное лицо, рассказывал молоденькому, в висевшей на нем ключьями гимнастерке лейтенанту (его записку «Погибну, но живым врагу не сдамся!» нашли в патронной гильзе).

За ними, припадая на левую ногу, шел парень с очерненными копотью бровями и ресницами — в одной руке болтался танкистский шлем, а другую он прижимал к груди, и было заметно, как сквозь пальцы просачивалась на комбинезон кровь, — он сгорел в танке, и до сих пор над его могилой было написано безымянное слово: «Танкист». Танкист вытягивал голову, кого-то искал и, наверное, нашел, потому что, прихрамывая, побежал к офицеру с золотыми птичками в голубых петлицах, обнял его и встряхнул, удивляясь: «Сема! Так тебя же сбили над Вязьмой!» — «Нет, — сказал Сема. — Тогда я успел выпрыгнуть. Я врезал свой «ястребок» в цистерны под Курском...»

На их голоса обернулся моряк. Он был в тельняшке с закатанными рукавами, ленты бескозырки траурно шевельнулись за спиной; над тем местом, где, подбитый двумя торпедами, погрузился на дно морское их корабль, каждый год Девятого мая оставшиеся в живых опускали на волны венки...

В этой бесконечной одетой в шинели, ватники, гимнастерки, бушлаты, полушубки, маскхалаты толпе можно было увидеть и сбившихся стайкой девушек в кофточках и платьях — их подпольную группу расстреляли за сутки до прихода наших войск; к ним протискивался мальчишка в отцовском, налезшем на глаза картузе — он был связным партизанского отряда; чуть в сторонке переговаривались трое рабочих в промасленных комбинезонах — их эшелон с эвакуированным заводом попал под бомбежку, и где-то в донецкой степи сровнялся с землей безымянный их холмик.

Нет, Андрей ничего этого не видел. Но ведь кто-то стоял, да, кто-то стоял рядом с ним в трепещущем круге вечного пламени, и этого, невидимого Андрею, узнавали чьи-то глаза, жадно устремленные на Огонь.

В огнисто сияющий круг впорхнули по ступенькам, вбежали малыши. Самый смелый из них карапуз хотел привязать к венку зеленый шар, но не справился, упустил его, и шар запрыгал, едва не касаясь пламени. Лопнет или не лопнет? Но Огонь шара не тронул, поиграл-поиграл им и откатил в сторону, в угол мраморной ниши. Толпа опять расступилась, повернулась в сторону: от ворот шли к Вечному огню новобрачные.

Она семенила легкая, облачная — в длинном белом платье, из-под которого резво мелькали туфли. Фата туманилась над

лицом, придавая ему торжественную целомудренную бледность.

Он был в черном, с иголки, костюме, напоминавшем фрак, и тщательно зачесанная, припомаженная шевелюра делала его похожим на тех красавцев, что изображают на одеколонных этикетках.

Невеста царственно прошла по проходу, учтиво образованному перед ней, остановилась возле Огня и поспешно положила цветы, как бы стесняясь всеобщего внимания. Он встал рядом, неловко замерев, как перед фотоаппаратом.

Андрей смотрел на невесту и не находил в ней того, что видел в остальных, столпившихся возле Вечного огня. В ее подведенных тушью, с модной раскосинкой глазах не было ни печали, ни трудной думы, ни отрешенности.

Ее глаза выражали сейчас только одно — счастье свадьбы. Выскочивший сзади, из толпы, долговязый парень в кожаной куртке вскинул киноаппарат и застрочил по новобрачным, то и дело выбирая нужный ракурс. Молодые ушли шумно и весело — за чугунной оградой их поджидало перевитое лентами такси с лупоглазой куклой на радиаторе.

«Где же Настя?» — опять вспомнил Андрей.

Очередь к Неизвестному не убывала, наоборот, она выглядела бесконечной и теперь словно вытекала из темноты, которая совсем уже сгустилась за чертой озаренного пламенем круга. Отблеск Огня ложился на лица, делая их похожими, как бы отлитыми из бронзы.

«Они, наверное, прошли... Конечно, прошли», — с безнадежностью подумал Андрей и вдруг увидел Настю. Да, это была она. Заслоняясь ладонью от света, Настя остановилась, замешкалась, приглядываясь и не сразу его узнавая. Но вот в блестящих ее глазах отразилось внезапное удивление, она отступила в сторону, пропуская толпу, которая уже подталкивала, напирала сзади, и помахала рукой, пытаясь что-то сказать.

«Где Кузьмич?» — взглядом спросил Андрей. Наверное, она уловила его вопрос, Андрей понял это по ее лицу, сразу переменившемуся, выразившему неловкость, беспомощность и отчаяние.

— Его уже нет... — услышал Андрей обессиленно перелезевший через толпу Настин голос. — Его уже нет! — раздельно прошевелили ее губы, со вскриком на последнем слове.

Пламя вздрогнуло и приникло к звезде.

«Как же так? Когда? — не поверил Андрей. — Я же ничего не успел ему рассказать! Я же нашел «поющие деревья»... Не может быть!»

Увлекаемая водоворотом толпы, Настя взмахнула рукой —

уже невозможно было устоять на месте — и растворилась в темноте.

Пламя струилось так ярко, что на него теперь больно было смотреть.

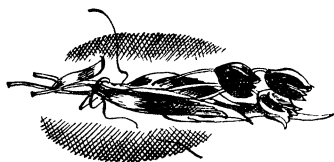
«А как же Николай?» — огорчился Андрей, и ему показалось, будто в прыжках пламени обозначились черные глаза, закруглились брови-вопросики. Но багровые извивы перемешались, переплелись, и огонь опять стал огнем.

«Как же Николай и как же Кузьмич?» — с чувством непоправимого, внезапно коснувшегося его горя подумал Андрей, ясно вдруг осознав, что уже больше никогда не увидит старика, а тот уже никогда не простит ему, пусть даже нечаянной, обиды. Стало нестерпимо жарко, сдавило дыхание, словно все слезы, какие он сегодня видел, чужие, холодные для него слезы, накопились, закипели в нем и, жгучей волной окатив сердце, подступили к горлу, к глазам, чтобы немедленно выплеснуться. Чувствуя, что задыхается, что не сможет больше удержать в себе эту переворачивающую душу боль, он глухо кашлянул, не разжимая губ, переступил с ноги на ногу и оперся на карабин.

И в этот момент где-то за домами впереди и над Кремлевской стеной загромыхал гром. Зарница высветила полнеба, еще раз вспыхнула вдалеке. И в мерцающей, недостижимо высокой глубине ослепительно белыми, голубыми, красными, желтыми цветами начали распускаться невиданные деревья. Они жили там, в небе, всего каких-то несколько мгновений. Успев за это время родиться, вырасти, покачать радужными, диковинными ветвями и умереть — сверху искристо осыпались и гасли, не долетев до земли, огненные листья.

Андрей посмотрел за ограду: по площади, из конца в конец, рокотал, перекачивался людской океан. То в розовом, то в голубом переливчатом свете фейерверка лица виделись такими возбужденно-радостными, такими счастливыми, словно война закончилась только сегодня, сейчас, и о победе было объявлено минуту назад.

Огонь дышал ровно, успокоенно...



О Т А В Т О Р А

Каждый раз, спускаясь по улице Горького на знаменитую площадь, я всматриваюсь в мелькающий за узорчатой чугунной оградой огонек и думаю о тех, кто придет к нему через каких-то полвека, когда в живых не останется ни одного участника Великой войны. Сейчас это трудно представить, но ведь будет такое — ни одного, пережившего войну! Даже в маршалы произведут генерала послевоенного года рождения.

Какими они придут сюда, люди грядущего, и что увидят в горячем, незатухающем пламени? Упадет ли на холодный мрамор хоть одна слеза, тронет ли, сожмет сердце еле заметная царапинка на солдатской каске? И кто встанет на священный пост, когда на всей земле останутся только роты почетного караула?

СОДЕРЖАНИЕ

ВЕНОК НА ВОЛНЕ. <i>Повесть</i>	5
РОТА ПОЧЕТНОГО КАРАУЛА. <i>Повесть</i>	103

К ЧИТАТЕЛЯМ

*Отзывы об этой книге просим
присылать по адресу: 125047, Моск-
ва, ул. Горького, 43. Дом детской
книги.*

Литературно-художественное издание

Для старшего возраста

Степанов Виктор Александрович

ВЕНОК НА ВОЛНЕ РОТА ПОЧЕТНОГО КАРАУЛА

П о в е с т и

Ответственный редактор
И. В. Пахомова
Художественный редактор
Е. М. Ларская
Технический редактор
Н. Ю. Крапоткина
Корректор
Е. А. Суксян

ИБ № 10651

Сдано в набор 01.12.88. Подписано к печати 24.02.89. Формат 60×84¹/₁₆. Бум. типогр. № 1. Шрифт обыкновенный. Печать высокая. Усл. печ. л. 13,02. Усл. кр.-отт. 13,49. Уч.-изд. л. 13,4. Тираж 100 000 экз. Заказ № 793. Цена 90 к.

Орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103720, Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени ПО «Детская книга» Росглавополиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 127018, Москва, Суэцевский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»

Scan Kreyder - 14.10.2019 - STERLITAMAK

